АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ГОД ИЗДАНИЯ
V

5

СЕНТЯБРЬ — ОКТЯБРЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА·1956

СОДЕРЖАНИЕ

Н. И. Конрад (Москва). О путях развития советского востоковедения . . 3
Р. А. Будагов (Москва). Понятие о норме литературного языка во Франции в XVI—XVII веках 10
В. М. Солнцев (Москва). Проблема частей речи в китайском языке . . . 22

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

С. К. Шаумян (Москва). О сущности структурной лингвистики 38
К. Г. Крушельницкая (Москва). К вопросу о смысловом членении предложения 55

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

В. Дорошевский (Варшава). Диалектология и сравнительно-исторический метод в языкознании 68
Г. Д. Санжеев (Москва). Следы грамматического рода в монгольских языках 73
Г. М. Милейковская (Калинин). О соотношении объективного и грамматического времени 75

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РУССКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ

В. В. Виноградов (Москва). О некоторых вопросах теории русской лексикографии 80
Е. А. Земская (Москва). О состоянии работы над четырнадцатитомным «Словарем современного русского литературного языка» 95
И. И. Ковтунова (Москва). Обсуждение IV тома «Словаря современного русского литературного языка» 102

ОПЫТЫ МАШИННОГО ПЕРЕВОДА

П. С. Кузнецов, А. А. Ляпунов, А. А. Реформатский (Москва). Основные проблемы машинного перевода 107
О. С. Кулагина и И. А. Мельчук (Москва). Машинный перевод с французского языка на русский 111
Л. И. Жирков (Москва). Границы применимости машинного перевода. . . 121

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

В. А. Белошапкова (Рига). «Исследования по грамматике русского литературного языка» 125
В. Р. Кипарский (Хельсинки). *M. Vasmer.* Russisches etymologisches Wörterbuch 130
Вал. Вас. Иванов (Москва). О некоторых недостатках в описании и изучении русских говоров 139
В. М. Жирмунский (Ленинград). Althochdeutsches Wörterbuch 145
И. М. Дунаевская (Ленинград). *J. Friedrich.* Entzifferung verschollener Schriften und Sprachen 149
Ю. С. Мартемьянов (Москва). *H. Sten.* Les temps du verbe fini (indicatif) en français moderne 153

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Н. И. Толстой (Москва). Заседание Международного комитета славистов в Москве 156
М. Н. Преображенская (Москва). Пятое диалектологическое совещание 160
О тематическом плане журнала «Вопросы языкознания» на 1957 год 162

Редколлегия

О. С. Ахманова, И. А. Басаков, Е. А. Бокарев, В. В. Виноградов (главный редактор), *В. И. Григорьев* (и. о. отв. секретаря редакции), *А. И. Ефимов, В. В. Иванов,* (и. о. зам. главного редактора), *И. А. Кондрашов, П. И. Копрад, В. Г. Орлова, Г. Д. Санжеев, Б. А. Серебренников, А. С. Чикобава, Н. Ю. Шведова*

Подписано к печати 12/X 1956 г. Формат бумаги 70 × 108$^1/_{16}$. Бум. л. 5$^1/_8$. Печ. л. 14,04
Уч.-изд. л. 17,0 Тираж 11900 Зак. 631 Т-09458

2-я тип. Издательства АН СССР. Москва, Шубинский пер., д. 10

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1956

Н. И. КОНРАД

О ПУТЯХ РАЗВИТИЯ СОВЕТСКОГО ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

1

1. Пути развития советского востоковедения могут быть правильно осознаны лишь в свете общих задач советской науки в целом, ближайшим образом — в свете перспектив дальнейшего развития наших исследований в области истории, экономики, философии, литературы, языка, материальной культуры и искусства народов и стран.

2. Одной из важнейших задач советской науки в указанных областях, решение которой может обеспечить новый подъем наших исследований, должно быть смелое и решительное преодоление сохраняющейся в известной мере и в наши дни обособленности научного изучения истории и культуры народов и стран Востока и Запада. Такая обособленность является наследием созданного капиталистической эпохой в Европе общего противопоставления Запада Востоку — противопоставления, особенно усилившегося в XVIII—XIX вв. в период колониального порабощения народов Востока капиталистическими странами Европы. Великая Октябрьская социалистическая революция — событие всемирно-исторического характера и по значению, и по размаху,— а также последующая победоносная борьба народов Востока за свое освобождение от колониальной зависимости решительно и явственно для всех опровергают это противопоставление.

Содружество различных народов Запада и Востока, осуществленное в Советском Союзе на основе строительства объединенными усилиями коммунистического общества, на деле показало всему миру искусственность противопоставления Запада Востоку. Дружба народов великих стран — Советского Союза, Китайской Народной Республики, Индии и других стран Востока, основанная на началах полного и всестороннего равенства, на взаимном признании ценности, культурного достояния и культурной деятельности каждого из этих народов, является наглядным показателем не только возможности, но и естественности отказа от всякого противопоставления Запада Востоку. Необходимо ликвидировать отголоски этого противопоставления и в науке.

3. Отголоски такого противопоставления в наше время проявляются в том, что изучение истории, экономики, философии, литературы, языков и искусства народов Запада и Востока ведутся в известной мере изолированно друг от друга. Исторически сложившееся на Западе понятие «востоковедение» было законным в эпоху первоначального изучения Востока. Допустимое и в наше время (в смысле общего комплекса научных исследований, относящихся к различным сторонам истории и культуры народов Востока), данное понятие все еще сохраняет, однако, элементы как бы принципиального отличия этих исследований от исследований истории и культуры народов Запада.

Термина «западоведение» у нас нет, но на деле понятие «западоведе-

ние» существует, поскольку исследователи истории и культуры народов Запада сознательно или бессознательно предполагают в том или ином смысле особое содержание своей науки. С таким положением необходимо покончить и притом не декларативно, а на деле, т. е. в организации самой научной работы, в разработке ее проблематики.

4. С таким положением необходимо покончить по той причине, что оно препятствует нормальному и последовательному развитию как «востоковедения», так и «западоведения». Для востоковедения всякое обособление от науки, изучающей историю и культуру народов Запада, вредно в том смысле, что тем самым поддерживается некоторый отрыв от достижений науки в области изучения Запада. Поскольку же изучение истории и культуры народов Запада в течение XVIII—XIX вв. и первой половины XX в. привело к большому и плодотворному развитию как общего уровня знаний, так и теории и методологии, к разработке специальной методики и приемов научного исследования в отдельных областях, постольку для востоковедения какое-либо обособление от западоведения означает известный отрыв от общего прогресса науки.

В свою очередь обособленность западоведения и востоковедения неблагоприятно отражается и на положении в западоведении. Это сказывается в том, что западоведы обычно либо плохо знают востоковедный научный материал, либо даже просто не считают нужным его знать и с ним считаться. На деле же игнорирование явлений, наблюдавшихся и наблюдающихся в жизни народов Востока, у многих из которых, как, например, у народов Индии, Китая, Ирана, существует цивилизация, насчитывающая несколько тысяч лет, приводит к отстранению огромного материала, знание которого могло бы серьезно содействовать более полному пониманию существа ряда явлений, наблюдавшихся и наблюдающихся в жизни народов Запада. Так, например, научное понимание существа феодальной исторической формации, ее развития, ее различных фаз не может быть полным без изучения феодализма в странах Востока, в большинстве которых период феодализма охватывал целые тысячелетия весьма сложного развития. Невозможно осознать во всей ее полноте и сложности смену общественно-исторических формаций в истории человеческого общества без специального изучения, например, исторического опыта китайского народа, сумевшего стать на путь постепенного построения социализма, минуя стадию развитого капитализма.

Трудно понять во всей полноте сущность литературы эпохи феодализма только по тем ее памятникам, которые созданы народами средневековой Европы, без изучения творчества Шота Руставели, Алишера Навои, Низами, Тулси Даса, Фирдоуси, Хафиза, Ли Бо, Ду Фу, Бо Цзюй-и, Хань Юя, Мурасаки-сикибу, Якамоти, Басё, Сайкаку, Тикамацу Мондзаэмона и многих других великих писателей средневекового Востока. Понимание существа и форм выражения творческого метода социалистического реализма становится гораздо более полным и отчетливым, если мы станем в наших исследованиях основываться на опыте не только литературы народов Советского Союза, но и литературы Народного Китая.

Подобных примеров можно было бы привести сколько угодно и притом во всех областях обществоведения. Вряд ли это, однако, нужно, так как и без этого, вероятно, многими западоведами ощущается некоторая односторонность их научных построений без привлечения восточного материала.

5. Известная обособленность научной работы востоковедов и западоведов привела, однако, к еще более вредным последствиям, имеющим уже чисто принципиальный характер.

Колониальное порабощение капиталистическим Западом большинства

народов Востока и продолжавшееся во многих странах более столетия господство Европы над Азией и Африкой, естественно, привело к установлению господства и науки, созданной народами Запада. Такое господство привело к убеждению в том, что положения науки, выработанные на основе изучения прошлого и настоящего народов Европы, являются абсолютными, что общие положения истории, литературоведения, языкознания, сформулированные историками, литературоведами, языковедами, работавшими на западном материале, представляют собой всю науку в целом.

Такое убеждение живет в умах европейских востоковедов; оно прочно проникло и в сознание очень многих ученых современных стран Востока. В результате этого и получилось, что востоковед-лингвист, изучивший общую теорию языкознания так, как она сформировалась на основе изучения индоевропейских языков, и заимствовав от этой теории ее научно-техническую номенклатуру и конкретные приемы исследования, со всем этим аппаратом подходит к изучению восточных языков. Так поступают в новейшее время и ученые Востока. Поэтому, если обратиться, например, к грамматикам различных восточных языков, созданным как европейскими востоковедами, так и национальными учеными, то нетрудно заметить, что в сущности в этих грамматиках языковые явления, наблюдаемые в языках Востока, в большей или меньшей степени подгоняются под определения и оценки явлений, обнаружившихся в системе и в истории языков Запада.

Прививка европейского языкознания изучению языков Востока совершенно необходима в силу высоких достижений науки о языке на Западе, но при этом должна учитываться и собственная наука о языке, как она сложилась у данного народа в период его независимости от Европы; должно приниматься в расчет и то понимание явлений своего языка, которое сложилось у самого народа — создателя и носителя этого языка. Без соблюдения этих условий трудно рассчитывать на полное и действительно адекватное научное раскрытие существа отдельных языковых явлений, грамматического строя данного восточного языка в целом.

Таковы последствия, к которым приводит в деле изучения языков Востока абсолютизирование теоретических положений науки о языке в том виде, в каком они сложились на основе изучения индоевропейских языков. К столь же нежелательным последствиям приводит такое абсолютизирование и в развитии самой науки о языке.

Индоевропейские языки всего лишь одна большая группа языков человечества. Помимо них существуют и другие группы языков, представляющих свои собственные, своеобразные системы. Достаточно указать хотя бы на группу тюркских языков. Что касается такого восточного языка, как китайский, то из ныне существующих языков мира он является, повидимому, единственным языком, который имеет столь длительную (четыре тысячи лет) непрерывную, документально засвидетельствованную историю своего развития. Вряд ли возможно поэтому построить действительно всеобщую теорию развития языка без учета истории китайского языка, а между тем сейчас это именно так и делается. Разумеется, вполне допустимо, полезно и важно выставлять общетеоретические положения на основе изучения одной или двух групп языков. Они всегда будут иметь значение для развития науки о языке; не следует только их абсолютизировать.

6. Полная ликвидация обособленности востоковедения и западоведения и есть наилучший способ преодоления указанных недостатков. Этот путь может привести и наверняка приведет к пересмотру многих общих положений и в исторической науке, и в литературоведении, и в языкознании. Кардинальным отличием такой, подлинно советской науки от

науки в капиталистических странах явится прежде всего то, что она будет действительно всеобщей, поскольку ее положения будут основаны на изучении жизни и деятельности всех народов мира. Ее теоретические положения будут поэтому законно претендовать на всеобщее значение. Другой кардинальной особенностью этой науки явится то, что она будет новой — в том смысле, что, в результате такого всеохватывающего изучения материала, будут пересмотрены одни из тех положений, которые сейчас претендуют на всеобщую значимость; совсем отпадут другие положения; появятся совершенно новые; приобретут новое значение положения, сохраняющие свою силу.

7. Возможность достижения этой цели обеспечивается в нашей стране наличием всех необходимых условий. Эти условия следующие:

а) Наличие у нас общей научной теории, служащей надежной общей базой для плодотворного научного исследования во всех областях науки, базой, в равной степени пригодной для изучения явлений общественной жизни всех времен и всех народов. Эта теория — марксизм-ленинизм.

б) Наличие у нас самих стремления, воспитанного в нас революцией с ее всемирно-историческим пафосом, всегда видеть в единичном, через единичное — общее; в общем, через общее — все многообразие единичного.

в) Практически уже осуществляемое в рамках нашей страны содружество народов Запада и Востока.

г) Наличие для исследования огромного материала, относящегося как к прошлому этих народов, так и к их настоящему.

2

8. Помимо этих общих условий, для развития востоковедения необходимо еще одно, специфическое для востоковедения: постоянное введение в науку новых материалов. Для этого требуется изменение нынешнего положения с работой над документальными востоковедными материалами в виде рукописных, ксилографических и старопечатных фондов, имеющихся в научных учреждениях Советского Союза. На первое место из них следует поставить фонды Института востоковедения Академии наук СССР.

Важнейшими из этих фондов являются: тангутский, тибетский, мусульманский (рукописи на арабском, тюркских и иранских языках), уйгурский, согдийский, сериндийский, китайский, маньчжурский, корейский, японский. Значительно меньшими по количеству рукописей являются фонды армянский, грузинский, сирийский, коптский, эфиопский. Есть и немногие, но ценные рукописи на пальмовых листах, бересте и бумаге, написанные различными видами письма, принятыми в Индии, на языках санскрито, пракритах, пали, бенгали, хинди, пенджаби, телугу, сингалезском, тамильском, бирманском, мон и кхмерском.

Значительная часть этого обширного собрания является уникальной. Полностью уникальным является тангутский фонд, насчитывающий около 5 тыс. единиц хранения и состоящий из ксилографов X—XII вв. Помимо этого собрания известны только около 100 полных тангутских ксилографов в Китае и несколько десятков страниц разрозненных текстов в хранилищах Западной Европы, Северной Америки и Японии. Н. А. Невский, долгое время работавший над тангутским фондом и сумевший расшифровать сложнейшую тангутскую письменность, обнаружил, что в этом фонде, помимо буддийской литературы, составляющей, по-видимому, наибольшую его часть, имеются исторические и юридические памятники, крупные эпические памятники и произведения художественной литературы. Есть и китайско-тангутские и тибетско-тангутские сло-

вари. Таким образом, этот фонд может обеспечить полное раскрытие истории тангутского народа, в настоящее время известной нам главным образом по китайским источникам. Значение же ее для понимания общей истории стран Восточной и Центральной Азии, в частности Китая, в X—XII вв. неоспоримо.

Также полностью уникальным является согдийский фонд, содержащий около 150 документов VII—VIII вв., найденных в Таджикистане. Эти документы могут в более полном виде раскрыть для нас историческую и культурную жизнь населения этого района Средней Азии, т. е. более подробно осветить один из периодов истории предков таджикского народа. Не нужно забывать огромную роль согдийцев в международных отношениях на Востоке в средние века; не нужно забывать, что согдийский язык был одно время языком международной торговли в этой части Старого Света.

Ни в одном из мировых хранилищ нет уйгурского фонда, по количеству и значению равного уйгурскому фонду Института востоковедения. В этом фонде уже сейчас имеются несколько сот полных и фрагментированных документов; реставрация же дунхуанских материалов доведет это число, вероятно, до тысячи. Таким образом, история уйгуров— народа, игравшего такую значительную роль в политической, экономической и культурной жизни народов Центральной и Средней Азии в средние века, а в наше время переживающего подъем своей национальной жизни в Народном Китае и в Советском Союзе, может быть также воссоздана по оригинальным источникам.

Очень большое значение имеет и тибетский фонд, насчитывающий до 35 тыс. блоков ксилографов и рукописей XVII—XIX вв. и около полусотни текстов VIII—IX вв. Чрезвычайно важно, что в этом фонде, в большей своей части состоящем из произведений буддийской литературы, имеются крупные эпические и исторические памятники. Это позволит восполнить и, может быть, в значительной мере переработать историю тибетского народа и его государства, до сих пор известную нам главным образом по китайским источникам.

Ряд уникальных памятников содержит корейский фонд. В нем обнаружены до сих пор неизвестные науке произведения: рукописи XVIII в. о борьбе различных конфуцианских партий, средневековые романы. Командированные в СССР правительством Корейской Народно-Демократической Республики корейские научные работники, ознакомившиеся с этим фондом, нашли в нем многое, что пока еще не обнаружено в самой Корее.

9. Сказанного достаточно, чтобы понять, каким богатством первоисточников обладает один только Институт востоковедения. Не меньшие богатства сосредоточены и в других научных учреждениях нашей страны. Так, например, в библиотеке Восточного факультета Ленинградского университета имеется обширный китайский фонд, по объему приблизительно равный соответствующему фонду в Институте востоковедения Академии наук. Обширный мусульманский фонд, равный приблизительно двум третям соответствующего фонда Института востоковедения, находится в Ленинградской публичной библиотеке. Более 1500 единиц хранения содержит корейский фонд публичной библиотеки в г. Алма-Ата. Хорошо известно богатство рукописных фондов Академий наук Узбекистана и Азербайджана. Первостепенное значение имеет собрание Библиотеки им. Ленина в Москве. Ценные фонды имеются и в Государственном Эрмитаже. Таким образом, советское востоковедение обладает огромной материальной базой научного исследования — богатейшим фондом первоисточников для изучения истории, экономики, идеологии, литературы, языков народов Востока в древности, в средние века и даже, прав-

да, в меньшей степени, и в новое время (XVI—XIX вв.). Описание этих фондов, публикация наиболее важных первоисточников, издание этих первоисточников в сопровождении русского перевода и научного комментария, всесторонние исследования материалов и документов — все это расширило бы содержание нашего востоковедения, улучшило бы научное качество работ, обеспечивало бы непрерывный прогресс нашей науки в этой области.

10. Следует сказать, однако, что существующее положение с работой над этими фондами является совершенно неудовлетворительным. Если обратиться к состоянию работы над фондами в Институте востоковедения, то приходится констатировать следующие факты:

а) Неудовлетворительно обстоит дело с обработкой фондов. Так, у тибетского фонда нет не только описания, но и простого обзорного списка. Не имеет описания и тангутский фонд; зарегистрировано только около 2 тыс. единиц хранения, примерно же около 3 тыс. единиц остаются не учтенными. Нет полного описания и мусульманского фонда; ведущаяся каталогизация его охватывает главным образом одни только ираноязычные памятники. Не имеет надлежащего описания китайский фонд, насчитывающий от 3 до 4 тысяч названий. Не описанным остается маньчжурский фонд, причем даже неизвестно точно количество заглавий и томов. Прекращено описание японского фонда из-за переброски специалиста-японоведа на корееведение.

б) Столь же неудовлетворительно обстоит дело и с кадрами, работающими над фондами. Так, нет квалифицированных работников-специалистов для работы над тангутским, маньчжурским, китайским и японским фондами. Нет ни одного работника для огромного фонда древнееврейских рукописей и инкунабулов. Совершенно недостаточно и число работников по некоторым другим фондам: мусульманский фонд имеет работников для своих ираноязычной и арабоязычной частей и не имеет работников для тюркоязычной части. Только одного работника имеет монгольский фонд. Нет надежды на изменение такого положения и в будущем, так как планомерная работа по подготовке соответствующих кадров специалистов-филологов не ведется.

Сходное положение наблюдается и в некоторых других хранилищах. Так, например, весь обширный фонд Ленинградской публичной библиотеки обслуживается крайне недостаточным по числу составом работников. Не ведется никакой работы над китайским фондом библиотеки Восточного факультета Ленинградского университета: нет ни одного работника; состав и количество единиц хранения в точности неизвестны. Никем не обрабатывается корейский фонд публичной библиотеки в г. Алма-Ата. Над изучением клинописных текстов собрания Государственного Эрмитажа работает один научный сотрудник; публикация результатов идет крайне медленно.

11. К сказанному следует добавить, что нынешние условия содержания этих фондов вызывают серьезную тревогу за сохранность их. Особенно большую тревогу вызывают условия хранения фондов Института востоковедения АН СССР.

В свое время для хранения этих фондов было построено специально оборудованное помещение: 5-й этаж здания Библиотеки Академии наук в Ленинграде. В 1949 г. рукописные фонды были перенесены в здание на Дворцовой набережной (№ 18) — бывший великокняжеский дворец. Это было сделано по распоряжению Президиума АН СССР, несмотря на протесты и заключения авторитетных комиссий о полной непригодности этого здания для хранения рукописей. В результате за годы, истекшие со времени переезда, наиболее хрупкие рукописи и ксилографы,

как, например, тангутские и сериндийские, обнаружили такое осыпание, что в случае оставления их в таких же условиях хранения они, вероятно, через 2—3 десятка лет превратятся в пыль. Недопустимо состояние хранения и корейского фонда в г. Алма-Ата.

3

12. Обеспечить надлежащий высокий уровень и необходимое развитие советского востоковедения могут, по нашему мнению, следующие меры:

а) Для безотлагательного расширения научно-документальной базы востоковедения, для систематического и планомерного ввода в научный обиход новых материалов нужно решительно покончить с недооценкой работы над фондами источников и резко повернуть дело в сторону всемерного укрепления и расширения ее.

С этой целью следовало бы в системе Отделения литературы и языка создать особый Институт восточной филологии, поручив ему координировать работу с другими научными учреждениями Советского Союза, ведущими работу над источниками.

При организации такого Института необходимо, однако, отказаться от старых представлений о филологии как науке только о документах прошлого, и притом — отдаленного прошлого, и раздвинуть рамки филологии в сторону признания возможности и научной необходимости филологической работы также над материалами и документами нового времени, характеризующими отдельные стороны жизни народов Востока.

В соответствии с этим перед Институтом восточной филологии могли бы быть поставлены следующие задачи:

1) публикация источников, материалов и документов;

2) издание источников, материалов и документов в русском переводе с надлежащими филологическими исследованиями текстов и научными комментариями к ним;

3) издание исследований, основанных на оригинальных источниках, материалах и документах.

Для успешного осуществления этих задач в Институте восточной филологии должны быть объединены востоковеды, которые в полной мере обладают специальной востоковедной филологической квалификацией.

б) В целях указанного выше сближения работы востоковедов и западоведов необходимо развернуть работу по изучению истории, экономики, философии, литератур и языков народов Востока в соответствующих институтах Академии наук СССР. Перед работниками-востоковедами в этих институтах могут быть поставлены те же задачи, которые ставятся там для всех работников — как по линии отдельных монографических работ, так и по линии участия в коллективных трудах.

13. В целях обеспечения надлежащим образом подготовленного пополнения кадров работников-востоковедов следует принять меры к решительному улучшению филологического образования в тех высших учебных заведениях, которые ведут подготовку востоковедов. Надо обратить самое серьезное внимание на отбор аспирантов, резко повысив требования к их подготовке при поступлении в аспирантуру и к качеству и масштабу их аспирантской работы.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1956

Р. А. БУДАГОВ

ПОНЯТИЕ О НОРМЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА ВО ФРАНЦИИ В XVI—XVII вв.

1

XVI век — эпоха весьма знаменательная в истории французского языка, как, впрочем, и в истории всей французской культуры. Именно в это время начинается знаменитая «защита» (défense) французского языка и его «прославление» (illustration). В это же столетие появляются первые грамматики французского языка. Возникает научная традиция изучения родного языка. Французский язык вступает в борьбу с латынью, постепенно оттесняя ее из сферы науки и официальных документов. Ордонанс Виллер-Котре 1539 г. признает французский язык единственным государственным языком всей страны. Теоретики языка, «прославляя» родную речь, стремятся сделать так, чтобы язык стал как можно более богатым, чтобы с его помощью легко было выразить все многообразие мыслей и чувств людей новой эпохи. Вместе с тем возникает вопрос о норме языка и границах этой нормы во времена Возрождения.

Положение существенно меняется с начала XVII в. Вместо характерного для XVI в. широкого понимания нормы литературного языка в XVII в. постепенно вырабатывается совершенно иное истолкование языковой нормы. Теоретики языка XVII в. вступают в резкую полемику с теоретиками минувшего столетия и стремятся обосновать принципы «хорошего обычая» (bon usage) в языке. Эта новая языковая концепция, еще не вполне категорически сформулированная Малербом, затем получит развитие и поддержку у виднейшего грамматиста эпохи — Вожла и у только что созданной тогда французской Академии (1635 г.). Так возникает «академическая концепция» нормы литературного языка, оказавшая огромное влияние на все дальнейшее развитие этого понятия во Франции. В данном небольшом сообщении мы и хотим показать, как сформировались эти два противоположных понимания языковой нормы — «широкое» и «узкое» — в столь важную для Франции эпоху становления ее литературного языка.

Вопросы языка оказались в центре внимания очень многих представителей французской культуры и государства уже с первых десятилетий XVI в. Различные обстоятельства способствовали выдвижению языковых проблем. Ими стали интересоваться писатели, ученые, общественные деятели, королевские министры. Стремление сделать французский язык общегосударственным языком Франции и как-то ограничить не только сферу распространения другого языка (латыни), но и местных диалектов не могло не привлекать внимания к вопросам языка; все это стимулировало развитие языковой теории и выводило языковые дебаты той эпохи за пределы узких рамок профессиональной доктрины. Вопрос о том, к а к следует говорить и писать на родном языке, стал интересовать всех образованных людей. Это всеобщее внимание к вопросам языка оказалось настолько значительным, что даже через сто лет, в тридцатых годах XVII в.,

когда стала организовываться французская Академия, перед ней были поставлены вначале только лингвистические задачи: создать словарь французского языка и составить его грамматику[1]. Лишь впоследствии цели и обязанности французской Академии стали постепенно расширяться.

Таким образом, в эпоху, когда складывались условия для формирования французской нации, вопросы языка приобрели особо актуальное значение. И недаром даже в тех случаях, в которых обсуждались темы литературы и эстетики, проблема языка вставала во весь рост. Поэтому литературный манифест поэтов Плеяды, написанный Дюбелле (1549), так и назывался — «Защита и прославление французского языка»[2], а сам Дюбелле, вставший на защиту родного языка, сравнивал себя с воином, который защищает отечество[3].

Для того чтобы успешно «защитить» французский язык, доказать его способность быть средством общения людей во всех сферах их деятельности, во всех случаях жизни, необходимо сделать этот язык богатым. Так считали французские гуманисты XVI в. Чтобы показать практическую силу тезиса «сами люди должны обогащать свой язык!», гуманисты стали широко вводить в язык новые слова, черпая их из самых разнообразных источников (из старого языка, из различных диалектов, из других языков, наконец, создавая новые слова по образцу уже существующих). «Чем больше будет слов в нашем языке, тем он будет лучше»— писал Ронсар[4], и этот тезис разделяли почти все его современники. Новые слова нужно брать из всех источников, в том числе и из диалектов, приобщая их к литературному языку и обогащая тем самым этот последний. Крылатая фраза Монтеня «да поможет гасконский, если французский не справляется» («que le gascon y arrive, si le françois n'y peut aller»)[5] хорошо передает общее устремление эпохи. Вслед за Дюбелле Ронсар в предисловии к своей «Франсиаде» обосновывал право писателя широко черпать слова из старого языка, как бы обновляя их и приспосабливая к новым нуждам общения[6].

Особо обсуждался в XVI в. вопрос о неологизмах. Быстрое развитие науки и культуры требовало введения в язык новых слов. Для передовых мыслителей этого времени вопрос о неологизмах органично переплетался с вопросом о потребностях в новых знаниях. Нужно опираться не на авторитет античности, а на реальные факты — так ставили вопрос ученые и писатели той эпохи. В предисловии к своим «Les Institutions astronomiques» (1557 г.) астроном Мэм писал, что если некоторым читателям изложение его книги покажется трудным (rude), то автор просит учесть, что «новые поиски науки требуют новых терминов»[7]. С аналогичными заявлениями выступали и другие ученые. В язык широким потоком вливались новые слова и термины, такие, как, например, *agriculteur*, *classique*, *concours*, *concret*, *effectif*, *explication*, *fréquentatif*, *pacifique*, *potentiel*, *semestre*, *social*, *véhicule* и сотни других.

---

[1] См. «Histoire de l'Académie française» par Pellisson et d'Olivet, éd. Ch. Livet, Paris, 1858.

[2] J. Du Bellay, Défense et illustration de la langue françoise, éd. H. Chamard, Paris, 1904.

[3] Там же, стр. 34—35.

[4] P. Ronsard, Oeuvres, éd. Marty-Laveaux, vol. VI, стр. 460; ср. E. Huguet, Dictionnaire de la langue française du seizième siècle, t. I, Paris, 1925, Préface, стр. VI—IX.

[5] M. de Montaigne, Essais, I, Paris, б. г., стр. 25; ср. E. Pasquier, Lettres, t. I, Amsterdam, 1723, Livre XVIII, chap. I.

Об этой фразе Монтеня см. в комментариях (приложениях) к русскому переводу его «Опытов» (кн. 1, М.— Л., Изд-во АН СССР, 1954, стр. 440).

[6] P. Ronsard, указ. соч., vol. VI, стр. 462.

[7] См. F. Brunot, Histoire de la langue française, t. II, Paris, 1906, стр. 60.

Призывы ученых «обогащайте родной язык!» не оставались без последствий. Уже раньше, в первой половине XVI в., Рабле языком своего романа о Гаргантюа и Пантагрюэле стремился показать, что значит обогащение языка на практике. Исследователи языка Рабле собрали огромный словарь специальных слов, встречающихся в романе (юридических, философских, медицинских, военных и пр.). Описывая тот или иной предмет, Рабле подходит к нему как бы с разных сторон. Он находит 153 названия для игр молодого Гаргантюа, 138 наименований блюд, подаваемых Мандюсу, упоминает 98 пород различных ядовитых змей и т. д. Исключительно обширен и технический лексикон писателя. Он интересуется всем и для каждого факта и явления находит выразительное слово и его многочисленные синонимы. Поэтому один из исследователей языка Рабле был в известной мере прав, когда изучение словаря последнего как бы отождествил с изучением культуры Возрождения во Франции[1].

Стремление обогатить родной язык не оставалось только пожеланием, оно действительно претворялось в жизнь, оказывалось реальным. При этом писатели как бы подготавливали почву для теоретиков языка, а эти последние в свою очередь вдохновляли последующих авторов. Во многих же случаях сами теоретики языка были одновременно крупными прозаиками и поэтами, что в первую очередь относится к Ронсару, Монтеню, Дюбелле и многим другим. Таким образом, очень популярный в XVI в. девиз «защита и прославление французского языка» на практике превращался в защиту права всех говорящих на данном языке, и прежде всего писателей и ученых, обогащать родной язык отдельными словами, превращать язык в современное средство общения людей, приспосабливать его к новым потребностям выражения мысли, к нуждам развивающейся науки, к запросам новой культуры. Так осуществлялась прежде всего вторая часть девиза— «прославление» родного языка. Первая же часть — «защита» означала нечто другое.

Дело в том, что мощным противником французского языка продолжал оставаться язык латинский. В XVI в. во Франции стал очень остро ощущаться своеобразный языковой дуализм: латынь господствовала как бы в «высших сферах» языкового общения (в юридических актах, в дипломатической переписке, в научных трактатах), тогда как язык «вульгарный» был по преимуществу средством общения в обыденной жизни[2]. Учитывая это положение, передовые писатели и ученые стремились показать и доказать способность французского языка быть средством общения не только в его «низших сферах», но и в «сферах высших». Для этого же надо было «защитить» французский язык от мощного противника (латыни) и вместе с тем «прославить» родной язык, обнаружить его способность к постоянному совершенствованию. Так обосновывается тезис «защиты и прославления» родного языка. Так обосновывался и другой тезис, тесно связанный с первым: необходимо работать над языком, постоянно его совершенствовать. Поэтому в своем трактате о языке Дюбелле не случайно вспоминает латинских писателей, которые немало потрудились над тем, чтобы сделать свой язык прекрасным, и призывает французских писателей следовать их примеру[3]. «Защита» языка естественно перерастала в его «прославление».

Как уже было здесь подчеркнуто, «защита» французского языка про-

[1] См. L. Sainéan, La langue de Rabelais ou la civilisation de la Renaissance, vol. 1—2, Paris, 1922—1923.

[2] См.: Л. Ольшки, История научной литературы на новых языках, т. II, перевод с нем., М.— Л., 1934, стр. 43 и сл.; З. В. Гуковская, Из истории лингвистических воззрений эпохи Возрождения, Л., 1940, стр. 6.

[3] См. J. Du Bellay, указ. соч., chap. XII.

ходила в упорной борьбе с правами латыни и, тем самым, в борьбе с языковым дуализмом. Латынь неохотно и очень медленно стала отступать со своих позиций, прочно ею завоеванных всем ходом предыдущего языкового развития и своеобразным положением науки в средние века. Любопытно, что в сравнительно более демократические области знания французский, *или, как его тогда называли,* вульгарный, язык стал проникать раньше, чем в науки более привилегированные, более «аристократические». Так, в химии, выросшей из алхимии, раньше обращаются к языку французскому, чем, например, в физике[1]. К сожалению, вопрос этот, весьма важный *для понимания путей и направлений преодоления* языкового дуализма во Франции, все еще почти совершенно не изучен.

В весьма своеобразном положении оказался язык художественной литературы. Художественная литература, примыкая к «низшим сферам» общения, обычно обращалась к родной речи, тогда как наука, приобщаясь *в этом плане* к «высшим сферам» коммуникации, прибегала к латыни. Разумеется, в средние века существовала во Франции художественная литература и на латинском языке, однако она не могла серьезно конкурировать с богатой и очень разнообразной литературой на родном языке. *Интересно в этом плане языковое расслоение уже в памятниках* более ранней эпохи. Как отмечает Брюно[2], в своеобразном переложении «Ветхого Завета» (Vieil Testament), написанном на французском языке в XV в., представители деклассированных социальных групп говорят на французском арго, тогда как из уст бога *то и дело слышатся* латинизмы. Таким образом, язык науки и язык художественной литературы оказались языками разными. Поэтому, когда под напором речи «вульгарной» (французской) латинский язык стал постепенно отступать из сферы науки и юридических актов, то этим самым создавались условия для *преодоления языкового дуализма во всей стране.*

Совсем не случайно, что многие научные сочинения эпохи Возрождения, в которых стали обращаться к родному языку, первоначально имели своеобразную художественную форму. Это всевозможные «диалоги», «опыты», «повествования», в которых *выступают действующие лица,* обычно ведущие спор на ту или иную научную тему. Таковы были, например, «Dialogues du nouveau langage françois italianizé» (1578) Анри Этьена, в которых действующие лица дебатировали вопрос о том, насколько полезны итальянские слова в языке французском. Таковы же были и многие другие научные сочинения того времени, в том числе трактаты по физике, медицине и математике. Так как наступление «вульгарного» языка шло из «низших» сфер в «высшие», то неудивительно, что жанры этих «низших» сфер стали распространяться в сферы «высшие», в результате чего научные сочинения эпохи Возрождения как во Франции, так и во многих других странах этой же эпохи часто облекались в своеобразные формы художественной литературы — в диалоги, в споры, сценки и т. д.

Соприкосновение разных языков и жанров в разных сферах общения приводило в ряде случаев и к своего рода недоразумениям. Слишком «художественный» характер научных доказательств Галилея раздражал Кеплера, а Декарт находил, что стиль изложения Галилея излишне беллетризован[3]. Однако само по себе временное соприкосновение жанров художе-

---

[1] См. K. Vossler, Frankreichs Kultur und Sprache, Heidelberg, 1929 (глава «Das Französische im Dienst der Wissenschaften»). Для Италии см. P. O. Kristeller, The origin and development of the language of italian prose, «Word», vol. 2, № 1, 1946.

[2] F. Brunot, Histoire de la langue française, t. I, Paris, 1905, стр. 526.

[3] См. L. Traube, Einleitung in die lateinische Philologie des Mittelalters, hrsg. von P. Lehmann, München, 1911, стр. 31.

ственного повествования и научного изложения было вполне закономерным, так как наступление «вульгарного» языка на язык латинский происходило с позиций тех сфер языкового общения, в которых положение «вульгарного» языка было очень прочно и имело длительную и глубокую традицию (сфера обыденного общения и сфера языка художественной литературы).

Борьба «вульгарного» языка с латынью определила широкое понимание литературной нормы в XVI в. во Франции. В норму литературного французского языка должно было входить все, что помогало «прославлению» французского языка, что «защищало» его от давления латыни, что способствовало его обогащению. Только богатый язык может соперничать с таким мощным, имеющим прочную традицию языком, каким представлялся в то время язык латинский — средство интернационального научного общения.

Это понимали не только теоретики французского литературного языка, не только писатели и ученые, но и французские грамматисты XVI в. Почти все грамматисты этой эпохи стояли на антипуристических позициях, стремились обосновать такую грамматику и такие грамматические правила, которые бы учитывали особенности живой французской речи.

Не случайно, что виднейший грамматист этого времени Луи Мегре выступает последовательным сторонником реформы французской орфографии, настаивая на необходимости приблизить устаревшую орфографию к особенностям французского произношения[1]. Мегре чужда идея условной правильности языка, он стремится к своеобразной рациональной его правильности: то, что способствует ясности выражения, является и грамматически правильным, как и обратно — все, что мешает нашей мысли, вызывает вопрос о том, насколько это целесообразно также в грамматике. Хотя Мегре пришлось сделать немало отступлений от данного общего правила — грамматика французского языка не укладывалась и в эту слишком прямолинейную схему — сама постановка вопроса о рациональной правильности литературной нормы языка была очень характерна для эпохи.

В борьбе за возможность для родного языка быть средством общения, средством выражения мысли во всех сферах деятельности человека формировалось само понятие литературной нормы языка, понятие правильного и неправильного в языке XVI в. Теоретики французского языка того времени восприняли от античных философов атомистическое понимание языка. Еще Демокрит считал, что вещь точно так же складывается из атомов, как слово — «из букв». Эти последние, сочетаясь, образуют слоги, тогда как соединение слогов приводит к созданию имен. Сцепление имен образует речь (λογος)[2].

Так же понимали языковые отношения и французские писатели и грамматисты XVI в. Для Ронсара, как и для Мегре, язык — это собрание слов[3]. Именно поэтому работа над языком понималась прежде всего как работа над отдельными словами, как рассуждения о нужных и ненужных словах, как обогащение языка словами. Именно поэтому важнейший девиз всей эпохи — «защита и прославление» французского языка — по существу превращался прежде всего в заботу о словарном составе языка. Интересно, что даже у французских грамматистов рассмат-

[1] Ch. L i v e t, La grammaire française et les grammairiens du XVI-e siècle, Paris, 1859, стр. 51.

[2] См. Т. Гомперц, Греческие мыслители, т. I, перевод с нем., СПб., 1911, стр. 288.

[3] P. R o n s a r d, указ. соч., vol. III, стр. 531; ср. C. T r a b a l z a, Storia della grammatica italiana, Milano, 1908, стр. 106.

риваемой эпохи, и прежде всего у Мегре, А. Этьена, Рамюса и др., грамматические положения очень часто подменялись рассуждениями о тех или иных словах. В эту эпоху еще почти не знали, что такое фонетика или синтаксис. Грамматика состояла почти исключительно из того, что теперь называется морфологией, причем и последняя понималась опять-таки как грамматика отдельных слов.

Можно утверждать, что все языковые концепции XVI в. во Франции были в той или иной степени подчинены атомистическому взгляду на язык, на взаимоотношения между словами, на природу грамматики. В те времена еще не существовало такого понимания языка, которое в современной лингвистике называется «системным». Язык — это система, в которой отдельные части органически связаны между собой и в которой отдельные элементы, соединяясь между собой, образуют новые качества. К такому простому и вместе с тем глубокому пониманию языка наука приходит лишь во второй половине XIX в. Естественно, что подобного понимания языка не было и не могло быть в интересующую нас эпоху. Однако шаг вперед в этом направлении будет сделан уже в XVII в. Необходимо, впрочем, подчеркнуть, что материалистическая в своей основе атомистическая концепция языка имела на протяжении многих веков прогрессивное значение, так как эта концепция связывала «имена» языка с реальными предметами и явлениями внешнего мира.

Следовательно, понимание того, что возможно и что невозможно в языке, что хорошо в нем и что плохо (проблема литературной нормы языка), было обусловлено, с одной стороны, самими условиями развития общенародного французского языка в его борьбе с латынью, а с другой — взглядами на природу языка (атомистической концепцией). Широкое истолкование литературной нормы в XVI в. стало, таким образом, вполне закономерным.

В результате успешно претворенного в жизнь принципа «защиты и прославления» родного языка, к концу XVI в. французский литературный язык чрезвычайно обогатился прежде всего в количественном отношении: очень расширился его словарный состав. Вместе с тем грамматика французского языка оставалась все еще не упорядоченной и даже не описанной. Грамматисты XVI в. больше рассуждали о том, каким должен быть язык, чем описывали и исследовали его категории. В результате к концу XVI и началу XVII в. многим казалось, что французский литературный язык нуждается в упорядочении, в нормализации. Недаром один из современных исследователей французской культуры, Даниель Морне, характеризует язык этого периода словами «беспорядок и гений»[1].

2

Иные проблемы литературного языка возникли в XVII в. Если для XVI в. характерно, как мы видели, очень широкое понимание литературного языка, то уже с начала нового столетия положение меняется. На протяжении всего XVII в. писатели, ученые, грамматисты и лексикографы говорят о необходимости «упорядочить язык» (régler la langue). Этот девиз становится главной задачей Академии, он же проходит через всю книгу о языке крупнейшего грамматиста Вожла. Недаром впоследствии Вольтер в своем «Философском словаре», вспоминая о роли Академии в развитии литературного французского языка, подчеркивал, что необходимость «упорядочить язык» всеми ощущалась в XVII в.[2].

[1] D. Mornet, Histoire de la clarté française, Paris, 1929 (глава «Le XVI-e siècle, ou désordre et génie»).

[2] F. Voltaire, Oeuvres complètes, t. XVIII, Paris, éd. Hachette, 1866, стр. 110.

Чем же объясняется этот переход от «защиты» и «прославления» в с е г о французского языка во всем его многообразии к новому тезису, требовавшему «у п о р я д о ч и т ь» французский язык, установить принципы «хорошего обычая» в языке? Это изменение было вызвано тем, что задачи, которые стояли перед французским языком в XVI в., оказались в общих чертах решенными к началу нового столетия.

После длительной борьбы с латынью французский язык вышел победителем. Он был признан общегосударственным языком всей страны— языком не только бытового общения, но и языком науки, официальных документов, юридических актов. И хотя латынь кое-где еще продолжала оказывать сопротивление живому языку, вопрос в целом оказался уже решенным. Теперь отпала надобность «защищать» и «прославлять» французский язык, доказывать, что он не хуже языка латинского. Теперь надо было глубже разобраться в самом французском языке, попытаться его «упорядочить». Новые задачи, стоявшие перед обществом, определили и новые требования, возникшие по отношению к литературному французскому языку в XVII в.

Уже в начале XVII в. Малерб в своем комментарии к Депорту выступил против теоретических принципов, на основе которых строились языковые концепции поэтов Плеяды и других защитников родного языка в XVI в. Малерб соглашается лишь с теми положениями своих предшественников, в которых подчеркивалось значение родного языка для культуры народа, значение работы над языком вообще. Однако вопрос о том, как следует «работать над языком», Малерб понимал совсем иначе, чем теоретики эпохи Возрождения.

Три условия, которым должен отвечать французский литературный язык, Малерб определяет так: «чистота» (la pureté), «ясность» (la clarté) и «точность» (la précision)[1]. «Чистота» означала, что в литературный язык нельзя вводить какие угодно слова, как думали в XVI в. По мысли Малерба, богатство языка определяется не простым количеством слов, а тем, насколько эти слова оправданы и необходимы. Введенные без достаточной дифференциации и строгости, слова могут противоречить другому необходимому условию всякого литературного языка — его «ясности». Наконец, третье условие («точность») означало, что на родном языке надо писать так, чтобы все понимали. «Мало, чтобы нас понимали,— утверждал Малерб,— надо, чтобы не могли нас не понимать»[2].

Основываясь на этих принципах, Малерб последовательно выступал против диалектизмов и архаизмов, против излишних заимствований и неоправданных иностранных слов. Вместе с тем он подчеркивает важность установления точных синонимических оттенков между словами. Ему представляется существенной проблема соотношения буквальных и фигуральных значений в слове. Малербу хотелось так «упорядочить язык», чтобы в нем не было ничего лишнего, но чтобы существующее в языке было строго осмыслено, «расклассифицировано», приведено в «норму».

В своем стремлении «упорядочить язык» Малерб допускал односторонние решения. Ему казалось предосудительным не только все словотворчество поэтов Плеяды, но и образование новых слов при помощи словообразовательных суффиксов (типа *doucet*, *pourpret*, *sagette*). Он осуждает субстантивное употребление прилагательных (типа *la belle*) и выступает против смелых метафорических осмыслений слов.

---

[1] См.: F. B r u n o t, La doctrine de Malherbe d'après son commentaire sur Desportes, Paris, 1891, стр. 177 и сл.; H. L a u s b e r g, Zur Stellung Malherbe's in der Geschichte der französischen Schriftsprache, «Romanische Forschungen», Bd. 62, Heft 2/3, 1950.

[2] См. F. B r u n o t, La doctrine.., стр. 187 и сл.

И все же, несмотря на известную пуристичность языковой концепции Малерба, его взгляды на литературный язык вполне отвечали требованиям эпохи. Эти требования сводились прежде всего к тому, чтобы «отобрать» из языка нечто наиболее значительное и устойчивое, на основе чего можно установить норму «хорошего обычая»[1].

К этой задаче более непосредственно подошли Вожла и Академия — первый в своих «Remarques sur la langue françoise» (1647), вторая — в первом издании академического словаря французского языка, увидевшего свет в 1694 г. Вожла пользовался очень большим авторитетом среди своих современников, и его книга нашла многочисленных поклонников и подражателей. После Вожла с аналогичными замечаниями о французском языке выступили десятки знатоков языка и среди них такие, как Менаж, Буур, Шаплен, Тома Корнель и др. В отличие от Малерба, интересовавшегося главным образом вопросами поэтического языка и лексики, Вожла выступает по разным вопросам теории родного языка. Малербу еще не удалось сформулировать понятие нормы литературного языка, Вожла же начинает с определения этой нормы. «Хороший обычай в языке,— пишет он,— это манера говорить, установившаяся среди наиболее авторитетной части придворного общества и находящаяся в соответствии с манерой письма у наиболее авторитетных писателей эпохи»[2]. Формулировка Вожла, впоследствии вызвавшая самые разноречивые толкования[3], в сущности своей была ясной. Вожла сделал следующий шаг за Малербом, еще более сузив рамки литературного языка. Если уже Малербу было очевидно, что нужно как-то очертить контуры литературного языка, то Вожла действует более решительно. «Двор» и «хорошие писатели» — вот на кого, по его убеждению, нужно равняться при установлении нормы литературного языка.

Концепция нормы языка у Вожла имела не только социальное значение, как обычно думают, но и лингвистическое. Допустим, рассуждал Вожла, вы не знаете, как сказать: *elle s'est* ***fait*** *peindre* или *elle s'est* ***faite*** *peindre*. Как тогда быть? Можно ли обратиться к кому-нибудь с вопросом? Ни в коем случае, отвечает Вожла, ибо лицо, к коему вы обратитесь с вопросом, невольно начнет «рассуждать об этой фразе». Как же все-таки выйти из затруднения? Нужно, убеждает автор, обратиться с вопросом так, чтобы лицо, к которому вы обращаетесь, не подозревало, в чем вы сомневаетесь, и тогда «в непосредственности ответа» вы сможете обнаружить обычай[4].

Итак, непосредственность ответа — таков критерий, который предлагал Вожла для решения трудных или спорных случаев грамматики. Он противопоставляет языковой обычай, как нечто немотивированное, грамматике, как чему-то «разумному», основанному на правилах. Устная речь оказывается целиком во власти этого разумно не мотивированного обычая, тогда как письменная форма речи подчиняется иным закономерностям. Вожла сознавал, что в целом ряде случаев могут возникнуть «сомнения» («doutes de l'usage»), как следует употреблять то или иное слово, ту или иную конструкцию. Если эти «сомнения» касаются

---

[1] О работе Малерба над языком своих стихотворений см. L. Spitzer, Stilstudien, II, München, 1928, стр. 18—29.

[2] «Bon usage c'est la façon de parler de la plus saine partie de la cour, conformément à la façon d'escrire de la plussaine partie des autheurs du temps» (C. F. de Vaugelas, Remarques sur la langue françoise, éd. J. Streicher, Paris, 1934, Préface, § 2).

[3] «Commentaires sur les Remarques de Vaugelas», éd. J. Streicher, vol. 1—2, Paris, 1936.

[4] C. F. de Vaugelas, Remarques..., стр. 507.

письменной речи, то Вожла рекомендует справиться у классических писателей. Иногда он даже разрешает обратиться к «хорошим современным авторам», хотя и предупреждает, что им не следует доверять на слово[1].

Но если и классические писатели, и «хорошие современные авторы» не могут рассеять сомнения у пишущего, то Вожла предлагает обращаться к аналогии[2]. Хотя грамматист и оговаривается, что аналогия — это не что иное, как «общий и установленный обычай» («usage général et établi»), однако обращение к ней все же очень характерно для Вожла.

Представьте, что вы затрудняетесь, размышляет Вожла, как следует написать: *je vous prends tous à* ***témoin*** или *je vous prends tous à* ***témoins***? В таких случаях, по рекомендации грамматиста, следует обратиться к другим аналогичным примерам: *je vous prends tous à partie*, а не *parties*; *je vous prends tous à garant*, а не *garants* и т. д. Поэтому и в первом случае, в котором вы сомневаетесь, как следует написать, аналогия подскажет вам: *je vous prends tous à témoin*, а не *témoins*[3]. Итак, языковые колебания в письменной форме речи следует устранять при помощи аналогии.

Таким образом, в зависимости от того, какого рода колебания возникают в литературном языке и к каким языковым стилям эти колебания относятся, нужно прибегать к разным средствам для их устранения. В одних случаях решение языковых вопросов нужно искать «в непосредственных ответах» образованных людей придворного общества, в других истолкование этих вопросов должно быть подсказано «классическими или хорошими современными писателями», наконец, иногда сами языковые отношения (аналогия) должны указать правильный выход из затруднительного положения. Следовательно, «языковое чутье», авторитет писателей и грамматические связи, существующие между данным языковым явлением и аналогичными ему другими языковыми явлениями, — таковы три критерия, которые выдвигает Вожла для установления правильности или неправильности языкового факта и языкового обычая.

Современников Вожла очень смущал его тезис, согласно которому «одно дело — говорить грамматически правильно, другое — говорить по-французски»[4]. Между тем Вожла этим хотел сказать, что при установлении нормы «хорошего языкового обычая» нужно опираться не на один показатель, а на несколько разных. Так как между этими показателями могут быть расхождения, то грамматика (parler grammaticalement) не всегда согласуется с узусом разговорной речи (parler françois), а этот последний — с грамматикой. Вместе с тем только совокупность данных показателей может создать надежную платформу, с позиции которой следует решать все случаи «колебаний языкового обычая» (*doutes de l'usage*). Вожла был убежден, что в письменной форме речи бо́льшее значение приобретают грамматические данные и свидетельства писателей, в устной же — показатели самого разговорного языкового обычая, непосредственные ответы говорящих.

Несмотря на известную ограниченность и некоторую пуристичность языковой концепции Вожла, нельзя не отметить ее большого исторического значения. Поддержанная французской Академией, эта концепция сыграла важную роль в установлении нормы литературного французского языка в XVII в.

---

[1] C. F. de Vaugelas, Remarques..., Préface, § 2.

[2] Там же, § 4.

[3] Там же, стр. 563, Préface, § 3.

[4] «Remarques sur la langue françoise par Vaugelas», vol. II, Versailles, éd. A. Chassang, 1880, стр. 452.

Было бы несправедливо придавать буквальное значение отдельным терминам и оговоркам Вожла[1]. Равнение на язык «лучшей части придворного общества» в концепции Вожла имело не столько позитивное, сколько негативное значение. Как мы видели, теоретики языка XVI в. слишком раздвинули рамки литературного языка, настаивая на одинаковой целесообразности архаизмов и неологизмов, диалектизмов и заимствованных слов, общепринятого и индивидуального в языке. Вслед за Малербом Вожла стремился разобраться в этих сложных и пестрых языковых ингредиентах. Положение о языке «лучшей части придворного общества» в устах Вожла означало, что нужно больше прислушиваться к живой разговорной речи образованных людей и «фиксировать обычай» («fixer l'usage»). Вместе с тем Вожла тут же осложняет и дополняет этот шаткий критерий ссылками на манеру письма хороших писателей, на особенности грамматической аналогии. Так принцип наблюдения над языком дополнялся принципом традиции и языковой системы, уже намечавшимися в концепции Вожла.

Атомистическое понимание языка, господствовавшее в XVI в., начинает изменяться в XVII в. Теоретикам этой эпохи становится в известной мере уже очевидно, что отдельные элементы грамматики языка, как и отдельные слова, находятся в связи с другими элементами языка. Поэтому Вожла, говоря о том или ином правиле языка, то и дело оглядывается на другие правила, сопоставляя их между собой и устанавливая на основе этого сопоставления языковой обычай. Недаром в XX в. Ф. де Соссюр, критикуя метод рассмотрения языковых явлений, который основывался на анализе изолированных языковых фактов вне их целостной системы, ссылался на опыт французской грамматической науки XVII в., пытавшейся установить связь между отдельными элементами грамматики[2].

Разумеется, «синхронная» грамматика XVII в. еще не могла быть обогащена пониманием исторической природы языка, как это наблюдается в теории современной синхронии, которая тем самым оказывается неизмеримо выше «синхронной» грамматики XVII в. Однако сама попытка связать разрозненные языковые явления в единое целое и тем самым отойти от атомистического понимания языка, сделать шаг вперед имела большое значение для языкознания XVII в.[3].

На смену к о л и ч е с т в е н н о м у пониманию достоинств и недостатков литературного языка, господствовавшему в XVI в., в XVII в. выдвигается к а ч е с т в е н н ы й критерий: важно не количество существующих в языке слов, а то, насколько эти слова точно определены, насколько осмыслены грамматические правила, насколько язык в целом понятен всем говорящим.

Не только Вожла и его последователи, но и французская Академия, подготавливая первое издание своего толкового словаря, выступала против создания новых слов[4]. Но, осуждая новые слова, Академия стремилась лучше и точнее осмыслить слова, уже существующие в языке.

---

[1] О Вожла см. в книге: Р. А. Б у д а г о в, Развитие французской политической терминологии в XVIII веке, Л., 1940, стр. 18—28.

[2] См. Ф. д е С о с с ю р, Курс общей лингвистики, перевод с франц., М., 1933, стр. 89—90.

[3] Весьма интересно, что в совершенно другую историческую эпоху повторится борьба противников атомистического понимания языка с защитниками этой концепции. Различные последователи «системного» истолкования языка в XX в. до сих пор упрекают младограмматиков за то, что последние рассматривают историю языка как сумму отдельных языковых фактов, не учитывая постоянного и глубокого взаимодействия между ними. Однако «атомисты» XIX в., будучи историками языка и владея сравнительно-историческим методом, тем самым уже далеки от «атомистов» эпохи Возрождения.

[4] См. «Dictionnaire de l'Académie françoise», Paris, 1694, Préface.

Такая позиция вполне понятна. В рационалистической философии Декарта, как и в поэтике классицизма, всячески подчеркивалось значение точных слов. Декарт считал, что одна из причин «заблуждений нашего ума» заключается в том, что между явлениями действительности и словами, при помощи которых мы называем эти явления, очень часто образуются неточные соответствия, порождающие всяческие недоразумения. Поэтому в своих «Правилах для руководства ума», написанных еще по-латыни, Декарт утверждал: «...словесные вопросы встречаются столь часто, что если бы философы всегда соглашались в значении слов, то почти все их споры прекратились бы»[1]. Декарт считал, что необходимо точно определять значения слов, чтобы добиться правильного понимания природы самих явлений. Аналогичные мысли развивал, как известно, и Буало в своем «L'art poétique» (1674):

Любите разум: пусть ваши сочинения
Светятся его огнем и его достоинством.
. . . . . .
Кто не умеет себя ограничить,
Тот не умеет писать»[2].

Соответственно с положением Декарта о точных словах, в поэтике классицизма разрабатывалась теория общих понятий, согласно которой человеческий ум должен уметь разбираться прежде всего в общих понятиях, в систему которых входят и все частные представления. Поэтому и в языке нужно стремиться не к тому, чтобы побольше вводить в язык новых слов для обозначения всех новых явлений действительности, новых открытий науки, как думали в XVI в., а к тому, чтобы уточнить контур «общих слов» («mots généralS»), в свете значения которых будут осмыслены и частные наименования предметов. Теоретики литературного языка XVII в., выступая против новых слов, вместе с тем ратовали за уточнение тех уже существующих «общих слов», которые соответствовали «общим понятиям» эпохи. Этим объясняется также широкий интерес к проблеме синонимов, возникший именно в данную эпоху.

В своих знаменитых «Les Caractères» (1688) Лабрюер писал: «Среди разнообразных выражений, способных передать нашу мысль, только одно является правильным, хотя его подчас и не умеют найти. Тем не менее это выражение существует, и всё, что им не является, оказывается слабым и не удовлетворяет умного человека, который хочет быть правильно понятым»[3].

Теория общих понятий и соответствующих им общих слов получила косвенное отражение и в разработке вопросов грамматики. Если в XVI в. интерес к языку был по преимуществу л е к с и к о л о г и ч е с к и м — споры о языке велись главным образом вокруг словаря, что вполне понятно в эпоху атомистического истолкования природы языка, то в XVII в. углубившийся интерес к проблемам логических к а т е г о р и й и о б щ и х п о н я т и й не мог не найти своего отражения и в языковых теориях.

---

[1] Р е н э Д е к а р т, Избр. произвед., Госполитиздат, 1950, стр. 139.

[2] «Aimez donc la raison: que toujours vos écrits
Empruntent d'elle et leur lustre et leur prix.
. . . . . .
Qui ne sait se borner ne sut jamais écrire». (Chant 1).

[3] «Entre toutes les différentes expressions qui peuvent rendre une seule de nos pensées, il n'y en a qu'une qui soit la bonne; on ne la rencontre pas toujours en parlant ou en écrivant. Il est vrai néanmoins qu'elle existe, que tout ce qui ne l'est point est faible et ne satisfait point un homme d'esprit qui veut se faire entendre» (La B r u y è r e, Les Caractères, Chap. «Des ouvrages de l'Esprit»).

В эту эпоху особенно много внимания уделяется грамматике, оперирующей такими специфическими общими категориями, как, например, понятиями предметности и действия, отношения и качества. Поэтому Вожла и Академия в своих «замечаниях» по поводу отдельных грамматических правил французского языка стремились, как мы видели, опереться не только на «ощущение» говорящих, но и на грамматическую «аналогию», на грамматические связи между словами.

Хотя в XVII в. не могла быть создана научная грамматика, так как еще не существовало ни сравнительно-исторического метода, ни понимания исторической природы языка, однако опыты грамматического описания французского языка, предпринятые в эту эпоху, имели большое значение. Они впервые показывали, хотя и не всегда удачно, связи и отношения между, казалось бы, изолированными фактами и явлениями языка.

Понятие нормы литературного языка в XVII в. существенно изменилось по сравнению с аналогичным понятием в предшествующем столетии, в эпоху Возрождения. Это изменение не было случайным, оно определялось изменениями в общих взглядах на язык, на его природу и его назначение в обществе. Ограничение рамок литературного языка в XVII в. по сравнению с минувшей эпохой тоже имело важные последствия — углубляется работа над лексикой языка, над его грамматическими правилами. Поэтому, если для современных французов язык XVI в. является в известной своей части еще непонятным и требует для своей расшифровки специальных знаний, то в XVII в. устанавливается такой язык, который может уже считаться «современным». Недаром само понятие «современного языка» историки французского языка связывают именно с XVII в.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1956

В. М. СОЛНЦЕВ

ПРОБЛЕМА ЧАСТЕЙ РЕЧИ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Вопрос о наличии частей речи в китайском языке

Почти все советские синологи-лингвисты и подавляющее большинство китайских языковедов (как это показала происходившая недавно в Китае дискуссия о частях речи[1]) считают, что в китайском языке имеются части речи, т. е. что китайские слова распадаются на большие группы или классы, различающиеся по своим грамматическим свойствам и признакам [2]. Все исследователи при этом исходят прежде всего из самого факта существования различий между группами слов.

В самом деле, при ознакомлении с функционированием китайских слов в речи сразу же бросается в глаза, что, например, слова *цяньби* «карандаш», *чжоцзы* «стол», *даодэ* «мораль», *ицзянь* «мнение, замечание», *хэцзошэ* «кооператив», *фуцинь* «отец», *шитоу* «камень», *кэсюе* «наука», *цзоцзя* «писатель» и т. д. употребляются иначе, чем, например, слова *цзоу* «идти», *сяо* «смеяться», *каньцзянь* «увидеть», *похуай* «разрушать» и т. п.

Слова первой группы за немногими исключениями[3] в современном китайском языке не могут употребляться в роли сказуемого (без связки)[4]. Отрицание *бу* не ставится непосредственно перед словами этой группы (также за исключением немногих особых случаев): между отрицанием *бу* и словами данной группы обязательно должна стоять связка *ши*[5]. Далее, определения к словам первой группы, выраженные словами второй группы, а также словами и выражениями со значениями места, времени, образа действия, присоединяются, как правило, только при помощи морфемы *ды*. Слова разбираемой группы могут соединяться с послелогами (*чжоцзы-шан* «на столе»), иметь перед собой числительные-

---

[1] См. об этом В. М Солнцев, Проблема частей речи в китайском языке и работах лингвистов Китая, ВЯ, 1955, № 6.

[2] Этой же точки зрения придерживается известный польский лингвист Я. Хмелевский. См.: J Chmielowski, Zagadnienie tzw. części mowy w języku chińskim, «Rozprawy Komisji orientalistycznej [Towarzystwa naukowego warszawskiegou]», № 4, Warszawa, 1952; его же, Zagadnienie tzw. części mowy w języku chińskim (II), «Rozprawy Komisji językowej, [Łódzkiego towarzystwa naukowego]», t. I, Łódź, 1954 (последняя статья особенно интересна тем, что в ней прослеживается история классов слов в китайском языке).

[3] См. А. А. Драгунов, Исследования по грамматике современного китайского языка, I, М.—Л., 1952, стр. 71; см. также журн. «Чжунго юйвэнь» («Китайский язык»), 1952, октябрь (№ 4), стр. 42.

[4] См. А. А. Драгунов, указ. соч., стр. 8—9.

[5] От синтаксического употребления отрицания, о котором здесь идет речь, следует отличать употребление отрицания в роли своеобразного словообразовательного префикса: *кэсюе* «наука», *букэсюе* «ненаучный», *даодэ* «мораль», *будаодэ* «аморальный» и т. п.

определения с так называемыми счетно-указательными морфемами[1] (*саньчжан чжоцзы* «три стола»). Когда слова этой группы выполняют функцию подлежащего, сказуемое при них может быть выражено или при помощи слов второй группы, или посредством связки, или словами с качественным значением. К словам первой группы никогда не присоединяются морфемы *ла*, *чжо*, *го*, *цилай* и т. п. Лишь так называемое фразовое *ла*, употребляющееся в конце предложения (с любым сказуемым), может оказаться непосредственно после слова первой группы, если само такое слово стоит в конце предложения. Например: *гайюн фаншэсин гу ихоу, цзю кэи цзяньча саньбай гун ли хоу ды ганцай ла* «...после введения радиоактивного кобальта стало возможным исследовать сталь толщиной в 300 мм» (из журнала «Тэши шоуцэ», 1955 г., № 6). Перечень подобных отличительных особенностей слов первой группы можно было бы продолжать и дальше.

Слова второй группы по своим свойствам существенно отличаются от слов разобранной группы. Так, например, эти слова в функции сказуемого употребляются, как правило, без связки, а отрицание *бу* ставится непосредственно перед ними[2]. Определения, представляющие собой слова и выражения со значением места, времени, образа действия, при словах разбираемой группы не имеют в своем составе морфемы *ды* (*цунцянь каньцзянь* «прежде видел», *хужань шо* «внезапно сказал» и т. п.). Морфема *ды* не присоединяется и в тех случаях, когда слова второй группы выступают в качестве определений к словам этой же группы (например, *сяочжо шо* «смеясь, говорит»). Далее, слова второй группы не могут употребляться с послелогами, иметь перед собой числительные-определения и счетно-указательные морфемы. Когда слова второй группы выполняют функцию подлежащего, сказуемое может быть выражено или при помощи связки, или словами с качественным значением и не может выражаться при помощи слов этой же второй группы. Слова второй группы в отличие от слов первой свободно соединяются с морфемами *ла*, *чжо*, *го*, *цилай* и т. п. Наконец, при сопоставлении слов первой и второй групп бросается в глаза различие в их типовых значениях. Все слова первой группы, независимо от своего частного, конкретного значения, независимо от того, обозначают ли они конкретные предметы (*чжоцзы* «стол») или абстрактные понятия (*даодэ* «мораль»), имеют значение предметности. Наоборот, все слова второй группы, независимо от своего частного, конкретного значения, независимо от того, обозначают ли они конкретные физические действия (*цзоу* «идти») или же ощущения и переживания (*па* «бояться», *хайсю* «стыдиться»), имеют значение действия, процесса.

Можно выделить и еще одну группу слов: *хао* «хороший», *да* «большой», *гао* «высокий», *ганьцзин* «чистый» и т. п. Эти слова по ряду своих свойств сходны со словами второй группы. Как и слова второй группы, они могут без связки выражать сказуемое (*ишан ганьцзин* «белье чистое»), непосредственно соединяться с отрицанием *бу*[3] (*бу да* «не большой»), не могут сочетаться с послелогами, иметь перед собой в качестве определений числительные и счетно-указательные морфемы. Когда они употребляются в качестве подлежащего, сказуемое при них может быть выраже-

---

[1] Счетно-указательные морфемы иначе называют «единицами измерения», а также «суффиксами-классификаторами», «счетными словами» и иногда «аффиксами единичности».

[2] Если повторить слово второй группы, вставив между повторяющимися словами отрицание *бу*, то возникнет значение вопроса, что не случается со словами первой группы (ср. *юаньцзэ бу юаньцзэ* «принципы или не принципы» и *цзоу бу цзоу* «пойдешь или нет?»).

[3] При повторении слова этой группы со вставкой отрицания *бу* возникает значение вопросительности: *хао бу хао*? «хорош ли?».

но при помощи либо связки, либо слов с качественным значением (т. е. слов этой же третьей группы) и не может выражаться словами со значением действия (вторая группа). Слова третьей группы могут свободно соединяться с морфемами *цилай* и *ла*; но гораздо реже и далеко не все слова этой группы соединяются с морфемами *чжо*, *го*.

Однако, наряду с перечисленными свойствами, которые сходны со свойствами второй группы, слова третьей группы обладают рядом своих особенностей. Они не требуют, подобно словам второй группы, обязательного наличия после себя морфемы *ды*, когда употребляются в качестве определений к словам первой группы (*хао жэнь* «хороший человек»; ср. *похуай ды чжоцзы* «сломанный стол»), т. е. в этом отношении ведут себя аналогично словам первой группы (ср. *кэсюе юаньцзэ* «принципы науки», «научные принципы»). Морфемы *ла* и *цилай*, будучи присоединены к словам этой третьей группы, всегда дают только одно значение «стать таким-то». Например, *да* «большой» — *дала*, *дацилай* «стать большим», «увеличиться»; *ганьцзин* «сухой» — *ганьцзинцилай* «стать сухим», «просохнуть» и т. п. Иначе говоря, присоединение морфем *ла* и *цилай* к словам этой группы влечет за собой во всех случаях появление значения «становления качества». Присоединение же этих морфем к словам второй группы дает значение завершенности, а в случае с *цилай*, кроме того, — значение начала действия и некоторые другие оттенки. Далее, сказуемое, выраженное словами третьей группы, часто имеет значение сравнения или сопоставления, что не свойственно сказуемому, выраженному словами второй группы. Например, *цзю жэнь яоцзинь* «спасти человека важнее».

Многим словам третьей группы, как и ряду слов первой и второй групп, свойственно явление редупликации[1]. Например, *ганьгань—цзинцзин* «чистый-чистый», «весьма чистый», *жэнь-жэнь* «каждый человек» (дословно: «человек-человек»); *шанлян-шанлян* «посоветоваться». Из примеров видно, что редупликация служит для выражения различных значений в зависимости от того, к какой группе относится данное слово: повтор слов первой группы дает значение «каждый, все»; повтор слов второй группы дает значение однократности, единичного действия[2]; повтор же слов третьей группы дает значение интенсификации качества. Различия наблюдаются и в структуре редуплицированных слов: при удвоении двусложных слов второй группы слово удваивается целиком (*шанлян-шанлян*), а при удвоении двусложных слов третьей группы удваивается каждый компонент (*гань-гань—цзин-цзин*)[3]. Наконец, нужно отметить, что слова третьей группы обозначают не предметы и действия, а качественные признаки.

Если сопоставить перечисленные особенности слов трех указанных групп[4], нельзя не заметить, что каждая из групп обладает своей совокупностью особенностей. Даже когда налицо внешнее сходство некоторых из этих особенностей, они в словах каждой из трех групп имеют

---

[1] Мы не касаемся здесь ономатопоэтических слов, которые обычно бывают построены по принципу повтора.

[2] См.: Ван Ли, *Чжунго синдай юйфа* (Грамматика современного китайского языка), т. I, Шанхай, 1947, стр. 326; Юй Минь, Изменение формы слова и грамматическая среда, «Чжунго юйвэнь», 1954, октябрь (№ 28). См. также Б. Исаенко, Н. Короткова, И. Советов-Чэнь, Учебник китайского языка, под ред. Н. Н. Короткова, М., 1954.

[3] Юй Минь (в указ. статье) подчеркивает, что отдельные формы повтора, совпадая у разных частей речи, выражают разные значения.

[4] Здесь приведены лишь некоторые бросающиеся в глаза особенности, подмеченные и описанные в китайской лингвистической литературе и работах советских и зарубежных синологов-лингвистов.

различное содержание и служат для выражения различных значений. Так, например, когда при повторении слова первой группы между компонентами оказывается отрицание *бу*, значение вопроса не имеет места (*бу гуань шэммо — хэцзошэ бу хэцзошэ* «кооператив или не кооператив — не имеет значения»); если же во внешне аналогичной конструкции участвуют слова второй или третьей группы, это значение может возникнуть (*цзоу бу цзоу* «пойдешь ли?»; *хао бу хао* «хорош ли?»). К словам и второй, и третьей групп могут быть присоединены морфемы *ла* и *цилай*, но при этом лишь в пределах слов третьей группы возникает значение «стать таким-то»[1]. Слова как второй, так и третьей групп выражают сказуемое без помощи связки, но лишь сказуемое, выраженное словами третьей группы, может обладать значением сравнения или сопоставления. Наконец, прием редупликации, присущий (в разной мере и с разными конструктивными особенностями) словам всех трех групп, в пределах каждой группы служит для выражения совершенно различных значений.

Все указанные факты дают основания говорить о наличии в китайском языке трех больших групп слов, по ряду признаков отличных друг от друга. Перечисляя эти признаки, мы вслед за проф. Люй Шу-сяном[2] пока не уточняли, какова их природа: синтаксическая или морфологическая. Очевидно, многие из признаков являются безусловно синтаксическими (например, способность выступать в роли бессвязочного сказуемого, соединимость с отрицаниями), некоторые же, возможно, являются морфологическими. Сейчас для нас важно другое, а именно, что все они — грамматические признаки, поскольку характеризуют не отдельные слова, а большие группы слов, внутри которых имеются различные по своему конкретному значению слова.

Можем ли мы, на основании этих признаков, называть перечисленные группы слов частями речи и считать слова первой группы существительными, слова второй группы глаголами, слова третьей группы прилагательными?[3].

Если в качестве отправного пункта взять определение частей речи, изложенное в статье П. С. Кузнецова «Грамматика»[4], и считать это определение исчерпывающим, а главное — обязательным для языков разных систем, в том числе и для китайского языка, придется сделать заключение, что многие из перечисленных выше признаков не могут характеризовать указанные группы или классы слов как части речи, поскольку эти признаки в большинстве своем не относятся к области словоизменения. Между тем факт существования грамматических различий между указанными группами слов в китайском языке налицо. Остается поэтому либо придумать какое-то особое название для этих групп слов, либо

[1] Заметим еще, что перед словами второй и третьей групп могут стоять модальные глаголы (*нэн* «мочь», *хуэй* «мочь» и т. п.). При этом сочетание модального глагола со словами третьей группы всегда дает значение «мочь быть, стать таким-то». Например, *та хуэй чжэммо хуту ма*? дословно: «он может быть таким глупым?» (пример проф. Люй Шу-сяна; см. ниже сноску 2).

[2] См. Люй Шу-сян, Некоторые принципиальные проблемы частей речи в китайском языке, «Чжунго юйвэнь», 1954, сентябрь (№ 27).

[3] Мы пока не касаемся проблемы так называемого использования одного слова в функциях разных частей речи. Затрагивая известное количество слов (но далеко не большинство их), эта проблема осложняет классификацию слов по частям речи. Из этих соображений мы остановимся на ней ниже.

[4] См. БСЭ[2], т. 12, стр. 426: «Под частями речи понимаются классы слов, характеризующиеся определенными морфологическими признаками, т. е. определенными, свойственными каждому данному классу (части речи) и отличающими его от других классов (частей речи) грамматическими категориями, выраженными в изменении слова». Приводим определение П. С. Кузнецова потому, что именно на это определение опирается проф. Гао Мин-кай — один из немногих китайских лингвистов нашего времени, отрицающих наличие в китайском языке частей речи.

признать, что формулировки, подобные той, которую дал для частей речи П. С. Кузнецов, не являются исчерпывающими и обязательными для всех языков.

Как известно, в советском языкознании имеются и иные определения частей речи. Так, акад. Л. В. Щерба, характеризуя части речи, писал: «Внешние выразители категорий могут быть самые разнообразные: „изменяемость" слов разных типов, префиксы, суффиксы, окончания, фразовое ударение, интонация, порядок слов, особые вспомогательные слова и т. д. и т. д.»[1]. Такое определение исходит из учета не только изменяемости слов, но и других грамматических особенностей слов.

Точка зрения на части речи как на классы слов, которые отличаются друг от друга по своим самым различным грамматическим свойствам, в советском китаеведении последовательно проводилась в работах А. А. Драгунова[2]. Сейчас, как известно, те же воззрения развивают и отстаивают большинство китайских лингвистов. Одни из них, как, например, проф. Люй Шу-сян [3], исходят непосредственно из учета совокупности различий слов, не разграничивая их на синтаксические или морфологические; другие, как, например, Вэнь Лянь и Ху Фу, заявляя, что «при разграничении частей речи... надо исходить из морфологии», затем расширяют понятие морфологии и включают в нее такие синтаксические явления, как взаимосвязь слов, их сочетаемость, порядок слов и т. д., т. е. фактически принимают в расчет всякого рода грамматические признаки[4].

Синтаксические и морфологические признаки частей речи

Считая наличие словоизменения обязательным условием для существования в языке частей речи, проф. Гао Мин-кай исходит из того, что значение части речи есть обобщенное значение слова, имеющееся в нем наряду с конкретным. Для выражения значения части речи требуется особая часть звуковой оболочки слова, «специальная форма», указывающая на принадлежность слова к той или иной категории[5]. Поскольку же в китайском языке, по мнению Гао Мин-кая, такой «формы» нет, постольку нет и частей речи, хотя слова сами по себе обладают определенными значениями и выполняют различные функции в предложении.

Нельзя не согласиться с тем, что значение части речи (например, значение «существительного») есть обобщенное значение слова, присущее ему наряду с конкретным. Справедливо и то, что парадигма изменения слова (если она имеется) свидетельствует о наличии в данном слове з н а ч е н и я ч а с т и р е ч и. Однако утверждать, что для выражения обобщенного значения слова обязательно требуется какая-то часть его звуковой оболочки (иными словами — его формальная часть), на наш взгляд,— значит полагать, что лексическое значение обязательно выражается в одной части слова (скажем, в корне), а общее грамматическое значение части речи параллельно выражается в другой части слова (допустим, в аффиксе). В таком случае придется признать, что аффикс является носителем значения части речи. Однако общепризнано, что аффикс сам

[1] Л. В. Щ е р б а, О частях речи в русском языке, сб. «Русская речь», Новая серия, II, Л., 1928, стр. 6.

[2] См. А. А. Д р а г у н о в, указ. соч., а также Е. и А. Д р а г у н о в ы, Части речи в китайском языке, сб. «Советское языкознание», т. III, Л., 1937.

[3] См. Л ю й Ш у - с я н, указ. соч.

[4] См. В э н ь Л я н ь и Х у Ф у, Части речи в китайском языке [перевод с китайск.], ВЯ, 1955, № 3, стр. 62, 63—64, 70.

[5] См. Г а о М и н - к а й, Проблема частей речи в китайском языке [перевод с китайск.], ВЯ, 1955, № 3.

по себе ничего не выражает и имеет значение лишь как часть слова. С другой стороны, во многих языках имеются классы неизменяемых слов, вообще не обладающих какими-либо формантами, и тем не менее они все же являются частями речи, т. е. характеризуются общим грамматическим значением и определенными формальными (синтаксическими) признаками. Такой частью речи является, например, наречие в русском языке (ср. *наизусть, всмятку, пора, кругом, быстро*). Спрашивается, какая часть звуковой оболочки слова *наизусть* указывает на его значение как части речи? В действительности оказывается, что грамматическое и лексическое в слове как бы растворены одно в другом, слиты воедино.

Но если значение части речи органически слито с лексическим значением, то присутствие первого в слове вовсе не обязательно должно выявляться за счет какого-либо форманта слова. Наличие значения части речи в слове обнаруживается в его поведении в речи, и в том, что этому слову присущи свойства, аналогичные свойствам целого класса слов и отличные от свойств другого класса слов. Если бы слова какого-нибудь языка по характеру своих связей и сочетаемости с другими словами[1] и с формальными элементами ничем не отличались бы друг от друга, тогда, конечно, не было бы оснований говорить о частях речи. Но коль скоро у каждого класса слов имеется общность признаков, именно эта общность и свидетельствует о наличии общего в значении конкретных слов, входящих в тот или иной класс.

В этом смысле вопрос о частях речи, по нашему мнению, не есть обязательно вопрос морфологический, если понимать под морфологией учение о строении и изменении слова. В языке могут отсутствовать морфологические явления, и тем не менее существование частей речи возможно, т. е. слова могут иметь совершенно определенную грамматическую характеристику. При этом нет никакой необходимости обязательно как-то расширять объем морфологии (как это делают, например, китайские лингвисты Вэнь Лянь и Ху Фу) и включать в нее такие синтаксические явления, как сочетаемость, взаимосвязи, функции, порядок слов и т. п.

Если в китайском языке слова объективно, сами по себе обладают свойствами частей речи (хотя и лишены морфологических признаков), то для разграничения их по частям речи мы можем с успехом использовать синтаксические свойства слов, т. е. учитывать их сочетаемость, взаимосвязи и пр.[2]. Синтаксические свойства слов в своей совокупности могут служить, как говорил Л. В. Щерба, «формальными признаками» частей речи («общей грамматической категории»), но отождествлять их с формой не следует.

Возникает, однако, вопрос: обладают ли китайские слова формой в собственно морфологическом смысле слова? Фактически все современные синологи признают, что в китайском языке имеются морфологические явления (объем морфологии, как это отмечалось выше, некоторыми из них расширяется за счет включения синтаксических явлений). Но многие синологи полагают, что собственно морфологических признаков китайские слова имеют очень мало и основываться на них при классификации слов по частям речи невозможно. Мы позволим себе высказать наши соображения по этому вопросу.

---

[1] Речь идет, разумеется, не о смысловой совместимости или несовместимости.

[2] Как известно, эти свойства использовал А. А. Драгунов, а в настоящее время — многие китайские лингвисты.

Некоторые морфологические признаки частей речи в китайском языке

Результаты исследований ряда китайских и советских синологов позволяют рассматривать морфемы *ла*, *чжо* и *го*[1] как глагольные суффиксы, служащие для выражения значения вида[2]. Эти морфемы не имеют лексического значения, не способны к самостоятельному функционированию в предложении и фонетически сливаются с теми словами, к которым они относятся. В то же время, сливаясь со словом (глаголом), каждая из этих морфем вносит в него добавочное грамматическое значение того или иного вида: *кань* «смотреть», «читать»; ср. *каньла* «посмотрел», *каньчжо* «смотрит», *каньго* «смотрел», «приходилось смотреть». И у *кань*, и у *каньла*, и у *каньчжо*, и у *каньго* лексическое значение остается одним и тем же, модифицируется лишь грамматическое. Следовательно, есть основания полагать, что *кань*, *каньла*, *каньчжо*, *каньго* являются не разными словами, а разными формами одного и того же слова[3]. Исходя из того, что *кань*, не имеющее при себе какого-либо из указанных суффиксов, в предложении выражает видовое значение несовершенного вида (в трактовке одних грамматистов[4]), или «общего вида» (по терминологии других[5]) и это добавочное видовое значение выражается именно за счет отсутствия суффикса, можно предположить, что в ряду форм *кань*, *каньла*, *каньчжо*, *каньго* первая является нулевой формой[6]. Именно эта форма и есть словарная форма китайского глагола. Следовательно, имеются все основания считать, что китайский глагол обладает системой форм, образующих единство.

Форм у китайских глаголов имеется немного. Однако эти формы, или, по крайней мере формы, образованные посредством суффиксов *ла*, *го*, *чжо*, присущи подавляющему большинству глаголов (исключение состав-

[1] Следует различать знаменательный глагол *го* «проходить», с одной стороны, и морфему *го*, не имеющую лексического значения и, как правило, фонетически редуцированную, с другой. Этимологически морфема *го*, повидимому, восходит к глаголу *го* «проходить».

[2] В книге Ван Ли «Чжунго сяндай юйфа» *чжо* рассматривается как выразитель продолженного вида (т. I, стр. 313), а *ла* — как выразитель совершенного вида (т. I, стр. 316). В «Лекциях по грамматике и стилистике» Люй Шу-сяна и Чжу Дэ-си (Пекин, 1954) глагольные суффиксы *ла* и *чжо* трактуются соответственно как выразители завершенности и продолженности действия (стр. 109—111). В упоминавшемся выше «Учебнике китайского языка» под ред. Н. Н. Короткова суффиксы *ла*, *го*, *чжо* трактуются соответственно как выразители совершенного вида, неопределенно-многократного вида и продолженного вида (стр. 201, 213, 241). См. также Ю й М и н ь, Формы китайского глагола, «Юйвэнь сюэси» («Языковая учеба»), 1954, апрель и работы других авторов.

[3] Надо отметить, что в русском языке образование в и д о в ы х различий часто связано с изменением вещественного значения глагола и, следовательно, с образованием новых слов. Поэтому в русском языке, по мнению, например, акад. В. В. Виноградова, образование видов — явление, лежащее на границе словообразования и формообразования (словоизменения). В русском языке совершенный вид образуется при помощи ряда разных средств. При этом не все средства действительны для всех глаголов. В китайском же языке совершенный вид образуется одинаково почти для всех глаголов за счет суффикса *ла*. Точно так же почти все глаголы принимают суффиксы *чжо* и *го*. В этом отношении образование видов в китайском языке отлично от образования видов в русском. Помимо указанных суффиксов, в китайском языке имеются суффиксы типа *шан*, которые, видоизменяя видовое значение, в известной мере меняют также и вещественное значение слов (*ай* «любить», *айшан* «влюбиться»). Здесь, повидимому, начинается пограничная область формообразования и словообразования.

[4] В «Учебнике китайского языка» под ред. Н. Н. Короткова указывается, что «в утвердительном предложении несовершенный вид выражается отсутствием суффикса при глаголе» (стр. 200).

[5] Ван Ли считает, что глагол без суффикса выражает «общий вид» («путун мао»). См. его книгу «Чжунго сяндай юйфа», стр. 317.

[6] К китайскому языку понятие нулевой формы (или отрицательного оформления) было применено впервые в кандидатской диссертации Н. Н. Короткова «Стадиальность в развитии предложения и пути выделения глагола в китайском языке» (М., 1946, стр. 146).

ляют модальные глаголы, а также некоторые глаголы, не совместимые с тем или иным видовым значением и, следовательно, не способные принимать тот или иной суффикс). Если одно слово обладает хотя бы двумя разными формами, то это уже парадигма форм, на которую можно опираться при определении принадлежности данного слова к части речи.

Некоторых лингвистов, например, проф. Гао Мин-кая, смущает, что ни у глагола *цзоу* «идти» (или *кань* «смотреть», «читать»), ни у существительного *жэнь* «человек» и т. п. нельзя обнаружить никаких внешних морфологических признаков, которые показывали бы их принадлежность к разным частям речи. Но если действительно китайский глагол представляет систему и единство своих разных форм, то нас не должно смущать, что в «нулевой форме» он не имеет материально выраженного суффикса, отличающего его от существительного. Чтобы отличать глагол от существительного, следует сравнить с существительным не нулевую форму, выраженную за счет «нулевого» суффикса, а какую-либо другую. Например, можно сравнить слово *жэнь* не с нулевой формой *цзоу*, а с формой *цзоула* или с формой *цзоучжо* и т. п. Если при этом помнить, что, например, *цзоула* является всего лишь одной из форм глагола *цзоу*, которую мы берем в качестве представителя всей системы этого глагола, то можно констатировать, что данный глагол отличается от существительного как раз за счет «внешнего морфологического признака». На основании этого сопоставления можно утверждать, что соответствующие существительное и глагол не различаются за счет «внешнего морфологического признака», лишь когда они взяты в их нулевых, словарных формах.

Известно, что перечисленные глагольные суффиксы иногда встречаются и при прилагательных, например: *Та цунлай мэйю хунго лянь* «Он никогда не краснел»; *Ваньшан фын дала* «Вечером ветер усилился»; *чичжо шэньти* «будучи обнаженным» (дословно: «обнажив тело»). В связи с этим возникает вопрос: можно ли считать морфологическими признаками глагола такие суффиксы, которые употребляются не только при глаголах, но и при прилагательных? Употребление суффиксов *ла*, *чжо*, *го*, *цилай* с прилагательными, вообще говоря, требует специального рассмотрения. Однако уже сейчас можно констатировать следующее. Суффиксы *чжо* и *го* встречаются с прилагательными крайне редко и, кроме того,— с весьма ограниченным кругом прилагательных (в глаголах же употребление этих суффиксов обычно)[1]. Присоединяясь к прилагательному, оба эти суффикса как бы «оглаголивают» его: при помощи суффикса *чжо* качество представляется в виде длящегося состояния, посредством *го*— в виде действия, повторенного неопределенное количество раз в прошлом. Не исключено, что упомянутые суффиксы при прилагательных играют не формообразующую, а словообразовательную роль. Что касается суффиксов *ла* и *цилай*, которые довольно часто встречаются после прилагательных, то присоединение их, как отмечалось выше, создает значение «становления», «бытия», но не вида, что имеет место при употреблении этих суффиксов с глаголами.

Как видим, во-первых, употребление указанных суффиксов при прилагательных не составляет правильной парадигмы, и, во-вторых, значение образования прилагательное + суффикс *ла* или *цилай* отлично от значения образования глагол + соответствующий суффикс.

Исходя из сказанного, мы считаем, что суффиксы *ла*, *го*, *чжо* как выразители видовых значений могут и должны рассматриваться в качестве морфологических показателей глагола как особой части речи.

---

[1] Нам известно употребление суффикса *го* лишь с прилагательными *хун* «красный» и *лэн* «холодный».

Морфологические показатели глагола не исчерпываются этими суффиксами. В советской синологии была сделана попытка обосновать наличие у китайского глагола самостоятельной грамматической категории страдательного залога, выраженной аналитически посредством морфемы *бэй*[1]. Согласно этой точке зрения, морфема *бэй* характеризуется синтаксической отдельностью, неспособностью функционировать вне связи с соответствующим глаголом, отсутствием частного и конкретного (лексического) значения, наличием грамматического значения страдательного залога, которое она привносит в глагол, и, следовательно, способностью изменять направление действия глагола. Надо отметить, что не все синологи разделяют эту точку зрения: многие считают *бэй* вспомогательным глаголом.

Повтор глагольной морфемы ряд исследователей (Ван Ли, Юй Минь, Н. Н. Коротков и др.) рассматривают как выразитель значения вида. Основываясь на этом мнении, можно предполагать, что повторы являются морфологическими показателями глагола. Можно ли говорить о морфологических показателях других частей речи в китайском языке? Не ставя своей целью подробно осветить этот вопрос, мы хотели бы здесь остановиться на некоторых грамматических явлениях, которые, на наш взгляд, носят морфологический характер и представляют собой морфологические признаки частей речи.

Прилагательные, как известно, обладают формами повтора, служащими для выражения интенсификации качества. Формы повтора односложных и многосложных прилагательных, как известно, обладают совершенно определенной фонетической структурой: фиксированной позицией силового ударения и определенным распределением музыкальных ударений (тонов)[2]. Кроме того, некоторые советские исследователи рассматривают соединение прилагательного со служебным элементом *ды* (ср. *бай — байды* «белый», *хун — хунды* «красный», *да — дады* «большой», *ганьцзин ганьцзинды* «чистый» и т. п.) как полную форму прилагательных, соотносительную с их краткой формой[3]. Этого же мнения придерживаются многие китайские лингвисты, которые также считают прилагательное, снабженное *ды*, единым словом — прилагательным, а *ды* — суффиксом прилагательных[4].

Однако эту точку зрения разделяют не все лингвисты. Так, Ю. В. Рождественский считает *ды* при прилагательных тем же самым элементом, что и при любой другой знаменательной части речи. Согласно его мнению, прилагательное, снабженное *ды*, не есть единое слово; что же касается *ды*, то оно представляет собой всего лишь синтаксическое служебное слово и предназначается для выражения категории детерминирующих определений, в качестве которых могут выступать любые части речи[5].

---

[1] См. И. Солнцева, Категория страдательного залога в современном литературном китайском языке. Канд. дисс., М., 1953.

[2] См. А. А. Драгунов, указ. соч., стр. 169.

[3] См., например, И. Ошанин, Учебник китайского языка, М., 1946. В пользу суффиксального характера *ды* при прилагательном можно привести следующие соображения. Во-первых, *ды* при прилагательном фонетически сливается с ним в один звуковой комплекс. Во-вторых, употребление полной формы отличается от употребления краткой: краткая форма употребляется в качестве «нейтрального» определения и бессвязочного сказуемого, полная же форма — как подчеркнутое, детерминирующее определение, а также в роли именной части связочного сказуемого.

[4] Такую мысль, например, высказывает проф. Ли Цзинь-си в своей книге «Синьчжу гоюй вэньфа» («Грамматика современного литературного языка») (Шанхай, 1933, стр. 158). Проф. Люй Шу-сян в своей работе «Чжунго вэньфа яолюе» («Основы китайской грамматики») (Шанхай, 1953) также отмечает, что в современном китайском языке *ды* при прилагательных приобретает суффиксальный характер.

[5] См. Ю. В. Рождественский, Служебное слово *ды* в современном китайском языке. Канд. дисс., М., 1955.

Что касается существительных, то они (правда, далеко не все) характеризуются серией словообразовательных суффиксов (*цзы*, *эр*, *тоу*, *чжэ*, *цзя*), так называемых «полуаффиксов» (*юань*, *цзян*, *син* и т. п.), а также формообразующим аффиксом *мынь* → *мнь*, который служит для образования множественного числа существительных, обозначающих лица (например, *тунчжимынь* «товарищи», *хайцзымынь* «дети» и т. п.).

Аффиксы и «полуаффиксы» существительных имеют ряд особенностей. В частности, аффиксы *цзы*, *эр* и *тоу* в ряде случаев, по сути дела, служат не для образования лексически новых слов, а для изменения формы существования ранее имевшихся в языке бессуффиксальных существительных (*фан*→*фанцзы* «дом», *пу* → *пуцзы* «лавка», «магазин», *шулинь* → *шулиньцзы* «лес» и т. п.). В этой своей функции перечисленные аффиксы играют роль «чистых» показателей предметности и служат целям своеобразного диахронического формообразования. Так называемые «полуаффиксы» в современном китайском языке характеризуются прозрачностью своей этимологической связи с знаменательными морфемами, которые при образовании сложных слов используются в качестве компонентов. Их можно сравнить с немецким суффиксом *mann* в словах типа *Kaufmann*.

Собственно формообразующим аффиксом существительных является *мынь*, который служит для выражения множественного числа только имен существительных, обозначающих лицо. Это употребление *мынь* многими синологами считается факультативным на том основании, что идея множественности может быть выражена иными средствами, например, при помощи местоименного слова *ду* (ср. *сюешэнмынь лайла* «учащиеся пришли» и *сюешэн ду лайла* «учащиеся все пришли»). Надо отметить, что в синологии еще не проводилось специального исследования условий оформления существительных суффиксом *мынь*. Однако известно, что употребление или опущение *мынь* связано с отсутствием или наличием перед существительным определений-числительных, указывающих на конкретное число единиц. В случае наличия числового определения *мынь* не употребляется: *саньгэ сюешэн лайла* «три студента пришли»[1]. По нашим наблюдениям, в китайском языке имеется тенденция использовать *мынь* для выражения множественности в тех случаях, когда речь идет о совокупности конкретных лиц, а не о совокупности «лиц» вообще.

Имеются основания считать, что существительные обладают, кроме того, аналитической формой единичности, которая выражается при помощи счетно-указательной морфемы *гэ* (или любой из специализированных счетных морфем). Морфема *гэ* занимает место между числительным и существительным, причем *гэ* фонетически примыкает к числительному, хотя грамматически относится к существительному, выражая значение «единичности», «штучности». Характерно, что для выражения значения «каждый» в тех существительных, которые не способны иметь форму редупликации, может быть повторена соответствующая счетная морфема: *чжанчжан чжоцзы* «каждый стол».

Определенный интерес для морфологического исследования представляют китайские числительные. Известно, что при математическом счете числительные употребляются в том виде, в каком они помещаются в словаре: *и* «один», *эр* «два», *сань* «три» и т. п. При предметном же счете числительные всегда снабжаются морфемой *гэ* (этимологически «штука») или же одним из так называемых «счетных слов» (ср. *игэ* «один», *саньгэ* «три» и т. п.). Для обозначения числительных, употребляемых соответственно при математическом и предметном счете, А. А. Драгунов ввел тер-

[1] См. Люй Шу-сян, Ханьюй юйфа луньвэнь цзи (Сб. статей по грамматике китайского языка), Пекин, Кэсюэ чубаньшэ, 1955, стр. 145—168 («Относительно *мынь*»).

мины «краткая форма» и «полная форма»[1]. Под термином «форма» в данном случае А. А. Драгунов понимал облик слова, а не «грамматическую форму слова», входящую в состав парадигмы формообразования, и не ставил вопроса о возможности рассматривать китайское числительное как часть речи, характеризующуюся системой разных грамматических форм[2]. Морфологический анализ *гэ* при числительных тем более интересен, что *гэ* (и его заменители) в грамматическом отношении относятся также к последующему существительному.

До проведения соответствующих исследований, быть может, преждевременно утверждать, что в с е перечисленные выше грамматические явления суть явления морфологические, однако их вряд ли можно игнорировать при изучении морфологических признаков китайских частей речи.

Понятия слова, основы, корня в китайском языке и проблема конверсии частей речи

Понимание китайского слова как системы соотносительных и функционально объединенных форм позволяет сделать попытку провести разграничение в китайском языке таких понятий, как слово, основа и корень. Эти понятия применительно к китайскому языку как в традиционной синологии, так и в общем языкознании не разграничивались. Китайский язык относили обычно к корневым языкам, т. е. к таким, в которых слова, основы и корни суть понятия идентичные[3]. Разграничение этих понятий (если, конечно, они различаются в «материи и форме» самого китайского языка) должно иметь большое значение для понимания грамматической природы слова и тем самым для освещения еще одной из сторон проблемы частей речи. В настоящей статье проблема разграничения слова, основы и корня будет рассмотрена в самых общих чертах — в той мере, в какой это необходимо для освещения основной темы статьи.

Рассмотрим сначала вопрос о с л о в е и о с н о в е в китайском языке. Разграничить понятия слова и основы возможно в том случае, если слово способно изменять свою форму. Основа входит во все формы одного и того же слова как неизменяемая часть его. Если *кань*, *каньла*, *каньчжо*, *каньго* суть разные формы одного и того же слова, то, чтобы выделить основу, надо отбросить изменяющуюся часть. В этом случае выделится основа *кань-*, которая фонетически совпадает с «нулевой формой», отличаясь от нее отсутствием «нулевого показателя» и добавочного грамматического значения (несовершенного или так называемого общего вида). Тем самым создается возможность различать грамматически оформленное слово *кань* (нулевое оформление) и основу *кань-* как структурную часть слова в отвлечении от оформления (в данном случае от нулевого оформления). Поскольку основа является извлечением из ряда форм одного и того же слова как определенной части речи, постольку основа связана со значением определенной части речи. Это значит, что основы могут быть глагольными, именными, качественными и т. д.

В китайском языке основа может быть простой (неразложимой этимологически) и может быть сложной (разложимой этимологически). Простые основы китайского языка большей частью односложны. Сложные основы состоят обычно из ряда корней и выделяются на фоне ряда форм сложного слова. Например, на фоне двух форм *дайбяо* «делегат» («нулевая фор-

---

[1] См. А. А. Д р а г у н о в, указ. соч., стр. 192.

[2] В этом же плане представляет интерес порядковая форма числительных, образуемая путем присоединения к количественному числительному префикса *ди* (*диугэ* «пятый», *дилюгэ* «шестой»).

[3] См., например, А. С. Ч и к о б а в а, Введение в языкознание, ч. I, М., 1953, стр. 183.

ма») и *дайбяомынь* «делегаты» (аффиксальная форма) выделяется сложная основа *дайбяо-*.

Так в самых общих чертах обстоит дело с проблемой слова и основы в китайском языке. Основа выделяется на фоне формообразования, т. е. таких изменений слов, которые не ведут к образованию новых слов. Учет явлений словообразования, т. е. изменений слов, ведущих к образованию новых слов, дает возможность определить понятие корня применительно к китайскому языку и отграничить корень соответственно от слова и от основы.

Как известно, от ряда глагольных и качественных основ в китайском языке посредством *-цзы* и некоторых других суффиксов могут быть образованы существительные. Например, *пан* «толстый» + *цзы* → *панцзы* «толстяк», *тоу* «бросать» + *цзы* → *тоуцзы* «игральная кость» и т. д. Общим элементом прилагательного *пан* и существительного *панцзы* является *пан*. Этот общий элемент определяет лексическое значение каждого из взятых слов и обеспечивает их лексическое родство, являясь, таким образом, корнем обоих. В слове *пан* «толстый» корень фонетически совпадает и с основой слова, и с «нулевой формой». В слове *панцзы* «толстяк» корень не совпадает ни с основой, ни с «нулевой формой». Основа слова *панцзы* является производной, так как включает в себя словообразовательный аффикс *-цзы*, и выводится она из сравнения разных форм этого слова: *панцзы* «толстяк», *панцзымынь* «толстяки».

В отличие от основы, корень не связан непосредственно со значением определенной части речи, хотя один и тот же корень может входить в слова одного и того же разряда. Например, у существительных *дан* «партия» и *дансин* «партийность» имеется общий корень *дан-*.

Однако аффиксальное словообразование имеет в китайском языке сравнительно ограниченное распространение. Понятие корня, вообще говоря, выводится из анализа не только аффиксального словообразования, но и словообразования путем так называемой конверсии; об этом см. ниже. Пока же нам надо было ввести понятие корня и показать его отличие от основы.

Понимание китайского слова как системы форм, разграничение понятий слова, основы и корня позволяет, как нам кажется, предложить решение одного из спорных вопросов проблемы частей речи в китайском языке, а именно вопроса о так называемом употреблении одного слова в функции разных частей речи, т. е. вопроса о так называемой принадлежности одного слова одновременно к двум (а то и к трем) частям речи.

Во многих китаеведческих работах отмечается, что большое количество слов может употребляться в качестве как существительных, так и глаголов. Например, указывается, что слово *цзюй* может означать и «пила», и «пилить», слово *цзучжи* — и «организация», и «организовать», слово *дайбяо* — и «делегат», и «представлять кого-либо», *таолунь* — и «обсуждать», и «обсуждение» и т. п.

Рассмотрим соответствующие пары *цзюй* «пила» и *цзюй* «пилить», *дайбяо* «делегат» и *дайбяо* «представлять кого-либо». Каждое из двух слов пары обладает с в о е й системой форм и синтаксических признаков. Так, слово *цзюй* «пилить» наряду со своей нулевой формой (*цзюй*) обладает также и рядом других форм (*цзюйла, цзюйчжо*). Этих форм не имеет и не может иметь слово *цзюй* «пила». Но последнее обладает аналитической формой единичности — *и-ба цзюй* «одна пила»,— которую ни при каких условиях не может иметь глагол. Если вопрос об аналитической форме единичности является еще спорным, то всеми синологами признается возможность употребления т о л ь к о перед существительными так называемых счетных морфем (в приведенном примере *ба*). По внешнему

облику *цзюй* «пила» и *цзюй* «пилить» действительно не отличаются друг от друга. Но ведь *цзюй* является всего лишь одной из форм ряда *цзюйла*, *цзюйчжо*. Любая из форм слова *цзюй*, кроме словарной, вполне осязаемо, «внешне» отличается от слова *цзюй* «пила». Поскольку любая из форм есть представитель слова как системы форм, то сравнивать можно, например, *цзюйчжо* (одна из форм глагола) и *цзюй* «пила». Материальное различие налицо. Отсюда следует, что *цзюй* «пила» и *цзюй* «пилить» — это не одно слово, а разные слова с разным лексическим и грамматическим значением. Они совпадают в своих словарных («нулевых») формах, но различаются материально, когда берутся в разных формах или же когда сопоставляются системы форм.

Таким же образом обстоит дело с парой *дайбяо* «делегат» и *дайбяо* «представлять кого-либо». Эти слова соответственно имеют формы *дайбяо — дайбяомынь* («делегат» — «делегаты»); *дайбяо — дайбяочжо* (формы несовершенного и продолженного видов). Если сравнить формы *дайбяомынь* и *дайбяочжо*, их материальное различие будет совершенно очевидным.

Перечисленные пары являются разными словами, относящимися к разным частям речи, в данном случае к существительным и глаголам. Следует заметить, что каждое из слов такой пары ведет себя точно так же, как ведут себя существительные и глаголы, которые не имеют подобных пар или, пользуясь традиционной терминологией, могут быть «только существительными» либо «только глаголами». Такое явление некоторыми исследователями рассматривается как явление словообразования и называется конверсией[1]. Словообразовательным средством здесь является система форм.

Явление конверсии не исключает, конечно, возможности использовать часть речи А в каком-либо специальном контексте и при определенных условиях в функции части речи В, на что справедливо указывают китайские лингвисты и, в частности, проф. Люй Шу-сян[2]. Однако от этого часть речи А не становится частью речи В.

Что̀ объединяет такие пары грамматически различных слов? Их объединяет общий корень. Так, и у существительного *цзюй* «пила», и у глагола *цзюй* «пилить»— общий корень *цзюй*, но основы разные: у существительного — именная основа, у глагола — глагольная.

В сложных словах, например *дайбяо* «делегат» и *дайбяо* «представлять кого-либо», имеется общий двусложный элемент *дайбяо*, который выступает в роли своего рода «сложного корня»[3]. Вместе с тем эти слова, будучи разными словами, обладают и разными основами — глагольной и именной.

Мы разобрали выше проблему конверсии лишь применительно к существительным и глаголам. Надо сказать, что вопрос о конверсии других частей речи остается еще не изученным. Что же касается существительных и глаголов, то здесь о конверсии как словообразовательном приеме, видимо, можно говорить лишь тогда, когда подобные пары слов обладают ясно выраженными системами форм (характеризующих, по крайней мере, одно слово пары) и системой формальных синтаксических признаков.

---

[1] См., например, А. И. Смирницкий, Так называемая конверсия и чередование звуков в английском языке, «Ин. яз. в шк.», 1953, № 5.

[2] См. Люй Шу-сян, Некоторые принципиальные проблемы частей речи в китайском языке, «Чжунго юйвэнь», 1954, октябрь (№ 28).

[3] Употребление здесь термина «корень» расходится с пониманием этого термина, принятого в общем языкознании, где корень определяется как этимологически неразложимый элемент.

Структура сложного слова и принадлежность слова к части речи

На наш взгляд, область морфологии современного китайского языка далеко не ограничивается аффиксацией. Прямое отношение к морфологии имеет структура сложных слов, составляющих значительную часть всего словарного состава китайского языка[1].

В работах советских синологов Е. Д. Поливанова и И. М. Ошанина намечены основные типы сложных слов: А — слова со структурной атрибутивной связью между компонентами, В — слова со структурной копулятивной связью между компонентами, С — слова с глагольно-объектной связью между компонентами, Д — слова с результативной связью между компонентами[2].

Главный способ образования новых многосложных слов в китайском языке — это способ словосложения. Слова эти образуются по основным структурным типам (А, В, С, Д), которые являются словообразовательными моделями. В понятие структуры сложного слова включается не только соотношение компонентов, но и их характер, их грамматическая природа[3].

При образовании сложных слов складываются не те или иные функциональные формы слов, а основы (материально совпадающие с нулевой формой) этих слов; при этом особо подчеркнем, что складываются именно основы, а не корни. Как говорилось выше, основа слова связана со значением части речи, корень же не связан. В формировании структуры сложного слова решающую роль играет грамматическое значение компонента, его связь со значением той или иной части речи. Ниже мы попытаемся проиллюстрировать эти соображения на примерах.

Многосложные слова, составляющие большинство слов китайского языка, делятся на: 1) слова, состоящие из корня и аффикса (таких сравнительно немного), и 2) собственно сложные слова. Последние в свою очередь делятся на слова, этимологически разложимые (таковых большинство)[4] и этимологически неразложимые (типа *боли* «стекло», *лобо* «редька», *хэшан* «монах» и т. п.).

В словах этимологически разложимых можно достаточно определенно установить, что принадлежность многосложного слова к той или иной части речи зависит от его структуры, т. е. от характера входящих в его состав основ и соотношения его частей. Так, всегда являются существительными сложные слова, второй компонент которых — именная основа, а первый — именная, качественная или (редко) глагольная основа, уточняющая, конкретизирующая первую. Например, *гунчан* «завод» (этимолог. «работа» + «завод», «мастерская»), *хочэ* «поезд» (этимолог.

---

[1] Мысль о связи структуры многосложного слова с грамматическими свойствами слова в известной мере проводится в работах некоторых синологов. См., например, А. И. Иванов и Е. Д. Поливанов, Грамматика современного китайского языка, М., 1930, стр. 240—263, где говорится о «глагольных инкорпорациях» и «атрибутивно-именных инкорпорациях». Ср. также J. Chmielewski, Zagadnienie tzw. części mowy w języku chińskim (II), стр. 152, где отмечается, что в историческом плане принадлежность сложного слова (возникшего из словосочетания) к части речи определяется «грамматическим характером составных членов сочетания и, что особенно важно, характером синтаксической связи, соединяющей эти члены».

[2] См.: Е. Д. Поливанов, указ. соч., стр. 240—263; И. Ошанин, Слово и часть речи в китайском языке. Докт. дисс., М., 1946.

[3] Ср. «Грамматика русского языка», т. I, М., Изд-во АН СССР, 1952, стр. 273.

[4] Здесь и ниже речь идет об этимологическом анализе, а не о живом восприятии. Говорящий, конечно, ни в малейшей мере не задумывается над структурой того или иного слова.

«огонь» + «повозка»), *байцай* «капуста» (этимолог. «белый» + «овощи»), *гэнню* «вол», «буйвол» (этимолог. «пахать» + «корова»[1]). Слова этого типа по номенклатуре И. М. Ошанина относятся к типу A.

Сложные слова, состоящие из двух равноценных именных основ, обычно синонимичных или антонимичных, также всегда являются существительными. Например, *фуму* «родители» (этимолог. «отец» + «мать»), *пэнъю* «друг» (этимолог. «друг» + «приятель») и т. д. По номенклатуре И. М. Ошанина такие слова относятся к типу B.

Слова, первый компонент которых — глагольная основа, а второй — глагольная или качественная, обозначающая результат действия первой, всегда являются глаголами. У таких сложных глаголов уже в самой их структуре заключается значение результативности действия. Например, *похуай* «сломать» (этимолог. «порвать» + «плохой»), *дадао* «свергнуть» (этимолог. «бить» + «опрокидывать») и т. д. Подобные слова относятся к типу D.

Сравнительно мало продуктивной является модель C. Сюда относятся многосложные слова, первый компонент которых — глагольная основа, второй — именная. Из них первая основа обозначает действие, вторая — его объект. Сюда относятся слова типа *няньшу* «учиться» (этимолог. «читать книгу»), *чифань* «кушать» (этимолог. «есть вареный рис»). Единицы подобного типа, как правило, в силу своей структуры являются глагольными образованиями. В данный момент мы отвлекаемся от вопроса о том, являются ли они словами или словосочетаниями. Нам важно отметить, что в живой речи они ведут себя подобно глаголам. В любом случае такие образования являются единицами словаря— будь они словами или лексикализованными словосочетаниями[2].

Особый характер имеет структура, образованная равноценным (парным) соотношением двух глагольных основ. Это слова типа *шэнчань* «производить», «*таолунь*» «обсуждать», *дайбяо* «представлять кого-либо». Слова этого рода по характеру соотношения относятся к типу B. Их особенность заключается в том, что, возникая как глаголы, они способны к конверсии и служат базой для массового создания отглагольных существительных. Отличительный признак этих слов — наличие двух глагольных основ: *шэнчань* «производить» состоит из двух глагольных основ *шэн* «рождать» и *чань* «порождать». Корень же *чань* может иногда выступать и в роли именно основы, как, например, в слове *гунчаньдан* «компартия», где *чань* является одной из именных основ. Таким образом, корень, являющийся компонентом сложного слова, сам по себе может не быть глагольным: на его базе может существовать и глагольная, и имен-

[1] В последнем случае, т. е. когда первая основа является глагольной, особенно ясно видна разница между глаголом как определением к существительному и глагольной основой перед именной в составе сложного слова. По правилу китайского синтаксиса глагол в определении к существительному обязательно имеет после себя морфему *ды*. В противном случае глагол с последующим существительным вступает не в атрибутивные отношения, а либо в объектные (переходный глагол), либо субъектные (непереходный глагол).

[2] Надо отметить, что само признание подобных образований словами — дискуссионно. Образования этого типа свободно разлагаются в речи на свои составляющие части; компоненты при этом как бы восстанавливают качество слов: *няньла саньнянь-ды шу* «проучился три года» (буквально: «читал трехлетнюю книгу»). Эта особенность дает известные основания рассматривать образования типа *няньшу* как лексикализованные словосочетания [впрочем, некоторую аналогию можно провести здесь с английскими образованиями типа *myself* (но ср. *my own self*), которые относят к словам]. Лишь небольшая часть образований этого типа не допускает разрыва между компонентами и бесспорно представляет собой слова, как правило, глаголы (например, *чжидао* «знать»). В настоящей статье, однако, речь не идет о различии между словом и словосочетанием.

ная основа. Однако при образовании сложных слов указанного типа берутся именно глагольные основы.

Суммируя, можно отметить, что как сложные глаголы, так и сложные прилагательные характеризуются своими собственными структурными признаками. Именно поэтому структура сложных слов может рассматриваться как известный морфологический признак, указывающий на принадлежность слова к той или иной части речи даже в том случае, когда слово не имеет при себе аффиксов, т. е. берется в своей словарной форме. Исключение составляет структура типа B с двумя глагольными основами, поскольку практически все слова этого типа способны к конверсии.

Насколько нам удалось проследить, в китайском языке наблюдается следующая тенденция образования новых слов путем конверсии. От односложных глаголов почти не образуется односложных существительных. Наоборот, односложные существительные довольно часто порождают односложные глаголы. В сложных словах — картина обратная. От сложных глаголов в массовом количестве образуются сложные существительные (исключение составляют так называемые результативные глаголы типа D). От сложных существительных сложные глаголы не образуются почти совсем.

В настоящей статье мы не касались вопроса об общих критериях выделения частей речи, поскольку наша работа собственно посвящена уяснению тех оснований, на которые можно опираться, выделяя части речи в китайском языке. Видимо, имеется один критерий — совокупность грамматических (т. е. морфологических и синтаксических) свойств, отличающих большие группы слов друг от друга. Что же важнее — морфологические или синтаксические признаки, вопрос, как нам кажется, праздный. Необходим учет и того, и другого.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1956

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

С. К. ШАУМЯН

О СУЩНОСТИ СТРУКТУРНОЙ ЛИНГВИСТИКИ

1. Постановка вопроса

Структурная лингвистика — это теория языка, основные принципы которой сформулировал французский ученый Ф. де Соссюр (1857—1913) в своем «Курсе общей лингвистики», появившемся в 1916 г.[1]. Ф. де Соссюр показал, что специфику языка составляют не звуки и значения сами по себе, а отношения между звуками и значениями. Сеть отношений между звуками и значениями представляет собой систему, или, иначе, — структуру языка, и именно эта сеть отношений должна быть самостоятельным и притом главным предметом науки о языке.

Понятие отношения, производящее глубокий переворот в традиционных взглядах на природу языка, не сразу оказало влияние на языкознание. Понятие отношения получило ясность, отчетливость и силу после того, как Н. С. Трубецкой (1890—1938) применил его к изучению звуковой стороны языка и, в корне переработав учение о фонеме И. А. Бодуэна де Куртенэ (1845—1929), возникшее в конце XIX в., создал фонологию — теорию звуков языка как элементов соотношений (иначе — реляционных элементов). После Н. С. Трубецкого стало очевидным, что понятие отношения, введенное Ф. де Соссюром, составляет краеугольный камень совершенно новой лингвистической теории, представляющей собой громадный шаг вперед в науке о языке, и что поэтому опыт фонологии должен быть распространен на изучение остальных сторон языка. Эту теорию, имеющую своим предметом структуру языка, понимаемую как сеть отношений между звуками и значениями, стали называть структурной лингвистикой.

Бурное развитие структурной лингвистики началось с 1929 г., когда Пражский лингвистический кружок, возглавляемый Н. С. Трубецким, выпустил в свет первый том своих трудов. Благодаря деятельности Пражского лингвистического кружка структурная лингвистика получила мировое признание и стала разрабатываться повсеместно. Вторым главным центром разработки структурной лингвистики стал Копенгагенский лингвистический кружок, который начал издавать свой бюллетень в 1935 г. В 1939 г. по инициативе Пражского и Копенгагенского лингвистических кружков был основан журнал «Acta linguistica», ставший международным органом структурализма — научного направления в языкознании, занимающегося разработкой проблем структурной лингвистики. В США к структурализму примкнули представители так называемой

[1] F. de Saussure, Cours de linguistique générale, Lausanne — Paris, 1916 (русский перевод: Ф. де Соссюр, Курс общей лингвистики, М., 1933).

дескриптивной (описательной) лингвистики, основанной американским ученым Л. Блумфилдом (1887—1949).

В структурной лингвистике следует различать три школы: пражскую, копенгагенскую и американскую. Взгляды пражской школы изложены в систематическом виде только в области фонологии — в работе Н. С. Трубецкого «Основы фонологии»[1]. Систематическое изложение взглядов копенгагенской школы находим в работе главы этой школы Л. Ельмслева «Основы теории языка»[2]. Взгляды американской школы изложены в систематическом виде в работе З. Харриса «Методы структурной лингвистики»[3].

Только что названные школы структурной лингвистики вовсе не являются антагонистическими, как может показаться на первый взгляд. Они не только не исключают, а напротив, дополняют друг друга. Эти школы занимаются, в сущности, разными аспектами структурной лингвистики, которые, вместе взятые, составляют единое целое. Ввиду этого обстоятельства в настоящей статье будут рассмотрены фундаментальные черты структурной лингвистики именно как целостной и последовательной теории языка. Прежде всего будет рассмотрен предмет структурной лингвистики, затем ее метод и, наконец, будет выяснено взаимное отношение школ структурной лингвистики и показано, каким образом они дополняют друг друга и вносят каждая свой вклад в структурную лингвистику.

Структурная лингвистика рассматривается здесь только под чисто лингвистическим углом зрения, как специальная теория языка. Подобно другим научным теориям в разных областях человеческого знания, производящим революцию в нашем понимании определенных сторон действительности, структурная лингвистика имеет первостепенное философское значение. Философские вопросы структурной лингвистики мы предполагаем рассмотреть в отдельной статье.

2. Предмет структурной лингвистики

Все лингвистические единицы — будь то морфемы, слова или предложения — представляют собой знаки. По определению Ф. де Соссюра, всякий знак есть элемент, имеющий две стороны: означающее и означаемое. Например, в слове *стол* звуковая сторона [stol] есть означающее, а смысловая сторона — значение «стол»— есть означаемое.

Именно в анализе знаковой, или иначе — семиологической, природы лингвистических единиц Ф. де Соссюр увидел ключ к познанию специфики языка. Он писал: «...лингвистическая проблема есть прежде всего проблема семиологическая, и весь ход наших рассуждений получает свой смысл от этого основного положения»[4].

---

[1] N. S. Trubetzkoy, Grundzüge der Phonologie, «Travaux du Cercle linguistique de Prague», 7, 1939.

В работе Н. С. Трубецкого отсутствует раздел, посвященный исторической фонологии, принципы которой сформулировал впервые Р. Якобсон (см. R. Jakobson, Prinzipien der historischen Phonologie, «Travaux du Cercle linguistique de Prague», 4, 1931, стр. 247 и сл.). Для современного этапа в развитии фонологических идей пражской школы наиболее существенны следующие работы: R. Jakobson, C. G. M. Fant, M. Halle, Preliminaries to speech analysis, 3-d printing. Cambridge, Mass., 1955; R. Jakobson and M. Halle, Fundamentals of language, 's-Gravenhage, 1956; A. Martinet, Phonology as functional phonetics, London, 1950; его же, Economie des changements phonétiques. Traité de phonologie diachronique, Berne, 1955.

[2] L. Hjelmslev, Omkring sprogteoriens grundlæggelse, København, 1943. (Есть английский перевод: L. Hjelmslev, Prolegomena to a theory of language Memoir 7 of the International journal of American linguistics, suppl. to vol. 19, № 1), Baltimore, 1953.

[3] Z. S. Harris, Methods in structural linguistics, Chicago, 1951.

[4] Ф. де Соссюр, Курс общей лингвистики, стр. 41.

Основной принцип, характеризующий функционирование лингвистических единиц, можно сформулировать так: разным означаемым должны соответствовать разные означающие и — обратно — разным означающим должны соответствовать разные означаемые. «Языковая система,— писал Ф. де Соссюр,— есть ряд различий в звуках, комбинированный с рядом различий в идеях;... основным свойством языковой организации является именно сохранение параллелизма между этими двумя рядами различий»[1]. Ф. де Соссюр подчеркивал, что в этом отношении очень характерны диахронические факты. «Когда в результате фонетических изменений два термина смешиваются (например, *dĕcrépit=dēcrepitus* и *décrépi=crispus*), то и идеи обнаруживают тенденцию смешиваться, если только к этому есть благоприятствующие данные. А если термин дифференцируется (например, французское *chaise* „стул" и *chaire* „кафедра")? В таком случае возникшее различие неминуемо проявляет тенденцию стать значимым, что, впрочем, удается не всегда и не сразу. Обратно, всякое различие в идее, усмотренное мыслью, стремится выразиться различными означающими, а две идеи, мыслью более не различаемые, стремятся слиться в едином означающем»[2].

Указанный принцип Л. Ельмслев назвал принципом коммутации[3]. Этот принцип имеет прямое отношение к понятиям тождеств и различий в языкознании. О значении тождеств и различий для языка Ф. де Соссюр писал следующее: «Весь лингвистический механизм вращается исключительно вокруг тождеств и различий, причем эти последние только оборотная сторона первых. Поэтому проблема тождеств возникает повсюду»[4].

Рассмотрим связь принципа коммутации с проблемой тождеств.

Возьмем немецкое слово *blau*. В немецком языке оно может в одной ситуации соответствовать русскому слову *голубой*, а в другой — русскому слову *синий*. Но *blau* в смысле «голубой» и *blau* в смысле «синий»—это не разные слова, а варианты одного и того же слова. Почему? А потому, что в немецком языке смысловому различию между значениями «голубой» и «синий» не соответствует никаких звуковых различий: в обоих случаях употребляется одно и то же означающее [blau]. В русском же языке *голубой* и *синий*— разные слова, потому что здесь разным значениям «голубой» и «синий» соответствуют разные звуковые комплексы, служащие разными означающими. Все дело в принципе коммутации; именно с точки зрения этого принципа значения «голубой» и «синий» принадлежат разным лингвистическим единицам в русском языке и совпадают в одной и той же лингвистической единице в немецком языке.

Возьмем теперь пример из грамматики. Морфема *-а* в русском слове *жена* может в одной ситуации иметь значение именительного падежа, а в другой — значение звательного. Но морфема *-а* в смысле именительного падежа и морфема *-а* в смысле звательного падежа — это не разные морфемы, а варианты одной и той же морфемы, потому что различию между обоими грамматическими значениями не соответствуют звуковые различия: в том и другом случае употребляется одно и то же означающее [а]. Иначе обстоит дело в польском языке. Здесь русскому слову *жена* соответствует в именительном падеже *żona*, а в звательном — *żono*. Мы видим, что в нашем примере на основании принципа коммутации значения именительного и звательного падежа совпадают в одной и той же

[1] Ф. де Соссюр, указ. соч., стр. 119.
[2] Там же.
[3] См. L. Hjelmslev, указ. соч., стр. 66.
[4] Ф. де Соссюр, указ. соч., стр. 109.

морфеме *-а* в русском языке и принадлежат разным морфемам *-а* и *-о* — в польском.

Анализ проблемы тождества лингвистических единиц приводит нас к следующему выводу. Значения лингвистических единиц, взятые сами по себе, т. е. рассматриваемые с семантической точки зрения, представляют собой нечто внешнее по отношению к языку. Так, например, если взять значения «голубой» и «синий» сами по себе, то разница между ними должна считаться одинаково существенной для всех языков мира; поэтому эти значения сами по себе не могут рассматриваться как специфические элементы того или иного языка. Дело, однако, в корне меняется, если стать на семиологическую точку зрения, т. е. — на точку зрения принципа коммутации. С точки зрения принципа коммутации разница между значениями «голубой» и «синий» существенна, например, для русского языка и не существенна для немецкого; разница между значениями именительного и звательного падежа существенна для польского языка и не существенна для русского. Суть дела в том, что значения лингвистических единиц могут считаться специфическими элементами языка только как элементы соотношений. Для значений как специфических элементов языка характерно то, что они не предустановлены логически, а, говоря словами Ф. де Соссюра, «чисто дифференциальны, т. е. определены не положительно своим содержанием, но отрицательно своими отношениями с прочими элементами системы. Характеризуются они в основном именно тем, что они — не то, что другие» [1]. Таким образом, значения лингвистических единиц обладают двояким аспектом: семантическим и лингвистическим. Оба эти аспекта не сводимы друг к другу.

Рассмотрим теперь проблему тождеств применительно к звукам языка.

Звуки языка представляют собой кратчайшие элементы, на которые распадаются означающие в лингвистических единицах. Спрашивается: на каком основании данные звуки должны считаться тождественными или различными? Почему, например, начальные согласные в словах *карандаш* и *газета*, т. е. [k] и [g], есть разные звуки, а гласные в словах *цех* и *шесть*, т. е. [ɛ] и [e], представляют собой разновидности одного и того же звука?

Если рассматривать звуки языка просто как физическое явление, то ответ на поставленный вопрос должен заключаться в ссылке на физические критерии. С физической точки зрения [k] и [g] должны считаться разными звуками, потому что они резко отличаются друг от друга, а [ɛ] и [e] должны рассматриваться как разновидности одного и того же звука, потому что они сходны друг с другом. Однако ссылка на физические критерии приводит к противоречиям, которые доказывают ее несостоятельность. Допустим, что [k] и [g] в русском языке представляют собой разные звуки, потому что они резко отличаются друг от друга. Если этот ответ правилен, то [k] и [g] должны считаться разными звуками во всех языках мира. Но, как известно, в голландском языке [k] и [g] рассматриваются не как разные звуки, а как разновидности одного и того же звука [2]. Точно так же, если допустить, что гласные [ɛ] и [e] в русском языке представляют собой разновидности одного и того же звука на основании своего физического сходства, то окажется непонятным, почему такие же гласные [ɛ] и [e] считаются разными звуками во французском языке.

Для того чтобы устранить противоречия, к которым неизбежно приводит ссылка на физические критерии, необходимо отказаться от рассмотрения звуков языка как физического явления. Чтобы правильно решить

[1] Там же, стр. 116.

[2] См. D. Jones, The Phoneme: its nature and use, Cambridge, 1950, стр. 20.

проблему тождества звуков языка, следует подойти к ним как к семиологическому явлению. Ключ к решению проблемы заключается в принципе коммутации. Если, согласно принципу коммутации, разным означающим должны соответствовать разные означаемые, то ясно, что и разным звукам языка, как кратчайшим элементам означающих, должны соответствовать разные означаемые. С этой точки зрения становятся понятными приведенные выше факты. Так, в русском языке звуки [k] и [g] представляют собой разные звуки не в силу своих физических особенностей, а на том основании, что различия между этими звуками сопровождаются различиями между значениями лингвистических единиц (ср., например, противопоставление *колос — голос*). Что же касается голландского языка, то здесь звуки [k] и [g] не могут считаться разными, потому что различие между этими звуками не сопровождается различиями между значениями лингвистических единиц; в голландском языке различие между [k] и [g] целиком зависит от позиционных условий: [g] встречается только перед звонкими согласными, а [k] — в остальных позициях. Точно так же и гласные [ɛ] и [e] представляют собой разные звуки во французском языке, потому что в этом языке различие между данными звуками сопровождается различиями между значениями лингвистических единиц; в русском же языке гласные [ɛ] и [e] — одинаковые звуки, так как здесь разница между этими звуками целиком зависит от позиционных условий[1].

Анализ проблемы тождества звуков языка приводит нас к выводу, аналогичному с тем, к которому мы пришли в результате анализа проблемы тождества лингвистических единиц. Звуки языка, взятые сами по себе, т. е. рассматриваемые с физической точки зрения, представляют собой нечто внешнее по отношению к языку. Звуки могут считаться специфическими элементами языка только как элементы соотношений, подчиненных принципу коммутации. Каждый звук как специфический элемент языка «характеризуется не свойственным ему положительным качеством, как можно было бы предположить, но исключительно тем, что он не смешивается с другими»[2].

Таким образом, звуки языка обладают двояким аспектом: физическим и лингвистическим. Оба эти аспекта так же не сводимы друг к другу, как не сводимы друг к другу семантический и лингвистический аспект значений лингвистических единиц.

Подведем итог анализу проблемы тождеств. Мы видели, что эта проблема неизбежно приводит нас к различению двоякого аспекта у значений и звуков в языке: лингвистического и нелингвистического (семантического и физического). Значения и звуки, взятые сами по себе, представляют собой нечто внешнее по отношению к языку и принадлежат ему только в их лингвистическом аспекте, т. е. как элементы соотношений. Для того чтобы противопоставить значения и звуки языка как элементы соотношений значениям и звукам самим по себе, Ф. де Соссюр ввел в науку о языке термин «ценность» («valeur»). Он называл значения и звуки языка как элементы соотношений лингвистическими ценностями.

Имея в виду решающую роль отношений в языке, Ф. де Соссюр писал: «в каждом данном состоянии языка все покоится на отношениях»[3]. Считая спецификой языка сеть отношений между звуками и значениями,

---

[1] Различия между звуками языка, сопровождающиеся различиями между значениями лингвистических единиц, принято называть дифференциальными признаками звуков языка.

[2] Ф. де Соссюр, указ. соч., стр. 118.

[3] Там же, стр. 121. Наряду с термином «отношение» в качестве его синонима Ф. де Соссюр употреблял термин «противопоставление».

оформляющую звуковую и семантическую субстанцию, он выдвинул тезис: «язык есть форма, а не субстанция»[1].

Именно понятие отношения, введенное Ф. де Соссюром в науку о языке, произвело революцию в традиционном языкознании. Стало ясно, что истинным предметом языкознания должны быть не звуки и значения сами по себе, а сеть отношений между звуками и значениями.

Прежде всего переворот произошел в области изучения звуков языка. Так как традиционная фонетика сводилась к акустике и физиологии звуков языка, то в силу необходимости изучать звуки языка как элементы соотношений возникла новая дисциплина — фонология. Фонология стала рассматриваться как собственно лингвистическая дисциплина, занимающаяся изучением звуковой стороны языка; фонетика же заняла положение дисциплины вспомогательной по отношению к фонологии. В связи с возникновением фонологии за звуками языка, рассматриваемыми как элементы соотношений, закрепился термин «фонема».

Далее, коренному преобразованию подверглась традиционная грамматика. Существенный недостаток традиционной грамматики состоит в том, что она смешивает лингвистический и семантический аспект значений лингвистических единиц. Поэтому потребовалось преобразовать традиционную грамматику таким образом, чтобы она занималась своим истинным предметом — лингвистическим аспектом значений лингвистических единиц, т. е. значениями лингвистических единиц как элементами соотношений. Новую грамматику, имеющую своим предметом лингвистический аспект значений лингвистических единиц, стали противопоставлять с е м а н т и к е, задача которой состоит в исследовании семантического аспекта значений лингвистических единиц. Семантика так относится к грамматике, как фонетика — к фонологии[2].

Новая грамматика противопоставляется традиционной грамматике не только своей принципиальной установкой на изучение значений лингвистических единиц лишь как элементов соотношений, но и по своему объему. Последний соответствует объему традиционной грамматики и лексикологии, взятых вместе. Доказывая необходимость включения лексикологии в грамматику, Ф. де Соссюр писал: «...логично ли исключать лексикологию из грамматики? На первый взгляд может показаться, что слова, как они даны в словаре, как будто бы не поддаются грамматическому изучению, каковое обычно сосредоточивают на отношениях между отдельными единицами. Но сразу же мы замечаем, что множество этих отношений может быть выражено с таким же успехом словами, как и грамматическими средствами»[3].

Наконец, новая грамматика отвергает деление на морфологию и синтаксис, принятое в традиционной грамматике. Как показал Ф. де Соссюр, лингвистические единицы вступают друг с другом в двоякие отношения: синтагматические и парадигматические[4]. Поэтому, согласно Ф. де Соссюру, грамматика должна разделяться не на морфологию и синтаксис, а на теорию синтагм и теорию парадигм (теорию ассоциаций, по терминологии Ф. де Соссюра). «Все, в чем выражено данное состояние языка,—

---

[1] Там же, стр. 120.

[2] Ср. L. H j e l m s l e v, Über die Beziehungen der Phonetik zur Sprachwissenschaft (Teil 1), «Archiv für vergleichende Phonetik», Bd. II, Heft 3, Berlin, 1938, стр. 132 и сл.

[3] Ф. д е С о с с ю р, указ. соч., стр. 130.

[4] Термин «парадигматические отношения» ввел в науку о языке Л. Ельмслев (см. L. H j e l m s l e v, Essai d'une théorie des morphèmes, «Actes du Quatrième Congrès international de linguistes», Copenhague, 1938, стр. 140). Сам же Ф. де Соссюр пользовался термином «ассоциативные отношения».

писал Ф. де Соссюр, — надо уметь свести к теории синтагм и к теории ассоциаций»[1].

Фонология и новая грамматика являются отделами лингвистической теории, имеющей своим предметом сеть отношений между звуками и значениями языка. Эта теория называется структурной лингвистикой, так как за сетью отношений между звуками и значениями языка закрепился термин «структура языка». Для того чтобы отличить от традиционной грамматики новую грамматику как отдел структурной лингвистики, ее стали называть структурной грамматикой.

Структурная лингвистика составляет ядро науки о языке. Фонетика входит в науку о языке как дисциплина, вспомогательная для фонологии, а семантика — как дисциплина, вспомогательная для структурной грамматики.

3. Метод структурной лингвистики

Как известно, с точки зрения соотношения индукции и дедукции все естественные и общественные науки по своему методу разделяются на науки, в которых преобладает индуктивный анализ, и науки, в которых преобладает дедуктивный анализ. Например, в таких науках, как ботаника или зоология, преобладает первый, тогда как в физике господствует второй.

С точки зрения соотношения индукции и дедукции можно рассматривать не только науки в их современном состоянии, но и разные этапы развития одной и той же науки. Как показывает история наук, для низших этапов развития науки характерен индуктивизм, тогда как на более высоких этапах ее развития господствует дедуктивный анализ. Например, аристотелевская физика была чисто индуктивной. Революция, произведенная в физике Галилеем, труды которого открыли новую эру в истории этой науки, была связана с тем, что физика была превращена из науки чисто индуктивной в науку преимущественно дедуктивную[2].

Метод структурной лингвистики как нового этапа в истории науки о языке характеризуется господством дедуктивного анализа в противоположность индуктивизму традиционного языкознания.

Дедуктивный анализ представляет собой орудие объединения отдельных положений науки в логическую систему. Как известно, существуют определенные методологические принципы, которым должно подчиняться построение всякой научной теории как логической системы. На некоторых из этих принципов мы сейчас остановимся применительно к структурной лингвистике. Будут рассмотрены следующие принципы построения научной теории как логической системы: принцип гомогенности, принцип консеквентности и принцип унификации.

Принцип гомогенности можно формулировать так: всякая теория, объясняя одни факты другими, должна оперировать только такими фактами, которые носят гомогенный характер с точки зрения ее предмета; в рамках данной теории научное объяснение не может строиться на фактах, лежащих за пределами ее предмета.

Для того чтобы видеть, как применяется принцип гомогенности в структурной лингвистике, остановимся на статье Е. Куриловича «Сущность передвижения согласных»[3].

---

[1] Ф. де Соссюр, указ. соч., стр. 131.

[2] Ср. А. Эйнштейн и Л. Инфельд, Эволюция физики, перевод с англ., М.—Л., 1948, стр. 30—32.

[3] J. Kuryłowicz, Le sens des mutations consonantiques, «Lingua», vol. I, 1, Haarlem, 1948.

В своей работе Е. Курилович поставил перед собой задачу — выяснить причину передвижения согласных в армянском и германских языках. Определяя путь, по которому следует идти в поисках причины передвижения согласных, Е. Курилович пишет: «Некоторые лингвисты ищут эту причину в разнице, которая должна была иметь место между артикуляционной базой индоевропейцев и артикуляционной базой догерманского субстрата. Это объяснение не есть лингвистическое объяснение, и поэтому вопрос о его правильности или неправильности не интересует лингвиста. Подлинно лингвистическое объяснение передвижения согласных должно состоять в том, чтобы свести это явление к более простым явлениям первоначальной фонологической системы, например, к совпадению двух фонем в одной фонеме, к исчезновению фонем и т. п.»[1].

Тезис Е. Куриловича о том, что анализ разницы между артикуляционной базой индоевропейцев и артикуляционной базой догерманского субстрата не может рассматриваться как лингвистическое объяснение передвижения согласных, представляет собой необходимый дедуктивный вывод из определения предмета фонологии. Так как предметом фонологии служит изучение звуков языка как элементов соотношений, то отсюда неизбежно следует, что физиологические факты и связанные с ними факты теории субстрата являются гетерогенными по отношению к предмету фонологии и что поэтому лингвистическое объяснение передвижения согласных не может строиться на этих фактах.

Рассмотрим теперь результаты, к которым пришел Е. Курилович. Сущность передвижения согласных в армянском и германских языках сводилась к фонологическому изменению, которое заключалось в том,что в противопоставлениях глухих и звонких согласных [p]—[b], [t]—[d], [k]—[g] дифференциальными признаками стали служить напряженное и ненапряженное произношение вместо прежних глухости и звонкости. В этом фонологическом изменении поразительным является то, что само по себе оно не было связано с физическими изменениям противопоставляемых согласных: оглушение звонких смычных, превращение глухих смычных в щелевые и, частично, в аффрикаты — все эти факты представляли собой всего лишь манифестацию, т. е. внешние проявления передвижения согласных. Строго разграничив, таким образом, передвижение согласных и его манифестацию, Е. Курилович нашел, что лингвистическая причина передвижения согласных заключалась в расширении сферы употребления звонких смычных согласных за счет глухих смычных согласных в результате нейтрализации противопоставления глухих и звонких смычных в позиции после фонемы [s].

Спрашивается: почему расширение сферы употребления звонких смычных за счет глухих было причиной передвижения согласных? Суть дела в следующем. Противопоставление глухих и звонких смычных в армянском и германских языках принадлежало к так называемым привативным противопоставлениям. Привативным называется такое противопоставление, один член которого характеризуется положительным дифференциальным признаком, а другой — отрицательным. Как показал Е. Курилович, привативные противопоставления фонем подчиняются следующему закону: чем у́же сфера употребления фонемы, тем богаче ее содержание; чем шире сфера употребления фонемы, тем беднее ее содержание. Под содержанием фонемы имеется в виду совокупность ее дифференциальных признаков. Так как отрицательный дифференциальный признак есть не что иное как отсутствие положительного дифференци-

[1] Там же, стр. 80.

ального признака, то содержание фонемы, имеющей положительный дифференциальный признак, богаче содержания фонемы, обладающей отрицательным дифференциальным признаком.

Взглянем теперь на передвижение согласных с точки зрения только что приведенного закона. До передвижения согласных звонкие смычные имели менее широкую сферу употребления, чем глухие смычные, поэтому звонкость служила положительным дифференциальным признаком, а глухость — отрицательным. Однако в силу нейтрализации противопоставления глухих и звонких смычных в позиции после фонемы [s], сфера употребления звонких смычных расширилась, а сфера употребления глухих сузилась. Таким образом, возникло положение, при котором обладать положительным дифференциальным признаком должны были уже не звонкие, а глухие согласные. Но глухость в силу того, что она является просто отсутствием звонкости, не может быть положительным дифференциальным признаком. Поэтому роль положительного дифференциального признака перешла к напряженному произношению, а роль отрицательного — к ненапряженному. В результате глухость и звонкость потеряли фонологическое значение, т. е. вообще перестали служить дифференциальными признаками, тогда как напряженное и ненапряженное произношение, бывшие прежде несущественными элементами смычных фонем, перешли в ранг дифференциальных признаков. Передвижение согласных имело место три раза в германских языках (в доисторическую эпоху, в древневерхненемецком и в датском языке) и дважды в армянском языке, но во всех случаях оно происходило при аналогичных условиях.

Таковы в самом общем виде результаты исследования Е. Куриловича. Подводя итоги, он пишет: «Лингвистические факты надо объяснять не гетерогенными фактами, а только лингвистическими фактами. Лингвистические факты, подлежащие объяснению, надо сводить к простейшим или, по крайней мере, к более простым лингвистическим фактам»[1].

Исследование Е. Куриловича очень поучительно. Оно показывает, как строгое применение принципа гомогенности позволяет раскрыть подлинно лингвистические, внутренние причины изменений в языке[2].

Перейдем к принципу консеквентности. Этот принцип можно формулировать так: в рамках данной теории невозможно допускать логические противоречия, поэтому, приняв те или иные положения теории за истинные, мы обязаны считать истинными и все вытекающие из данных положений следствия независимо от того, подтверждаются ли эти следствия эмпирическими фактами или нет. С принципом консеквентности связано применение мысленных экспериментов. Мысленным экспериментом называется дедуктивный прием, состоящий в том, что из положений, признаваемых истинными, мы выводим следствия, которые, хотя и не подтверждаются эмпирическими фактами, являются принципиально возможными.

Мысленные эксперименты имеют важное значение. Они позволяют

---

[1] J. Kuryłowicz, указ. статья, стр. 84.

[2] Рассмотренную выше работу Е. Куриловича подверг подробному критическому разбору польский лингвист Л. Заброцкий (см. L. Zabrocki [Рец на статью:] J. Kuryłowicz, Le sens des mutations consonantiques.., — «Lingua posnaniensis», т. III, 1951), который резко отрицательно оценивает метод и результаты исследования Е. Куриловича. Это объясняется тем, что Л. Заброцкий игнорирует принцип гомогенности, представляющий собой один из краеугольных камней метода точных наук и, в частности, метода структурной лингвистики.

исследователю устранять путем абстракции внешнюю видимость явлений и проникать в их сущность.

Применение принципа консеквентности и связанных с ним мысленных экспериментов в структурной лингвистике можно иллюстрировать на примере анализа сущности просодем в работе А. Мартинэ «Фонология как функциональная фонетика»[1].

К просодемам относятся ударение и тон. А. Мартинэ рассматривает следующую проблему: можно ли считать физическую природу ударения и тона существенным свойством просодем? На этот вопрос он дает отрицательный ответ: нет, физическая природа ударения и тона не может считаться существенным свойством просодем; с физической точки зрения не может быть никакой принципиальной разницы между дифференциальными признаками фонем и просодемами.

Этот парадоксальный тезис А. Мартинэ доказывает при помощи следующего мысленного эксперимента. Представим себе язык, в котором возможны были бы только слоги типа [mã] или [bã], т. е. полностью носовые или полностью неносовые слоги. Если допустить при этом, что в данном языке каждое слово может иметь только один носовой слог, то окажется, что функция носового произношения будет принципиально тождественна функции ударения в таких языках, как, скажем, русский, английский или немецкий. Таким образом, в нашем гипотетическом языке носовое произношение слогов должно рассматриваться не как дифференциальный признак соответствующих согласных или гласных фонем, а как просодема. Выходит, что принципиальное различие между дифференциальными признаками фонем и просодемами нельзя искать в физических особенностях тех и других. Принципиально вполне допустимо, чтобы одно и то же акустическое свойство, скажем, носовое произношение, в одних языках играло роль дифференциального признака фонем, а в других — роль просодемы. Как указывает А. Мартинэ, единственная существенная разница между дифференциальным признаком фонемы и просодемой заключается в том, что первый служит для характеристики фонемы, а вторая надстраивается над словом для противопоставления одного слога данного слова другому.

Нетрудно видеть связь мысленного эксперимента А. Мартинэ с принципом консеквентности. Исходной базой для мысленного эксперимента послужил тезис о семиологической природе просодем. Если мы признаем этот тезис истинным, то, чтобы не допустить в фонологической теории логического противоречия, мы обязаны принять за истинные и все следствия, вытекающие из этого тезиса, независимо от того, подтверждаются ли они эмпирическими фактами или нет. Мысленный эксперимент позволил А. Мартинэ устранить путем абстракции внешнюю сторону просодем и раскрыть их подлинно лингвистическую природу.

Рассмотрим теперь принцип унификации. Его можно формулировать так: всякая теория должна стремиться к объединению отдельных областей своего предмета на основе единых принципов. В связи с принципом унификации находится понятие изоморфизма. Для того чтобы объединить отдельные области той или иной науки, необходимо установить, что этим областям присущ изоморфизм, т. е. наличие общих закономерностей.

Принцип унификации и связанное с ним понятие изоморфизма применимы не только в таких науках, как физика, но и в структурной лингвистике, потому что в основе функционирования единиц фонологической системы и единиц грамматической системы языка лежат однородные от-

[1] См. A. **Martinet**, Phonology as functional phonetics, London, 1950, стр. 11.

ношения как на синтагматической, так и на парадигматической оси. Анализ этих отношений позволяет раскрыть законы изоморфизма, связывающие фонологическую и грамматическую системы языка.

Рассмотрим один из законов изоморфизма, установленный Е. Куриловичем. Для этого вернемся к закону соотношения сферы употребления и содержания фонем, на котором мы останавливались в связи с работой Е. Куриловича, посвященной передвижению согласных. Этот закон относится к привативным противопоставлениям фонем. Спрашивается: в каком отношении друг к другу находятся члены привативных противопоставлений фонем? Возьмем, например, привативное противопоставление [p]—[b] в русском языке. Сфера употребления фонемы [p] шире сферы употребления фонемы [b], поэтому [b] обладает положительным дифференциальным признаком и ее содержание может быть выражено формулой: фонема [p] + звонкость. Отсюда ясно, что фонема [b] мотивирована фонемой [p]; иными словами, содержание фонемы [b] определяется на основе содержания фонемы [p], тогда как содержание фонемы [p] не зависит от содержания фонемы [b]. Но такого же рода привативные противопоставления представляет нам деривация в грамматической системе языка. Возьмем, например, слово *волк* и его производное *волчица*. Эти слова представляют собой члены грамматического привативного противопоставления. Сфера употребления слова *волк* шире сферы употребления слова *волчица*, потому что *волчица* обозначает всегда только женский род, тогда как *волк* может употребляться не только в смысле мужского рода, но и неопределенно, в смысле мужского или женского рода. Так как сфера употребления слова *волчица* у́же сферы употребления слова *волк*, то содержание первого слова богаче содержания второго: женский род слова *волчица* должен рассматриваться как его положительный дифференциальный признак. Таким образом, оба члена данного грамматического привативного противопоставления находятся в таком же отношении друг к другу, как и члены только что рассмотренного фонологического привативного противопоставления. Слово *волчица* мотивировано словом *волк*; это значит, что содержание слова *волчица* определяется на основе содержания слова *волк*, тогда как содержание слова *волк* не зависит от содержания слова *волчица*. Ясно, что в отношении единиц грамматической системы языка действует закон, аналогичный закону для единиц фонологической системы: чем у́же сфера употребления единицы грамматической системы, тем богаче ее содержание; чем шире сфера употребления единицы грамматической системы, тем беднее ее содержание.

На основании сравнения обоих законов Е. Курилович сформулировал один общий закон для фонологической и грамматической системы языка. Так как единицы фонологической системы и единицы грамматической системы представляют разновидности знаков в широком смысле слова, то, подведя оба рода единиц под понятие знака, Е. Курилович дал следующую формулировку этого закона: чем у́же сфера употребления знака, тем богаче его содержание; чем шире сфера употребления знака, тем беднее его содержание[1].

Только что указанный закон соотношения содержания и сферы употребления знаков имеет фундаментальное значение не только для синхронического изучения языка, но и для диахронического, так как диахрони-

[1] См. J. Kuryłowicz, Linguistique et théorie de signe, «Journal de psychologie», t. 41, № 2, Paris, 1949, стр. 172.

ческие процессы в значительной мере определяются действием этого закона, в чем мы уже убедились при анализе причины передвижения согласных.

Мы рассмотрели закон соотношения содержания и сферы употребления знаков в качестве конкретного примера применения понятия изоморфизма в структурной лингвистике[1]. До сих пор речь шла о проблеме изоморфизма только в плане сравнения фонологической и грамматической системы языка. Но проблему изоморфизма можно поставить и в более широком плане. Дело в том, что наряду с языком существуют и другие системы знаков, с которыми его можно сравнивать. По этому поводу Ф. де Соссюр писал: «Язык есть система знаков, выражающих идеи, а следовательно его можно сравнивать с письмом, с азбукой для глухонемых, с символическими обрядами, с формами учтивости, с военными сигналами и т. д., и т. п. Он только наиважнейшая из этих систем»[2]. Так как язык представляет собой только одну из многих систем знаков, то Ф. де Соссюр указал на необходимость создать общую науку о знаках — семиологию, в которую должна быть включена лингвистика как ее органическая составная часть. «Лингвистика,— писал Ф. де Соссюр, — только часть этой общей науки; законы, которые откроет семиология, будут применимы и к лингвистике, и эта последняя таким образом окажется отнесенной к вполне определенной области в совокупности явлений человеческой жизни». И далее: «Если нам впервые удается найти лингвистике место среди наук, это только потому, что мы связали ее с семиологией»[3]. Если рассматривать язык только как одну из семиологических систем, то проблема изоморфизма может быть поставлена уже в плане семиологии как общей теории семиологических систем: каковы общие закономерности у языка и остальных семиологических систем?

В плане семиологии язык можно сравнивать с такими простыми семиологическими системами, как, например, сигналы светофора на перекрестках улиц, телефонный диск, бой стенных и башенных часов, азбука Морзе[4]; далее язык можно сравнивать с семиологическими системами, которыми оперируют химия, математика и математическая логика. Сравнительное изучение языка и разных других семиологических систем позволит, с одной стороны, глубже проникнуть в сущность структуры языка, а с другой стороны, разработать в систематическом виде семиологию как общую науку о знаках.

В настоящее время намечаются следующие два основных направления изучения языка в плане семиологии.

Прежде всего следует сказать об изучении структуры языка в связи с так называемой теорией информации. Что представляет собой последняя? Ее предметом является изучение законов передачи сообщений; «теория информации, изучающая законы передачи и преобразования информации (сигналов), является основой кибернетики, изучающей общие принципы управления и связей в автоматических машинах и живых организмах»[5]. Занимаясь изучением передачи сообщений, теория информации

---

[1] Специально понятию изоморфизма посвящены две работы Е. Куриловича: J. Kuryłowicz, La notion de l'isomorphisme, «Travaux du Cercle linguistique de Copenhague, vol. V, 1949; его же, Linguistique et théorie de signe.

[2] Ф. де Соссюр, указ. соч., стр. 40.

[3] Там же.

[4] См. Л. Ельмслев, Метод структурного анализа в лингвистике, «Acta linguistica», vol. VI, fasc. 2—3, Copenhague, 1950—1951, стр. 66.

[5] С. Л. Соболев, А. И. Китов, А. А. Ляпунов, Основные черты кибернетики, ВФ, 1955, № 4, стр. 137. О теории информации и кибернетике см. также статью Э. Кольмана «Что такое кибернетика?», помещенную в том же номере указанного журнала.

имеет тем самым дело с семиологическими системами, и поэтому принципы этой теории могут быть применены к изучению структуры языка. Хотя в этом направлении сделаны только первые шаги, но уже получены интересные результаты. Среди работ, посвященных применению теории информации к изучению структуры языка, привлекает внимание, например, фонологическое исследование русского языка, выполненное Э. Черри, М. Галле и Р. Якобсоном[1].

В плане семиологии важен также контакт структурной лингвистики с новой дисциплиной — логистической грамматикой, разработанной представителями математической логики[2]. Предметом логистической грамматики является систематическое сравнение обычного языка с семиологическими системами, которыми оперирует математическая логика. Необходимость разработки логистической грамматики была вызвана тем, что представители математической логики, критикуя традиционную аристотелевскую логику, были вынуждены обратиться к углубленному анализу языка, так как недостатки аристотелевской логики были во многом обусловлены некритическим отношением Аристотеля и его последователей к грамматическим формам языка[3]. Логистическая грамматика возникла независимо от структурной лингвистики. Однако сравнение обычного языка с семиологическими системами, которыми оперирует математическая логика, не может в настоящее время вестись без учета достижений структурной лингвистики. С другой стороны, и сами структуралисты, если они хотят глубже познать структуру языка, должны воспользоваться достижениями логистической грамматики. Следует подчеркнуть, что контакт структурной лингвистики с логистической грамматикой имеет решающее значение для разработки проблемы соотношения языка и мышления, поскольку раскрыть законы этого соотношения возможно прежде всего на базе сравнения обычного языка с такими утонченными орудиями современного научного мышления, какими служат семиологические системы математической логики наших дней.

Логистическая грамматика — это та область, где встречаются структурная лингвистика и математическая логика. Однако их контакт этим не исчерпывается. Нужно указать еще, что поскольку предметом структурной лингвистики служит изучение звуков и значений языка как элементов соотношений, структурная лингвистика нуждается в услугах теории отношений, являющейся, как известно, одним из важнейших отделов современной математической логики. Таким образом, теория отношений математической логики является для структуралиста одним из важнейших орудий исследования структуры языка.

4. О школах в структурной лингвистике

Как было сказано, в структурной лингвистике следует различать три школы: пражскую, копенгагенскую и американскую. В рамках настоящей статьи, носящей общий характер, мы не будем излагать содержание учений этих школ. Речь будет идти только о том, чтобы определить принципиальную позицию каждой из них.

---

[1] E. C. Cherry, M. Halle, R. Jakobson, Toward the logical description of languages in their phonemic aspect, «Language», vol. 29, № 1, 1953.

[2] Математическую логику называют также символической логикой, а иногда — логистикой.

[3] Систематическое изложение результатов исследований в области логистической грамматики дал впервые видный представитель современной математической логики Г. Рейхенбах (см. H. Reichenbach, Elements of symbolic logic, New York, 1948, стр. 251—354).

Для определения принципиальной позиции каждой школы решающее значение имеет выяснение их отношения к проблеме лингвистических критериев.

Все школы сходятся на том, что предметом структурной лингвистики должно быть изучение звуков и значений языка как элементов соотношений и что в связи с этим следует строго разграничивать и не смешивать друг с другом лингвистический и нелингвистический аспекты звуков и значений языка. Однако появляются трудности, когда возникает вопрос: каковы должны быть конкретные критерии определения лингвистического аспекта звуков и значений языка? В решении этого вопроса существует принципиальное расхождение между копенгагенской и американской школами, с одной стороны, и пражской школой — с другой. Что касается различий между копенгагенской и американской школой, то они не имеют принципиального значения и сводятся, как мы увидим ниже, к моментам терминологического порядка.

Для того чтобы определить принципиальную позицию каждой школы, целесообразно начать с противопоставления копенгагенской и пражской школ.

Копенгагенская школа пользуется термином «форма» для обозначения лингвистического аспекта звуков и значений языка и термином «субстанция» для обозначения их нелингвистического аспекта. Изучение формы звуков и значений должно состоять в исчерпывающей регистрации дистрибутивных отношений единиц фонологической и грамматической системы. Все, что выходит за рамки дистрибутивных отношений, относится, согласно копенгагенской школе, к субстанции языка и, стало быть, лежит за пределами предмета структурной лингвистики.

В противоположность копенгагенской школе пражская считает, что дистрибутивные отношения не могут быть единственными критериями определения лингвистического аспекта звуков и значений языка. Представители этой школы настаивают на том, что, кроме дистрибутивных отношений, существуют и другие критерии определения лингвистического аспекта звуков и значений языка. Возьмем, например, фонему [k] в испанском языке. С точки зрения копенгагенской школы для определения этой фонемы достаточно выяснить, в какие отношения с другими фонемами она вступает на синтагматической оси. Пражская школа идет дальше. Для представителя этой школы важно также выяснить дифференциальные признаки данной фонемы путем анализа ее противопоставлений другим фонемам на парадигматической оси. Фонема [k] в испанском языке обладает следующими дифференциальными признаками: заднеязычностью (ср. противопоставление [k]—[t]); глухостью (ср. противопоставление [k]—[g]); смычностью (ср. противопоставление [k]—[x]). Сравнивая испанскую фонему [k] с французской фонемой [k], представитель пражской школы устанавливает, что эти фонемы, несмотря на свое физическое сходство, не тождественны и лингвистическом отношении, так как имеют неодинаковое количество дифференциальных признаков: у французской фонемы [k] смычность не есть дифференциальный признак, потому что противопоставление [k]—[x] отсутствует во французском языке.

Копенгагенская школа отвергает анализ дифференциальных признаков звуков языка, считая, что применять этот анализ — значит заниматься субстанцией фонем, т. е. их акустическими свойствами, которые не могут быть предметом структурной лингвистики.

Рассмотрим более подробно точку зрения копенгагенской школы.

Прежде всего остановимся на вопросе: можно ли отождествлять анализ дифференциальных признаков с анализом акустических свойств фонем? Вернемся к фонеме [k] в испанском языке и фонеме [k] во французском.

Анализируя дифференциальные признаки этих фонем, мы употребляли фонетические термины «заднеязычность», «глухость», «смычность». Но и эти термины мы вкладывали принципиально новое содержание. Возьмем, например, термин «заднеязычность». Фонологическая заднеязычность принципиально отличается от фонетической. Если бы в испанском и французском языках отсутствовали фонемы [t] и [p], то фонема [k] в испанском языке и фонема [k] во французском перестали бы рассматриваться как заднеязычные, потому что в этих языках не было бы противопоставлений [k]—[t] и [k]—[p]. Выше уже было показано, что фонема [k] является смычной в испанском языке, во французском же смычность не является дифференциальным признаком фонемы [k]. Ясно, что дифференциальные признаки — это вовсе не акустические свойства, а такие же семиологические элементы, как и сами фонемы. Для обозначения дифференциальных признаков фонология пользуется теми же самыми терминами, какими обозначаются акустические свойства звуков в фонетике. Но терминологическое тождество не должно вводить нас в заблуждение: дифференциальные признаки — это семиологические, а, стало быть, реляционные элементы фонем, тогда как акустические свойства есть физические элементы звуков.

Таким образом, тезис копенгагенской школы о том, что заниматься дифференциальными признаками фонем — это значит подменять лингвистические критерии определения фонем физическими, нельзя считать правильным. Дифференциальные признаки как семиологические элементы фонем принадлежат предмету структурной лингвистики.

Признавая дифференциальные признаки семиологическими элементами, можно, однако, поставить следующий вопрос: а нельзя ли при определении состава фонем того или иного конкретного языка обойтись без анализа дифференциальных признаков фонем и ограничиться одним только дистрибутивным анализом фонем? Ответ на этот вопрос может быть только отрицательным. Как показал американский лингвист В. Тводл в своей работе «Об определении фонемы»[1], невозможно решить проблему тождества фонем без анализа их дифференциальных признаков.

Необходимость анализа дифференциальных признаков ясно видна на следующем примере, приведенном Р. Якобсоном в работе, посвященной идентификации фонем[2]. Возьмем противопоставление [sláva]—[sláv'x] «слава»—«славя». Без анализа дифференциальных признаков согласных [v], [v'] и гласных [a], [x] невозможно решить, сколько здесь фонем: являются ли только что перечисленные единицы четырьмя самостоятельными фонемами; или [v] и [v'] служат комбинаторными вариантами одной и той же согласной фонемы, обусловленными задним и передним произношением соседних гласных фонем [a] и [x]; или же, наконец, [v] и [v'] должны считаться самостоятельными фонемами, а [a] и [x] — вариантами одной и той же гласной фонемы, зависящими от твердости и мягкости соседних согласных фонем? Копенгагенская школа отвергает анализ дифференциальных признаков во имя применения строго лингвистических критериев в структурной лингвистике. Но суть дела в том, что применение строго лингвистических критериев невозможно без анализа дифференциальных признаков. Как правильно указывает Р. Якобсон, если отвергнуть анализ дифференциальных признаков, то определение тождества фонем будет опираться «на ненадежный критерий внешнего

[1] W. F. Twaddell, On defining the phoneme, Baltimore, 1935.

[2] R. Jakobson, On the identification of phonemic entities, «Travaux du Cercle linguistique de Copenhague», vol. V, 1949, стр. 212.

(физического или физиологического) „сходства", или на еще более непадежный критерий субъективного чувства „одинаковости")»[1].

Итак, пражская школа настаивает на анализе дифференциальных признаков фонем. Это вовсе не значит, что дистрибутивный анализ фонем отвергается этой школой. Дистрибутивный анализ и анализ дифференциальных признаков фонем взаимно дополняют друг друга, так как первый относится к синтагматической оси функционирования фонем, а второй — к парадигматической оси. Парадигматическая ось опирается на синтагматическую ось, но в структурной лингвистике должны учитываться обе эти оси. Это относится не только к фонемам, но и к единицам грамматической системы. Как и в отношении фонем, лингвистические критерии определения грамматических единиц не могут быть сведены к дистрибутивному анализу: этот последний должен быть дополнен анализом на парадигматической оси.

Хотя пражская школа и признает необходимость дистрибутивного анализа, но до сих пор главное внимание она сосредоточивала на анализе соотношений единиц языка на парадигматической оси, тогда как копенгагенская школа, естественно, занималась только дистрибутивным анализом. Таким образом, результаты, полученные обеими школами, дополняют друг друга и должны рассматриваться в рамках единой целостной теории. В этом отношении характерно следующее высказывание Э. Фишер-Йоргенсен в работе, посвященной определению фонем: «Точка зрения, принятая в настоящей работе, а именно, что коммутация и идентификация должны быть связаны с субстанцией, если мы хотим, чтобы лингвистический анализ принес какую-нибудь пользу,—совместима с теорией Ельмслева в ее современной форме. Его „чисто формальный анализ" не предназначен служить предварительной лингвистической операцией, а представляет средство заключительной проверки результатов, полученных путем экспериментирования над субстанцией»[2].

Рассмотрим теперь позицию американской школы. Последователи Л. Блумфилда, как и представители копенгагенской школы, настаивают на том, что лингвистические критерии определения единиц фонологической и грамматической системы должны сводиться к дистрибутивному анализу. По своим принципиальным установкам американская школа вполне сходится с копенгагенской. Как указывает американский лингвист Э. Хауген, различия между обеими школами касаются не существа дела, а употребляемой терминологии. Сопоставляя американскую и копенгагенскую школу, Э. Хауген пишет: «Исключение фонетики как „долингвистики" Дж. Трейджером соответствует тому, что Ельмслев ставит субстанцию вне рамок лингвистики. Вынесение значения за пределы лингвистики Блумфилдом и многими его последователями соответствует тому месту, которое занимает у Ельмслева субстанция содержания»[3]. Сравнивая работу Л. Ельмслева «Основы теории языка» и работу З. Харриса «Методы структурной лингвистики», Э. Хауген отмечает принципиальное совпадение между взглядами обоих исследователей: «Оба отвергают деление грамматики на морфологию и синтаксис. Оба разрабатывают эксплицитные операции, позволяющие осуществлять сегментацию на непосредственно составляющие путем субституции. Оба стремятся

---

[1] R. Jakobson, указ. статья, стр. 212.

[2] E. Fischer-Förgensen, On the definition of phonemic categories on a distributional basis, «Acta linguistica», vol. VII, fasc. 1—2, Copenhague, 1952, стр. 12, прим. 3.

[3] E. Haugen, [Рец. на кн.:] L. Hjelmslev, Prolegomena to a theory of language...,— «International journal of American linguistics», vol. 20, № 3, Baltimore, 1954, стр. 250.

к описанию языка, которое бы удовлетворяло принципам максимальной простоты, полноты и консеквентности. Оба предлагают конструировать теоретически возможные тексты. Оба применяют чисто формальные критерии и интересуются не столько элементами, сколько отношениями между элементами. Оба располагают свои лингвистические описания в виде последовательных ступеней, образующих, по терминологии Ельмслева, иерархию. Главным препятствием к взаимопониманию служат терминологические различия (разрядка наша. — *С. Ш.*)»[1].

Итак, принципиальные позиции копенгагенской и американской школы совпадают между собой. Если, как мы видели выше, копенгагенская и пражская школа дополняют друг друга, то об отношении между американской и пражской школами надо сказать то же самое[2].

Подведем итог анализу взаимного отношения школ в структурной лингвистике. Копенгагенская и американская школа, с одной стороны, и пражская школа — с другой, занимаясь разными аспектами языка, не только не исключают друг друга, а, напротив, каждая вносит свой необходимый вклад в структурную лингвистику. Существующие школы не подрывают единства структурной лингвистики как целостной и последовательной теории языка. Дополняя друг друга, они обеспечивают успешное всестороннее развитие структурной лингвистики как нового этапа в истории науки о языке.

---

[1] E. Haugen, указ. соч., стр. 250–251.

[2] О взаимном отношении школ структурной лингвистики см. также: A. Martinet, Structural linguistics, сб. «Anthropology today», Chicago, 1953; E. Coseriu, Forma y sustancia en los sonidos del lenguaje, Montevideo, 1954.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1956

К. Г. КРУШЕЛЬНИЦКАЯ

К ВОПРОСУ О СМЫСЛОВОМ ЧЛЕНЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

При синтаксических исследованиях среди других проблем все большее внимание начинает привлекать одно явление. Оно наблюдается во многих языках, но тем не менее не получило еще общего признания как явление грамматического порядка и не имеет общепринятого названия. Давно замечено, что одни и те же члены предложения в зависимости от задания высказывания могут иметь различный смысловой вес. Они могут обозначать или исходный пункт сообщения, или то, что сообщается. Эти значения членов предложения выражаются прежде всего интонационными средствами. Они могут выражаться также при помощи порядка слов.

Обнаруживая возможность различного смыслового веса одних и тех же членов предложения, лингвисты в большинстве случаев ограничиваются более или менее последовательной констатацией фактов. Что же касается объяснения данного явления, то обычно исследователи прибегают к логико-психологической интерпретации его: член предложения, заключающий в себе то, о чем делается сообщение, называют логическим (или психологическим, или смысловым) субъектом, а член предложения, содержащий основное в сообщении,— логическим (или психологическим, или смысловым) предикатом.

Такая трактовка смыслового веса членов предложения представляется нам неприемлемой. Прежде всего самые понятия «субъект» и «предикат» и их соотношение с членами предложения получают различное толкование у разных авторов. Издавна и до сих пор по этому вопросу существуют два мнения. Одни, считая, что члены суждения совпадают с главными членами предложения, определяют субъект как выражение субстанции, предмета,—предикат как выражение признака, приписываемого предмету. Такого взгляда придерживаются Ф. И. Буслаев, А. А. Шахматов, А. Марти, Б. Эрдманн[1] и многие другие. Из советских логиков к этому взгляду склоняется П. В. Таванец[2]. Другие понимают субъект суждения как то, о чем говорится, предикат — как то, что говорится о субъекте. С этой точки зрения члены суждения и члены предложения независимы друг от друга, а субъектом и предикатом может быть любой член предложения.

---

[1] См.: Ф. Буслаев, Историческая грамматика русского языка, М., 1881; А. А. Шахматов, Синтаксис русского языка, Л., 1941; A. Marty, Über die Scheidung von grammatischem, logischem und psychologischem Subjekt resp. Prädicat, «Archiv für systematische Philosophie», Bd. III, Heft 2, Berlin, 1897 [А. Марти, помимо понимаемых таким образом логических S и P, выделяет еще и психологические S и P (то, о чем сообщается, и то, что сообщается)]; B. Erdmann, Logik, 2-e völl. umgearb. Aufl., Halle, 1907.

[2] См. П. В. Таванец, Суждение и его виды, М., 1953. (Несовпадение субъекта и предиката с подлежащим и сказуемым автор усматривает по существу только в возможности выражения первых целыми группами подлежащего и сказуемого.).

Такое толкование субъекта и предиката суждения и их соотношения с членами предложения находим — в разных вариантах — у Г. Габеленца, Г. Пауля, Ф. Ф. Фортунатова[1] и многих других. Представители этого взгляда обычно оперируют названием «психологический субъект и предикат», причем некоторые из них, наряду с психологическими S и P, различают и логические S и P, совпадающие с грамматическими (например, Г. Габеленц).

Сходного взгляда на субъект и предикат суждения придерживаются и многие советские логики. Сошлемся хотя бы на определение П. С. Попова: «Части суждения определяются логикой самым простым и неукоснительным образом. Логический субъект — это то, о чем идет речь. То же, что говорится о предмете речи, есть логическое сказуемое»[2]. Из такого понимания субъекта и предиката обычно и исходят лингвисты, обозначая этими терминами различный смысловой вес членов предложения.

При всем различии обе эти точки зрения приводят к одному результату в отношении интересующего нас здесь явления: оно так или иначе исключается из сферы грамматики. В лучшем случае представители первого взгляда относят изучение смыслового веса членов предложения к стилистике. Вторая точка зрения переносит рассмотрение данного явления в область логики. Логики же обычно интересуются только членами суждения; члены предложения существуют для них лишь как способы выражения субъекта и предиката.

Неудовлетворительность объяснения смыслового веса членов предложения как выражения субъекта и предиката суждения становится очевидной при первых же попытках систематического изучения всего круга явлений, связанных с данным вопросом. То, что рассматриваемое явление представляет собой языковую категорию, в той или иной степени уже начали признавать в лингвистике. Некоторые исследователи ставят вопрос о смысловом членении предложения и о необходимости его изучения в языкознании. Например, чешский лингвист В. Матезиус считает, что наряду с грамматическим членением предложения, т. е. выделением прежде всего подлежащего и сказуемого, необходимо учитывать его «актуальное членение». С этой точки зрения следует выделять «исходный пункт» (или «основу») высказывания (т. е. то, из чего говорящий исходит в сообщении) и «ядро» высказывания (т. е. то, что сообщается). В. Матезиус отказывается от логико-психологической трактовки данного явления, считая неудачными термины «психологический субъект» и «психологический предикат». Он придает большое значение изучению порядка слов и интонационных средств языка, в которых актуальное членение предложения находит свое выражение, и анализирует с этой точки зрения различные формы порядка слов в чешском языке[3].

---

[1] См.: G. v. Gabelentz, Die Sprachwissenschaft, ihre Aufgaben, Methoden und bisherigen Ergebnisse, Leipzig, 1891; H. Paul, Deutsche Grammatik, Bd. III, Halle, 1954; Ф. Ф. Фортунатов, О преподавании грамматики русского языка в средней школе, РФВ, т. XLIII, №№ 1 и 2, 1905; его же, Сравнительное языковедение. Лекции, читанные в 1899—1900 году [литограф. изд.].

[2] П. С. Попов, Суждение и предложение, сб. «Вопросы синтаксиса современного русского языка», М., 1950, стр. 26. Это мнение разделяют также М. Н. Алексеев (см. «Суждение и предложение». Канд. дисс., М., 1950), Г. В. Колшанский [см. «Суждение и предложение в свете сталинского учения о единстве языка и мышления (на материале немецкого языка)». Канд. дисс., М., 1951] и др.

[3] См.: V. Mathesius, O tak zvaném aktuálním členění větném, сб. «Čeština a obecný jazykozpyt», Praha, 1947; его же, Rozpor mezi aktuálním členěním s uvěti a jeho organickou stavbou (там же); его же, Základní funkce českého pořádku slov (там же). Актуальное членение освещается и в книге В. Шмилауера в главе о порядке слов (V. Šmilauer, Novočeská skladba, Praha, 1947, стр. 327—352). Ср. об этой теории: О. Лешка, К вопросу о структурализме, ВЯ. 1953, № 5, стр. 97—98.

Своеобразную концепцию предлагает немецкий лингвист К. Боост[1]. Исследуя процесс образования предложений и соотношения в нем представлений и понятий, К. Боост считает основой этого процесса «принцип напряжения» (das Prinzip der Spannung). Его проявление Боост видит в раздвоении предложения на «содержащую вопрос тему», иначе говоря, член предложения, которым начинается напряжение, и на «содержащую ответ рему», т. е. остальную часть предложения, содержащую собственно высказывание[2]. Это смысловое членение на «тему» и «рему» (die Thema-Rhema-Gliederung) противостоит, согласно его концепции, грамматическому членению предложения, вступая с ним в противоречие (ср. сходные мысли В. Матезиуса). «Темой» могут быть не только подлежащее, но и другие члены предложения, «рему» же образует сказуемое в сочетании с различными другими членами предложения, за исключением того, который выступает как «тема». С точки зрения смысловой структуры предложения грамматические категории, по мнению Боости, почти целиком теряют свое значение; для смысловой структуры важны другие категории, которые должно выявить дальнейшее исследование.

Концепции В. Матезиуса и К. Боости представляют большой интерес уже тем, что оба лингвиста рассматривают данную проблему в языковом аспекте, исходя непосредственно из коммуникативной функции предложения как единицы сообщения. При этом учитывается роль слушающего и подвергаются анализу языковые средства смыслового членения предложения, в отношении которых делается ряд интересных и верных наблюдений. Общим для них является подход к этому вопросу с точки зрения смыслового ч л е н е н и я предложения (хотя они и называют его по-разному).

Несколько иначе, но тоже в языковом плане трактует это явление В. Г. Адмони[3]. Различный смысловой вес членов предложения он объясняет как выражение «познавательной установки говорящего», которая и обусловливает различное построение предложения в отношении интонации и порядка слов. «Нормальное» строение предложения, по В. Г. Адмони, имеет место в том случае, когда подлежащее является исходным в предложении; такие предложения характеризуются прямым порядком слов. Случаи же, когда исходным выступает не подлежащее, а другой член предложения, рассматриваются как отклонения от «нормального» построения, что выражается особой интонацией и обратным порядком слов. При этом В. Г. Адмони пользуется терминами «логический субъект» и «логический предикат».

В исследовании автора настоящей статьи о порядке слов в немецком языке сделана попытка определить смысловую нагрузку членов предложения как языковое явление и выяснить место этого явления в системе языка[4]. Ряд соображений и наблюдений, высказанных в этой статье, имеет много общего с мыслями В. Матезиуса, К. Боости и В. Г. Адмони. Однако имеются и существенные расхождения, основное из которых заключается в следующем. И В. Матезиус и К. Боост противопоставляют смысловое членение («актуальное» — у первого, членение на «тему»-«рему» — у

[1] K a r l B o o s t, Neue Untersuchungen zum Wesen und zur Struktur des deutschen Satzes, Berlin, 1955.

[2] Ср. также разграничение «темы» и «повода» у Ш. Б а л л и («Общая лингвистика и вопросы французского языка», перевод с франц., М., 1955, стр. 62, 114—115 и др.).

[3] См. В. Г. А д м о н и, Введение в синтаксис современного немецкого языка, М., 1955, стр. 226—238.

[4] См. К. Г. К р у ш е л ь н и ц к а я, Смысловая функция порядка слов в немецком языке (сравнительно с русским), «Ученые записки Военного ин-та иностр. языков», [вып.] 5, 1948.

второго) грамматическому членению, усматривая противоречие между ними и относя их к различным областям (ср. у К. Бооста: «die grammatische Ebene» und «die Sinn-Ebene»), причем соотношение между этими областями не вскрывается указанными авторами[1]. Таким образом, смысловое членение оказывается все же за пределами грамматики, и неясным остается, к какой области языка оно относится. Что касается В. Г. Адмони, то у него противоречие между грамматическим и смысловым вырастает в «расхождение между реальной, логической последовательностью вещей и явлений в объективной действительности и познавательной установкой»[2].

Мы же придерживаемся взгляда, что рассматриваемое здесь явление и по своей сущности, и по языковому выражению органически входит в синтаксис языка. Основанием для такого понимания смыслового веса членов предложения служит ряд фактов, к изложению которых (на материале русского и немецкого языков) мы и переходим.

*

Смысловой вес членов предложения определяется в каждом конкретном предложении его коммуникативным заданием. Коммуникативное задание (т. е. различение того, о ч е м делается сообщение, и того, ч т о сообщается) обусловлено конкретной обстановкой данного акта общения, в первую очередь тем, насколько осведомлен слушающий о предметах и явлениях, о которых идет речь в предложении. Предметом сообщения, его исходным пунктом является обычно нечто известное для слушающего — «данное»; об этом известном сообщается нечто неизвестное — «новое». В сочетании известного и неизвестного и заключается самая основа коммуникации, которая наиболее отчетливо — в своем, так сказать, чистом виде — выступает в таких функционально-стилевых видах речи, как разговор, деловая проза[3]. Что касается художественного стиля, то здесь выражение коммуникативного задания может осложняться в той или иной степени различными моментами (специфическим характером общения, индивидуальным стилем автора и пр.).

Необходимо сделать оговорку, что известность понимается в данном случае как самое общее отношение. Ее источник, характер, степень не имеют принципиального значения для коммуникативного задания. Известность может быть не прямой, а косвенной, когда, например, известность частей предмета или явления обусловлена известностью целого («ситуативная» известность). С другой стороны, известность предмета не исключает того, что обозначающий его член предложения может выступать как «новое». Сообщаемым в таких случаях оказывается какая-то неизвестная слушающему связь с другими известными предметами (например, *Нужные вам сведения вы найдете в этой книге*).

Значения данного и нового, которые получают члены предложения в процессе речи в зависимости от коммуникативного задания, не снимают основных значений членов предложения, выражаемых соответствующими грамматическими формами. Значения данного и нового накладываются на грамматические значения членов предложения, являются обязательной

[1] В. Матезиус подчеркивает, что выяснение этого соотношения — задача дальнейшего исследования и что именно это соотношение важно для характеристики конкретных языков (см. В. Матезиус, указ. соч., стр. 242).

[2] См. В. Г. Адмони, указ. соч., стр. 230.

[3] Это относится в первую очередь к повествовательным предложениям, поскольку именно они «сообщают». Что же касается предложений вопросительных и побудительных, то в них эта основа соответственным образом преобразуется. Но это уже особая тема.

нагрузкой последних в каждом конкретном акте коммуникации. Каждый член предложения, как показывают наблюдения, может выступать и как данное, и как новое. При этом, однако, существует определенная взаимосвязь между грамматическим значением члена предложения и его коммуникативной нагрузкой. Так, например, подлежащее преимущественно является данным в предложении. Дополнение почти одинаково часто выступает и как данное, и как новое; то же можно сказать об обстоятельствах места, времени, причины, цели. Такие же члены предложения, как обстоятельство образа действия и сказуемое, несут преимущественно нагрузку нового. Нагрузка определения тесно связана с тем, какой смысловой вес имеет определяемое слово.

Вместе с тем надо подчеркнуть, что возможность другой нагрузки для каждого члена предложения не ограничивается редкими случаями особой экспрессивности, а представляет собой закономерное явление в определенных типах предложений, характерных для тех или иных стилей речи. Сказуемое, например, не так уж редко выступает как данное, а подлежащее еще чаще — как новое.

Итак, члены предложения в каждом конкретном высказывании представляют собой единство д в у х з н а ч е н и й: синтаксического значения и «коммуникативной нагрузки»— как «данного» или как «нового».

В зависимости от коммуникативной нагрузки своих членов предложение по-разному членится на части: в них попадают разные члены предложения. Но это все же члены предложения с их основными грамматическими значениями. И поэтому вряд ли есть основания противопоставлять грамматическое членение (по членам предложения) смысловому членению, как делают, например, В. Матезиус и К. Боост.

Кроме того, нужно отметить, что самое «членение» в работах названных авторов остается неуточненным. Если понимать его как членение предложения на определенные отрезки, то речь может идти только о синтагматическом членении, которое, конечно, потенциально присутствует в любом предложении. Однако предложение далеко не всегда делится только на две части, как считают В. Матезиус и К. Боост. Если же под термином «членение» подразумевается выделение «основы» и «ядра» (или «темы» и «ремы») при анализе предложения (теоретическом или учебном), то применение этого термина в его непосредственном значении должно ограничиться только случаями, в которых можно провести четкую границу между обеими частями высказывания. А это имеет место, как правило, в простых нераспространенных или «мало распространенных» предложениях. Действительно, и В. Матезиус, и К. Боост оперируют главным образом подобными предложениями, противопоставляя выделяемые ими смысловые части г л а в н ы м членам предложения[1]. В предложениях же с обилием второстепенных членов обе части высказывания часто переплетаются друг с другом и интонационно, и в отношении порядка слов, что затрудняет непосредственное «членение» таких предложений.

Анализ предложения с точки зрения коммуникативной нагрузки его членов способствует тому, что в плане смыслового членения могут изучаться предложения различных типов. Нужно при этом иметь в виду, что и распространенных предложениях, тем более в сложных, само коммуникативное задание может быть усложнено. И данным, и новым в них может быть не один член предложения, а два и больше. В таких случаях мож-

[1] См. также В. Т. К о л о м и е ц ь, Порядок слів у чеськ прозі першої половини XIX ст., сб. «Вопросы славянского языкознания», кн. 3, Львов—Харьков, 1953.

но выделить «состав данного» и «состав нового», в которые могут попадать различные комбинации членов предложения. В особо развернутых предложениях и тот и другой состав обычно имеет свой центр. В составе данного один из членов предложения является непосредственным исходным пунктом сообщения, он и выносится обычно на первое место. Остальные члены либо обозначают уже известные предметы, о которых речь идет на протяжении более или менее длительного повествования (часто это местоимения или имена собственные), либо указывают на предметы, тесно связанные с исходным пунктом сообщения. В составе нового один член предложения заключает в себе самое главное в сообщении (он и несет основное ударение). Другие члены могут либо непосредственно примыкать к нему, либо заключать в себе относительно самостоятельные, дополнительные элементы сообщения.

Оба центра, противостоящие друг другу, отчетливо выделяются средствами языка, в первую очередь средствами интонационного членения: они обязательно образуют самостоятельные синтагмы. Что же касается разграничения всего состава данного от всего состава нового, то его не всегда можно четко провести, особенно в стилистически осложненных предложениях с обилием второстепенных членов и обособленных оборотов. И хотя коммуникативное задание в таких предложениях, даже в письменной речи, в основном выражено достаточно ясно, их понимание, а следовательно, и членение на синтагмы, в деталях может варьироваться.

Примером может служить следующий отрывок (курсивом в нем отмечены центры состава данного и состава нового, вертикальной чертой — возможные границы между составами): «*За ночь*/ мы все хорошо *отдохнули* и *назавтра*/ продолжали наш путь *вниз по реке Иоли. От затяжных дождей*/вода стояла в ней/ *высокая*, и *это* принуждало нас/ все время *держаться левого края долины*. Опять пришлось карабкаться *через многочисленные непропуски*. Большими *препятствиями* для передвижений/ являлись *грузы*, которые мы несли на себе, и *заросли багульника*, вытеснившего другие кустарники» (Арсеньев, Сквозь тайгу). Причастный оборот в последнем предложении содержит дополнительное сообщение. В предпоследнем же предложении нет данного, оно опущено, так как понятно, кому именно (нам) пришлось карабкаться.

Предложения, содержащие только новое, встречаются довольно часто в повествовании. Данное в таких случаях обычно ясно из предыдущего. Но возможен и другой вид предложений, содержащих только новое. Это — предложения, начинающие повествование, вводящие то, о чем будет идти речь. Предложения без данного можно было бы назвать «односоставными», хотя они могут быть и очень развернутыми[1]. Ср. *Жил-был мальчик*; *Была суровая зима*; «*Служил на Кавказе офицером один барин*» (Л. Толстой, Кавказский пленник).

Коммуникативная нагрузка членов предложения обязательно и последовательно выражается особыми грамматическими — в широком смысле слова — средствами, весьма специфическими по своему характеру. Среди этих средств и в русском, и в немецком языке первое место занимает интонация. Как показывают наблюдения и экспериментальные исследования, вся сложная система интонационных средств (фразовое ударение, повышение и понижение тона, паузы) служит прежде всего и главным образом выражению коммуникативной нагрузки членов предложения. В основе синтагматического членения предложения лежат

[1] Ср. у Л. В. Щербы одночленные и двучленные фразы (Л. В. Щ е р б а, Фонетика французского языка, Л.– М., 1937, стр. 117—118).

различные смысловые комбинации его членов, обусловленные коммуникативным заданием высказывания[1]. Правда, изучение интонации, в том числе синтагматического членения, еще только начинает развертываться по-настоящему. Но уже то, что имеется в данной области, дает право сделать вывод об этой основной функции интонации.

Однако интонация проявляется непосредственно только в устной речи. В письменной речи она присутствует потенциально, обнаруживаясь при помощи других, собственно грамматических средств. Так, в русском языке, а также в других славянских языках[2] одним из таких важнейших средств является порядок слов. В русском предложении слова располагаются, как правило, именно в зависимости от их коммуникативной нагрузки. В обычной обиходной или деловой речи на первом месте стоят члены предложения, выступающие как данное; за ними следуют члены предложения, содержащие новое. Иногда говорят, что в контексте порядок слов служит прежде всего средством выражения связи с предыдущим. Но это неточно. Связь с предыдущим — не самоцель, а только следствие, внешнее проявление того, что каждое предложение имеет свое коммуникативное задание, которое, естественно, может быть обусловлено предыдущим контекстом.

Новое предшествующего предложения часто выступает как данное в последующем. Например, это наблюдается в следующем отрывке: «За садом находился у них большой лес, который был совершенно пощажен предприимчивым приказчиком, может быть оттого, что стук топора доходил бы до самых ушей Пульхерии Ивановны. Он был глух, запущен, старые древесные стволы были закрыты разросшимся орешником и походили на мохнатые лапы голубей. В этом лесу обитали дикие коты. Лесных диких котов не должно смешивать с теми удальцами, которые бегают по крышам домов» (Гоголь, Старосветские помещики).

Имеются и более специальные средства выражения коммуникативной нагрузки. Функцию выделения нового и тем самым противопоставления его данному в русском языке выполняют так называемые усилительные слова или частицы, как, например: *даже*, *и*, *именно*, *это* и др. Ср.: *Он даже об этом не знал* (если известно, что он не знал многого другого); *Даже он об этом не знал* (если об этом не знали другие, а о нем известно, что он должен был бы об этом знать); *Он об этом даже не знал* (если известно, что он должен был что-то сделать).

В употреблении усилительных слов наблюдается определенная закономерность. Они появляются главным образом при местоимениях (или существительных с местоимениями), т. е. при той категории слов, которые преимущественно, в силу своего значения, выступают как данное. На последнее же место в предложении местоимения, даже если они являются новым, выносятся чрезвычайно редко.

В немецком языке коммуникативная нагрузка также может выражаться при помощи порядка слов, путем вынесения нового на последнее место или по крайней мере ближе к концу предложения. Однако наличие некоторых твердо фиксированных норм словорасположения для сказуемого — в том числе так называемой «рамочной конструкции» — в значительной степени ограничивает эту функцию порядка слов. Так, например, в силу правил рамочной конструкции последнее место оказывается

[1] См. по этому вопросу: В. В. Виноградов, Понятие синтагмы в синтаксисе русского языка, сб. «Вопросы синтаксиса современного русского языка», М., 1950. См. также статьи в «Трудах Военного ин-та иностр. языков» (1953, №№ 3—4).

[2] См., например, указанные работы В. Матезиуса, а также указанную статью В. Т. Коломиец.

занятым вторым компонентом сказуемого, даже если не сказуемое, а другой член предложения содержит новое[1].

Ср. следующие примеры: «Ab ersten Oktober war das eiserne Öfchen geheizt» (Seghers, Das siebte Kreuz) «С первого октября железная печурка топилась»; «Sie hatte den Mann durch Zufall kennengelernt» (там же) «Она познакомилась с этим человеком случайно».

В немецком языке другим широко употребительным грамматическим средством, которое участвует в выражении коммуникативной нагрузки, является артикль. Определенный артикль, указывая на то, что существительное обозначает известный для слушающего предмет, тем самым часто характеризует его как данное (ср. указательные местоимения в русском языке). Неопределенный (или нулевой) артикль, указывая на неизвестность предмета, сигнализирует новое, сообщаемое, привлекает внимание именно к данному члену предложения, который и несет на себе, как правило, главное ударение, занимая нередко последнее место в предложении[2]. Ср., например: «Zur gleichen Zeit begann innerhalb der bürgerlichen Parteien eine reaktionäre Umkehr» (Mehring, Deutsche Geschichte) «В это же время в буржуазных партиях начался реакционный поворот».

Наряду с порядком слов и артиклем, в немецком языке для выражения коммуникативной нагрузки членов предложения используются и некоторые другие средства, имеющие более узкую сферу применения.

Говоря о средствах выражения коммуникативной нагрузки членов предложения, следует отметить, что эти же средства находят широкое стилистическое применение в связи с их непосредственно синтаксической функцией. Они могут служить способом эмфатического выделения, особого подчеркивания данного и нового. В этом отношении следует отметить роль эмфатического ударения, особенно характерного для эмоционально окрашенной речи[3].

Большие возможности эмфазы в выражении коммуникативного задания представляет порядок слов. И в русском, и в немецком языках (в той или иной степени, повидимому, и в других), наряду с обычным — или, как иногда говорят, «нормальным» — словорасположением по схеме: данное — новое, распространена и другая форма порядка слов, в которой новое предшествует данному. Такое словорасположение называют эмфатическим порядком слов, или инверсией[4]. Таким образом, предложение с одним и тем же коммуникативным заданием может быть оформлено в двух или даже нескольких вариантах, различающихся по силе выражения. Ср., например, такие предложения-синонимы: *Ночью будет дождь — Дождь будет ночью; Места там красивые — Красивые там места.*

В предложениях с эмфатическим порядком слов, поскольку в них местоположение перестает быть непосредственным показателем коммуника-

---

[1] Подробно особенности немецкого порядка слов в этом плане рассматриваются в указанной выше работе автора настоящей статьи. О возможности выражения при помощи порядка слов смыслового веса членов предложения см. также: Т. В. Строева, О прямом и обратном порядке слов в современном немецком языке, сб. статей «Памяти акад. Л. В. Щербы», Л., ЛГУ, 1951; В. Г. Адмони, указ. соч., стр. 365—372.

[2] Об этой функции артикля см. К. Г. Крушельницкая, Смысловая функция артикля в современном немецком языке, «Труды Военного ин-та иностр. языков», [вып.] 7, 1955.

[3] См.: Л. В. Щерба, указ. соч., стр. 127—128; O. Jespersen, Lehrbuch der Phonetik, Leipzig und Berlin, 1926, стр. 213—214; О. А. Норк, О фразовой интонации в немецком языке, «Труды Военного ин-та иностр. языков», 1953, №№ 3—4.

[4] Первое название представляется более точным, так как инверсией называют часто также любой обратный порядок слов в его традиционном понимании.

тивной нагрузки члена предложения, особое значение приобретает интонация. Если новое стоит перед данным, оно получает более сильное ударение, чем после данного. В отношении русского языка это можно установить пока только путем слуховых наблюдений, так как нет специальных исследований. Что касается немецкого языка, то это доказано экспериментальным путем[1]. Так происходит своеобразное взаимодействие интонации и порядка слов в их стилистическом применении.

Заслуживает внимания то, что в немецком языке эмфатический порядок слов распространен значительно больше, чем в русском, и, как следствие этого, менее «эмфатичен», имеет менее ярко выраженную стилистическую окраску. Это объясняется, на наш взгляд, особенностями грамматического строя немецкого языка, в первую очередь наличием артикля, который может характеризовать член предложения как новое и при постановке его перед данным.

Отметим, что в русском языке эмфатический порядок слов употребляется в более или менее определенных случаях и может иметь разную степень экспрессии. Так, новое чаще всего выносится на первое место, когда оно включает в себя согласуемые определения или количественные числительные (и те и другие часто указывают на неизвестность предмета). Ср. *Важное известие получили мы сегодня* (вряд ли возможна была бы такая инверсия, если бы не было определения); *Два открытия было сделано в течение этого периода.*

Значительно реже имеет место препозиция нового, выраженного существительными без определений; именно поэтому она создает бóльшую экспрессию. Примером может служить следующий отрывок, в котором ярко выраженная эмфатичность словорасположения (препозиция дополнения-нового) в последнем предложении служит единому экспрессивному заданию всего контекста: «Все дремало, все нежилось вокруг; все как будто глядело вверх, вытянувшись, не шевелясь и выжидая... Чего ждала эта теплая, эта не заснувшая ночь? *Звука* ждала она; *живого голоса* ждала эта чуткая тишина — но все молчало» (Тургенев, Три встречи).

С другой стороны, значительно менее экспрессивна, например, препозиция обстоятельств образа действия. Такой порядок слов распространен, думается, потому, что этот член предложения в силу своего значения («признак признака») весьма редко выступает как данное, что исключает возможность двусмысленности. Обычно он входит в состав нового вместе со сказуемым. Если же только обстоятельство образа действия содержит новое, то оно чаще всего занимает последнее место. Ср. *Медленно мы продвигались вперед* (но: *Мы продвигались вперед медленно*).

Таким образом, в основе стилистического употребления порядка слов лежит его конкретная синтаксическая функция выражения коммуникативной нагрузки членов предложения. Тесная связь и переплетение этих двух сторон отнюдь не означают, что их можно отождествлять. Каждая из них имеет свои закономерности, которые и подлежат изучению.

Члены предложения являются составными частями целого, и коммуникативная нагрузка каждого из них существует только по отношению к другим членам. Тем самым оформление каждого члена с точки зрения *коммуникативного задания определяет оформление всего предложения* в целом. Наглядной иллюстрацией изложенного могут служить некоторые наблюдения над тем, как оформляется предложение в зависимости от коммуникативной нагрузки подлежащего.

Как уже отмечалось, подлежащее и в русском, и в немецком языках

---

[1] См. К. Б. Карпов, Интонация простого повествовательного предложения в немецком языке. Канд. дисс., М., 1952.

в большинстве случаев является данным в предложении, что обусловлено его основным значением как предмета-носителя признака, выраженного в сказуемом. Но это большинство случаев — не абсолютно и составляет только 65—75%, в зависимости от речевого стиля. В остальных случаях подлежащее выступает как новое (или входит в состав нового). Таким образом, вполне обоснованы выражавшиеся многими лингвистами (А. Х. Востоковым, А. А. Потебней и др.) сомнения в правильности традиционного определения подлежащего как того, о чем говорится в предложении.

Коммуникативная нагрузка подлежащего выражается прежде всего интонацией и порядком слов. Если подлежащее — данное, то в большинстве случаев имеет место прямой порядок слов и подлежащее не несет основного ударения; если подлежащее — новое, то порядок слов обычно обратный и подлежащее получает основное ударение. На первом месте в этом случае стоит член предложения, выступающий как данное. Чаще всего это — обстоятельство времени или места, реже — дополнение или сказуемое. При этом предложение не содержит никакой экспрессивности, что опровергает мнение о наличии экспрессивных оттенков при всяком обратном порядке слов[1]. Ср.: *Эту историю рассказал мне Иванов*; *Вечером состоится концерт. Участвуют артисты оперных театров*; «По дороге расположены кордоны, в которых стоят казаки. Между кордонами на вышках находятся часовые» (Л. Толстой, Казаки); «Похоронами распоряжался Маякин» (Горький, Фома Гордеев).

Напротив, явно экспрессивный характер имеют предложения с подлежащим-новым на первом месте, т. е. с прямым порядком слов. Подлежащее при этом несет эмфатическое ударение. Ср.: *Ночью будет буран — Буран будет ночью*; *Нашим глазам представилось величественное зрелище — Величественное зрелище представилось нашим глазам*; «Чепуха совершенная делается на свете» (Гоголь, Нос).

В русском языке препозиция подлежащего-нового особенно характерна для эмоционально окрашенной разговорной речи. Ср.: *Самолет летит*; *Несчастье случилось*; *Артисты приехали*; *Замечательная мысль пришла мне в голову*. Если подлежащее-новое выражено именем собственным или местоимением, оно может особо выделяться при помощи усилительных слов в сочетании с эмфатическим порядком слов.

В немецком языке характеристика коммуникативной нагрузки подлежащего, если оно выражено существительным, наряду с порядком слов и интонацией, достигается при помощи артикля: подлежащее-данное употребляется в большинстве случаев с определенным артиклем, подлежащее-новое — с неопределенным (или нулевым). При этом довольно часто имеет место препозиция подлежащего нового, выраженного существительным, особенно в нераспространенных предложениях. В последнем случае наличие так называемой «инверсии» с *es* дает возможность образования синонимичных предложений типа: *Ein Sturm brach aus — Es brach ein Sturm aus* «Буря разразилась. - Разразилась буря».

[1] Термины «прямой» и «обратный» порядок слов мы применяем здесь в их традиционном значении, т. е. исходя из местоположения подлежащего по отношению к сказуемому. Иное понимание имеет место в академической «Грамматике русского языка». «Прямым» называется здесь такой порядок слов, когда каждый член предложения занимает обычное для него место, «обратный» является «отступлением от обычного порядка слов» («Грамматика русского языка», т. II, ч. I, М., Изд-во АН СССР, 1954, стр. 66). К сожалению, при этом не выясняется, что значит «обычное место» члена предложения, чем оно обусловлено. С другой стороны, на наш взгляд, вообще не оправдано исключение из рассмотрения формы порядка слов, отражающей соотношение главных членов предложения независимо от их смыслового веса, т. е. прямого и обратного порядка слов в традиционном смысле.

Выделение подлежащего-нового может быть достигнуто при помощи особой конструкции — придаточного предикативного предложения[1]. Ср.: *Peter war es, der mir alles erzählt hat* «Это Петр рассказал мне все».

*

Итак, коммуникативная нагрузка членов предложения является неотъемлемым элементом значения их и выражается при помощи особых средств языка. Поэтому представляется целесообразным рассматривать ее как особую синтаксическую категорию. Такой вывод дает основание поставить два вопроса: 1) какое место занимает эта категория среди других синтаксических категорий? 2) чем объясняется наличие двух сторон в значении членов предложения?

Ответ на эти вопросы (хотя бы в плане предварительной наметки) мы найдем, если обратимся к тому, что представляет собой предложение. Предложение выражает мысль как сообщение, оно является той языковой формой, в которой мысль одного человека делается достоянием других людей. Выражение мысли в предложении есть прежде всего отражение предметов и явлений объективной действительности, познанных человеком в их связях и отношениях. Это отражение действительности осуществляется через слова и словосочетания, которые выступают в предложении в определенных грамматических формах его членов. Но в предложении не только отражается действительность — в нем обязательно выражается отношение говорящего к этой отражаемой действительности. Познанные факты сообщаются не беспристрастно, не как абстрактные логические суждения; они всегда получают определенную оценку со стороны говорящего. Одним из важнейших моментов этой оценки и является определение и выражение коммуникативного задания сообщения. Об одном и том же реальном факте можно, исходя из разных его сторон, разных компонентов, сделать несколько сообщений, оформленных как разные предложения, которые группируются, однако, вокруг одного стержня — данного факта, чем и объясняется, что они имеют один и тот же лексико-грамматический состав. Поскольку же средства языка, служащие для выражения коммуникативной нагрузки членов предложения, имеют также стилистическое применение, сообщение об одном и том же факте в каждом аспекте может быть оформлено в нескольких вариантах, с разными эмфатическими и жанровыми оттенками.

В каждом конкретном случае, для каждого данного контекста или ситуации один из вариантов будет наилучшим, так как будет не только наиболее точно выражать цель сообщения, но и лучше всего соответствовать функционально-стилевому виду речи и экспрессивной направленности. Таким образом, наличие двух планов в значении членов предложения является непосредственным проявлением того, что в предложении обязательно находят свое выражение две стороны: отражение действительности и отношение говорящего к действительности. Как раз последнее имеет решающее значение для коммуникации и является наиболее характерным признаком предложения, отличающим его от слова и словосочетания.

[1] Эти конструкции, так же как и инверсия с *es*, повидимому, обязаны своим возникновением установлению нормы твердофиксированного местоположения сказуемого. В современном языке они компенсируют в известной степени связанные с этой нормой ограничения функции выражения коммуникативного задания порядком слов. В русском языке подобных конструкций нет, в английском же и французском, в связи с более строгими правилами порядка слов, такие конструкции особенно распространены.

Отношение к высказываемому составляет основное содержание общей категории предикативности, в которую входят такие более частные синтаксические категории, как лицо, время и модальность[1]. К категории предикативности должна быть отнесена и коммуникативная нагрузка членов предложения (или, говоря иначе, выражение коммуникативного задания).

Как известно, категории времени, модальности, а отчасти и лица, т. е. категории, непосредственно выражающие отношение говорящего к устанавливаемым связям, А. М. Пешковский называл субъективно-объективными категориями, противопоставляя их объективным категориям, выражающим отношения между словами и словосочетаниями (следовательно, предметами и явлениями)[2]. Как субъективно-объективную категорию можно характеризовать и коммуникативную нагрузку, внеся некоторые уточнения соответственно ее специфике. Она субъективна, ибо выражает оценку со стороны говорящего, обусловленную осведомленностью слушающего, т. е. отношение к высказываемому участников акта общения. Но самая осведомленность слушающего является объективным фактом, который каждый говорящий должен учитывать, обязательно выражая коммуникативное задание особыми языковыми средствами, иначе он не будет понят. Таким образом, «надиндивидуальный характер субъекта» и здесь остается в силе.

*

Признание коммуникативной нагрузки членов предложения синтаксической категорией приводит к выводу, что она должна занять соответствующее место в изучении синтаксиса конкретных языков. Самые предварительные попытки показывают, что включение этого аспекта в сферу синтаксического исследования оказывается весьма плодотворным, дает возможность более глубоко вникнуть в сущность связанных с ним явлений, увидеть те стороны их, которые оказываются обычно скрытыми, если рассматривать предложение только в плане его формально-грамматической структуры.

В первую очередь это касается порядка слов. Выясняется, что основным принципом словорасположения в языках со свободным порядком слов является расположение их в зависимости от коммуникативной нагрузки. Традиционное различение прямого и обратного порядка слов оказывается недостаточным, ибо оно не дает возможности учитывать именно эту сторону. Различение же таких вариантов порядка слов, как обычный и эмфатический, получает большое значение, в том числе в плане стилистической характеристики предложения. Все это создает основу для установления общих правил словорасположения в русском языке, а также и немецком, где принцип расположения слов в зависимости от их нагрузки применим к большинству членов предложения.

В другом свете выступает и такое характерное для западноевропейских языков явление, как категории артикля. Рассматриваемые в плане коммуникативного задания значения определенности-неопределенности оказываются обусловленными с точки зрения слушающего. При этом обнаруживается связь значений определенности-неопределенности с интонацией и порядком слов.

---

[1] О категории предикативности и отличии предложения от слова и словосочетания см. статью В. В. Виноградова «Некоторые задачи изучения синтаксиса простого предложения» (ВЯ, 1954, № 1, стр. 12—18).

[2] См. А. М. Пешковский, **Русский синтаксис в научном освещении**, 6-е изд., М., 1938, стр. 106—110.

Учет аспекта коммуникативного задания может способствовать также правильному решению многих проблем общей теории предложения, в том числе вопроса о членах предложения, в трактовке которых до сих пор так много противоречий и путаницы.

Особое, сугубо практическое значение этот аспект приобретает при изучении неродного языка (русского языка в нерусских школах, иностранных языков). Здесь целеустремленное и правильное выявление и объяснение способов выражения коммуникативной нагрузки в соответствующих языках может дать значительно бóльший эффект, чем если они познаются, так сказáть, интуитивно. Дело в том, что в родном языке все средства, связанные со смысловым членением предложения, усваиваются тем же естественным путем, каким усваивается родной язык вообще. Сама природа этого явления, проявляющегося с естественной необходимостью в непосредственном общении, повидимому, и является причиной того, что оно мало привлекает внимание именно при исследованиях родного языка. Не случайно, например, в русских школьных грамматиках порядок слов не находит достаточно конкретного и полного освещения. Изучение же неродного языка, с неизбежным при этом сравнением его с родным, делает необходимым особое внимание к данному вопросу. В связи с этим следует также подчеркнуть, что учет коммуникативного задания и знание способов его выражения в языках перевода и подлинника имеют большое значение в переводческой практике.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1956

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

ДИАЛЕКТОЛОГИЯ И СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МЕТОД В ЯЗЫКОЗНАНИИ

1

Диалектология — та отрасль языкознания, которая часто находится как бы в стороне от теоретических вопросов. Задачей ее является, по мнению многих, сохранение для истории языка форм и слов, подлежащих исчезновению по мере унификации национальных языков. Диалектологию обычно считают своего рода прикладной дисциплиной, сущность которой состоит в применении выработанных в традиционном языкознании научных понятий и методов к исследованию языковых фактов в их территориальном размещении. Однако прогресс каждой научной дисциплины выражается не только в вовлечении в сферу исследования новых фактов, но и, прежде всего, в теоретическом освещении фактического материала, т. е. в выяснении соответствующих закономерностей.

В этой связи необходимо уделить внимание тем основным понятиям, на которых зиждется здание традиционного компаративизма, и задаться вопросом, должна ли диалектология давать только научно-практическое применение этих понятий или она может дать отправные точки для пересмотра традиционных основных положений лингвистической методологии?

Теоретические понятия, установленные в языкознании в конце XIX в. и составляющие основу сравнительно-исторического метода, нашли выражение в сформулированных младограмматиками принципах, которые сейчас, казалось бы, стали уже достоянием истории, но без которых, как думают и откровенно признают некоторые диалектологи, диалектологическая работа была бы практически невозможна.

Характерной чертой учения младограмматиков был особый подход к фонетическому материалу языка, как образованному из отдельных кирпичиков-звуков, которые, с одной стороны, как будто подчиняются закономерностям физиологического типа, с другой же, отождествляются с осознаваемыми элементами структуры слов. Это было связано со статическим пониманием «звуковых представлений» («Lautvorstellungen») и явилось причиной многочисленных недоразумений.

Традиционная компаративистика выдвигала в интересующем нас плане следующие внутренне связанные между собою методологические положения, характерные в целом не только для определенного этапа в развитии языкознания, но и для целой эпохи в истории европейской научной мысли:

1. Статическая оценка исследуемых фактов в пределах понятия качества.

2. Подход в связи с этим к фонетическим элементам языка (звукам) как к элементам, подвергающимся качественным «подстановкам» (субституциям), которые вызывают изменения форм слов. О том, что процесс подстановок играет решающую роль во всех фонетических изменениях языка, упоминается даже и в новейших лингвистических работах.

3. Интерес к сменяющим друг друга эпохам в истории языков в ущерб интересу к самим процессам эволюции языков, к диалектике этой эволюции. Наиболее выдающийся представитель классической компаративистики Мейе, который подчеркивал, что сущность каждого языкового факта состоит в определенном качестве («les faits de langue sont qualitatifs»), понимал сравнительное языкознание как конфронтацию, т. е. сопоставление «языковых состояний, сменяющих друг друга и отличных друг от друга» («des états de langue successifs et distincts»)[1].

4. Стремление искать закономерности развития языка в области факторов эндогенических, т. е. индивидуально психических или индивидуально-физиологических (положения этого рода усиленно подчеркивал, в частности, выдвигая на первый план то один, то другой из упомянутых выше оттенков, почти во всех своих трудах Бодуэн де Куртенэ; Мейе это было чуждо).

[1] A. Meillet, Prace filologiczne, XIV, стр. 517.

С комплексом перечисленных здесь понятий связан, разумеется, психологизм как направление, представители которого усматривали движущие силы развития языка в области индивидуальной психики, автономной по отношению к внешним стимулам. Характерно, что Ван Гиннекен, автор «Основ психологической лингвистики»[1], так далеко заходил в своем эндогенизме и качественно статическом подходе к «фонемам», что рассматривал фонемы как своего рода языковые «гены», передающиеся по наследству от одного поколения говорящих к другому. Психологизм не во всех странах укрепился в одинаковой степени: во Франции он был гораздо слабее, чем в странах Центральной Европы, между прочим в Польше. Но в первоисточнике соссюрианства — учении Дюркгейма — можно несомненно найти некоторые элементы психологизма (Дюркгейм, например, выводил некоторые основные понятия своей социологии из анализа памяти как психо-физиологического явления).

А. Белич во вступлении к своему труду «О природе языка и о языковом развитии»[2] пишет об исторической грамматике: «Нени се резултати морај у разумети само као грђа за општу граматику, а не као упутство, како се развитак језика мора схватити уопште» («её результаты следует понимать лишь как материал для общей грамматики, а не как указание на то, как должно быть понимаемо развитие языка вообще»). Это замечание можно расширить, относя его в методологическом отношении ко всему наследию классической компаративистики: последнее несомненно представляет собою большую ценность, но постольку, поскольку нас интересует проблема эволюции языка, нам необходимо выйти за его пределы. В этом отношении, т. е. в связи с вопросом эволюции языка, больше теоретических стимулов мы найдем в диалектологии, которую неправильно считают как бы отраслью «прикладного» языкознания (о чем мы упоминали выше).

Из работ Гоша (Gauchat) — одного из тех диалектологов, которые видели всесторонние связи диалектологии с вопросами общего языкознания, видно, насколько далек был Гоша от подхода к диалектологическим записям как к механической регистрации отдельных фактов. Каждый, кто записывал диалектологические тексты, знает, какая тесная связь существует между тем, что слышишь, и тем, что понимаешь и осознаешь. Центральным вопросом диалектологии Гоша совершенно справедливо считал установление «участия индивида в развитии человеческой речи». При этом дело, разумеется, не в том, чтобы подчеркивать роль индивида, но, наоборот, в том, чтобы устанавливать зависимость речи каждого индивида от факторов социально-исторического порядка.

Проблему отношения языка индивида и языка среды можно считать одним из видоизменений проблемы отношения отдельного к общему. Сильная сторона диалектологии при анализе таких проблем заключается в том, что она дает возможность анализировать вопросы этого рода конкретно и непосредственно. Диалектолог не только обращен к прошлому и не только занят реконструкцией истории говоров, он сталкивается также с множеством теоретических вопросов, при разрешении которых имеет возможность опереться на эмпирические исследования. Это помогает ему уберечься от спекулятивности.

2

Определенный интерес представляют некоторые теоретические вопросы, над которыми работает языковедческий сектор Польской Академии наук в Варшаве.

Диалектологию можно определить как исследование речи индивидов, проводимое в массовом масштабе с учетом географических моментов. Вопрос об отношении речи индивида к речи общества для диалектолога является рабочей проблемой, требующей каждый раз практического решения. В основе решения любых проблем диалектологии всегда лежит представленный в виде записей материал, полученный от индивидов, говорящих на диалекте. Качество этого материала зависит от того, насколько удачным был подбор этих индивидов, насколько точной является сама запись.

В дальнейшем успех работы зависит от надлежащего истолкования записей. Интерпретировать должным образом речь индивида — это значит правильно отметить то, что в ней является типичным и показательным для данной среды и ее истории. Само собой разумеется, что речь каждого говорящего показательна не только для него самого. Любое исследование нуждается в таких информаторах, которые были бы типичны для языковой среды, являющейся в данный момент объектом исследования. При этом важно иметь в виду, что закономерности языкового развития можно наблюдать не только в области так называемой langue — продукта теоретических обобщений, но и в области так называемой parole, т. е. речи индивида. Законы, управляющие жизнью языка, действуют не в «межиндивидной» пустоте, но социально и исторически детерминируют языковой habitus говорящих индивидов. И к этой области можно отнести поэтические по форме и вместе с тем полные глубокого содержания слова Гете: «согласно вечным, железным, твердым законам должны мы все свершать круги своего

[1] J. Van Ginneken, Principes de linguistique psychologique, Paris, 1907.
[2] А. Белић, О језичкој природи и језичком развитку, Београд, 1941.

существования» («nach ewigen, eisernen, festen Gesetzen müssen wir alle unseres Daseins Kreise vollenden»).

Мысль о том, что закономерность проявлений индивидуальной жизни обусловлена социально, ясно высказана у Маркса: «Индивид *есть общественное существо*. Поэтому его проявление жизни (если бы оно даже не выражалось в непосредственной форме *коллективного*, происходящего одновременно с другими, выражения жизни) *есть* проявление и выражение *общественной жизни*»[1].

Если речь индивидов обусловливается общественными и историческими факторами (а это несомненно), то задачей анализа речи индивида должно быть понимание ее как отражения указанных факторов, выделение из единичных фактов того, что является общим. Чтобы познавать языковую действительность, существует только один способ. Этим способом является непосредственное общение с языковым материалом при помощи зрения (когда читаешь текст) или при помощи слуха (когда слышишь живую речь). Написанные тексты — не «мертвый» материал, каким иногда их считают; по существу это такой же живой материал, как и речь, лишь зафиксированный графически. Графически можно также фиксировать преходящие звучания слов на магнитофоне, и будущее несомненно за этим способом исследования фонетики. Но даже тогда, когда мы записываем живую речь со слуха, последующий ее анализ убеждает нас в том, какое богатство сведений о языке среды можно извлечь из материала, полученного от одного информатора. Факты живой речи индивидуума — подлинные микрокосмы, в которых отражается не только язык среды, но и его история с присущими ей эволюционными тенденциями. Это особенно отчетливо видно при исследовании фонетики, но стоит подвергнуть фонетические факты тщательному анализу, как обнаруживается их более общий смысл и они становятся иллюстрациями механизма изменений, происходящих в языке, и как таковые помогают нам понять диалектику развития языка.

Этот круг вопросов варшавские лингвисты исследуют уже давно. До войны соответствующим проблемам были посвящены, кроме моих работ[2], работы д-ра Фридриха, д-ра Тарнацкого, позднее — д-ра Токарского, а после войны — работы довольно многочисленной группы диалектологов, опубликованные до сих пор в отрывках[3]. Сейчас я ограничусь тем, что приведу в качестве примера материал, собранный мною во время экспедиции в августе 1955 г. в деревне Собекурск, расположенной в 30 км на юго-восток от Варшавы[4].

3

Моим информатором в Собекурске была женщина 77 лет, уроженка и постоянная жительница упомянутой деревни (где родились также ее родители), научившаяся читать уже будучи взрослой; писать она не умеет. В произношении нашего информатора отдельные фонетические черты (из числа тех — этот факт достоин внимания, — которые считаются критериями, используемыми для отличения друг от друга польских говоров) представлены следующим образом.

Передний носовой гласный, соответствующий этимологическому *ę*, колеблется как в отношении характера носового резонанса, так и в отношении тембра. На 67 случаев употребления информатором слов, имевших этимологическое *ę*[5], мы отмечаем

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. III, М. — Л., 1930, стр. 624.

[2] См., например, «Pour une représentation statistique des isoglosses», «Bull. de la société de linguistique de Paris», t. 36, fasc. 1, 1935.

[3] См. «Poradnik językowy», 1952, № 9.

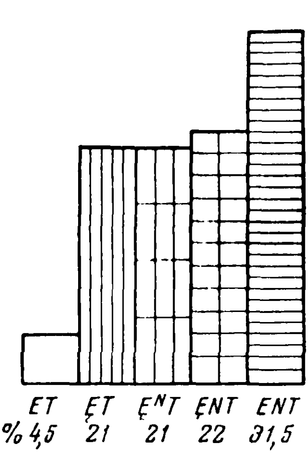
[4] С теоретическими вопросами связаны вопросы техники. Для того чтобы характеристика речи информатора могла считаться обоснованной, мы должны располагать достаточно большим материалом фонетических записей. Собирать фонетический материал, вообще говоря, лучше всего, записывая все, что удается услышать от информатора во время его непринужденных бесед с окружающими. Но в записанном таким образом материале были бы неизбежны пробелы, а главное — его нельзя было бы систематически сравнивать с материалом, собранным в других пунктах. Чтобы сохранить характер обыкновенного разговора и вместе с тем иметь гарантию, что ни одна существенная деталь не ускользнет от нашего внимания, мы приготовили вопросник, имеющий внешние черты лексикального и заключающий в себе около 1000 вопросов. Вопросы эти объединены в определенные тематические группы, но цель их — вызвать информатора на употребление слов, которые интересуют нас с точки зрения определенных особенностей их фонетики. К вопроснику приложен фонетический индекс, благодаря которому мы можем наш разбросанный по разным тематическим группам материал расклассифицировать с фонетической точки зрения, и тогда в нашем распоряжении оказывается документация, позволяющая оперировать несколькими десятками примеров на каждый из интересующих нас фонетических фактов. Благодаря этому мы можем свести к одинаковым критериям фонетическую характеристику различных пунктов.

[5] Слова могли повторяться, так как нас интересует звук как определенный комплекс артикуляционных движений, а не как осознаваемый звуковой элемент фонетического состава определенных слов.

наряду с произношением гласного ę с вокальным ринезмом случаи, где кроме резонанса, одновременного с вокальным резонансом, можно услышать элемент ринезма консонантного типа, иногда становящегося единственным носовым элементом, наступающим после гласного, лишенного ринезма. Иногда носовой резонанс вообще отсутствует, *что может иметь место при различных уровнях артикуляции языка в полости рта*, т. е. как при уровне, обычном для произношения гласного *e*, так и при несколько опущенном. Наблюдаются также случаи вторичного ринезма, не оправданного этимологически, как, например, в словах *węsele*, *węᵃsoly*, *prowǫslo*[1].

В двух первых словах носовой характер гласного закрепился как один из признаков фонетического облика слова: информатор постоянно произносит эти слова именно так, осознавая при этом, что молодежь произносит их уже иначе. Ни в словах *węsele*, *węᵃsoly* (артикуляционное колебание *e* : *a* является здесь случайным), ни в произношении *prowǫslo* вторичный ринезм не может быть объяснен влиянием какого-либо другого носового элемента в том же слове, так как таких элементов здесь нет. Аналогичный характер имеет вторичный ринезм в засвидетельствованной на другой территории форме *jęžoro*.

Даже при такой интерпретации фактов из области ринезма звука *e* в речи исследуемого объекта «статически-качественный» характер фонем оказывается слишком подчеркнутым. Когда мы сравниваем произношения ET (например, *ńedolega*), ĘT (например, *pręłko*), ĘⁿT (например, *bęⁿdo*), ĘNT (например, *pšyǵęnte*), ENT (например, *dembom*), то нет сомнения, что здесь налицо не чередования «звуковых представлений» («*Lautvorstellungen*») E : Ę: EN:— (ноль звука), но нечто по существу иное. Звуковые комплексы ĘT: ĘⁿT: ĘNT: ENT с функциональной точки зрения, т. е. с точки зрения отношения данных типов произношения к осознаваемому фонетическому типу слова, безразличны, нейтральны. На общее число 67 случаев произношения приходится 21 случай произношения типа ĘT (мы не принимаем здесь во внимание качества гласного, т. е. степени высоты артикуляции языка, от которой зависит качество *e* или *eᵃ*): *ćęte*, *m̊ędlica*, *scąki*, *wǫǵel* и т. п.; 14 случаев произношения типа ĘⁿT — гласный с ринезмом, после которого слабо слышится элемент консонантного ринезма: *bęⁿdo*, *tąᵐpy* и т. д.; 14 случаев произношения типа ĘNT с чисто консонантным ринезмом, хотя гласный сохраняет еще легкий носовой резонанс; *pšyǵęnte*; 15 случаев произношения того типа, который свойствен и общелитературному языку, т. е. гласный лишен носового резонанса, а после него произносится обычный носовой согласный *beńǯe*, *gotemb'e* и т. п. В этом последнем типе произношения преобладающим качеством вокального гласного является *e*, *лишь спорадически выступает* произношение гласного более широкого, как в случае *golqmbe*, или более узкого *ṗėńcoma*, *pińǯesúnt*. Произношение без ринезма было отмечено три раза: *ńedolega* (литер. *niedolęga*), *panietəm* (литер. *pamiętam*), *scoka* (литер. *szczęka*).



Описываемые фонетические факты из области произношения переднего носового гласного в обследуемом пункте можно кратко представить в виде следующей пропорции:

ET : ĘT : ĘⁿT : ĘNT : ENT = 3 : 21 : 14 : 14 : 15

В этой пропорции приведены числа абсолютные; переводя их на проценты, получим приведенную здесь таблицу.

Первая колонка слева представляет случаи исчезновения ринезма (ноль ринезма), вторая — синхронический (вокалический) ринезм, третья и четвертая — усиливающуюся консонантизацию ринезма при сохранении носового резонанса в произношении предшествующего гласного, пятая — случаи полной консонантизации ринезма при отсутствии ринезма в произношении гласного. Буква E символизирует передний гласный, колеблющийся в пределах от *ᵉᵃ* (пониженное *e*), через *e*, *ė* (повышенное, узкое *e*) до *i*. Знаки ı ı ı под буквой E во второй, третьей и четвертой колонке обозначают ринезм сильный (Ę) и постепенно слабеющий (E̦, E̦). Буква T символизирует любой взрывной согласный независимо от места его артикуляции. Вертикальные штрихи относятся к вокалическому ринезму, горизонтальные — к консонантическому (их густота соответствует слабеющей и растущей силе одного и другого). Такого рода таблицами мы пользуемся при составлении фонетических карт.

Независимо от различий в фонетических оттенках гласного, слова, как мы уже упоминали, воспринимаются как тождественные и по фонетическому облику и тем

[1] Литературное *powrósło*.

более по значению. Различие между типами произношения отражает несогласованность движений опускания мягкого неба и артикуляции языка, т. е. различие в известном смысле количественное, а не качественное, так как несогласованность движений является нарушением определенной пропорции в соотношении артикуляционных элементов, а пропорция — понятие динамическое. Существенно то, что фонетические процессы нельзя сводить к статически понимаемым «звуковым представлениям»; такое статическое, исключительно качественное понимание «фонем» является наследием не везде еще изжитого психологизма. Отсутствие строгой, стабилизованной согласованности движений органов речи, производящих звуки, и проистекающая отсюда неустойчивость артикуляционных элементов слов — это стихийный аспект фонетических процессов. На фоне этой стихийности некоторые артикуляционные элементы подвергаются постепенной функциональной специализации. Движения органов речи определяются индивидуально-физиологическими факторами, функции же звуков речи относятся к фактам общественным, поэтому и функциональная специализация звуков и их вариантов есть одно из проявлений постепенно возрастающей в языке силы действия факторов социального характера. В индивидуальной диалектной речи встречаются очень часто чередования звуков чисто фонетического характера, т. е. безразличные в функциональном отношении, несмотря на то, что те же звуки в определенных словах и формах могут иметь диакритические функции. Так, например, чередование ET : ENT, имеющее, как мы выше констатировали, функционально безразличный характер, в принципе относится в польском языке к числу диакритических: именно в этом отношении отличаются друг от друга польские слова *krety* «кроты» и *kęty* «извилистый», *rety*! междометие и *renty* «ренты» и т. п. Диакритический критерий в выделении фонем имеет характер относительный. Анализ имеющегося в нашем распоряжении материала позволяет нам сделать также некоторые другие заключения общего характера.

Если мы зададим себе вопрос, господствует ли в данном говоре синхронический или асинхронический, вокальный или консонантный тип ринезма перед взрывными согласными, мы сможем ответить на него только следующим образом: в речи информатора, являющегося типичным представителем говора данной деревни, мы наблюдали оба типа ринезма. Основываясь на том, что в говоре данной деревни в настоящее время имеются случаи синхронического ринезма, можно было бы утверждать, что именно этот тип ринезма составляет отличительный признак фонетической системы, исторически характерной для данного говора, и считать, что вопрос с исторической точки зрения, таким образом, исчерпан. Но имеющийся в нашем распоряжении материал позволяет идти и дальше.

Факты, о которых идет речь, нельзя осмыслить, ограничивая лингвистический анализ понятием качества. Без введения понятия количества, как критерия различия, невозможно отдать себе отчет в том, какие процессы происходили в истории языка, и адекватно описать то, что оказывается в нашем поле зрения, когда мы говорим об определенном этапе в истории языка и пытаемся дать статический «профиль» фактов, характерных для этого этапа. «Только движение действительно» («Nur die Bewegung ist wirklich»), — писал в свое время Шухардт, а то, что «только покой воспринимаем» («Nur die Ruhe ist wahrnehmbar») — этим оканчивается цитируемое предложение, — это факт, с которым мы должны считаться как с препятствием на пути к пониманию языковой действительности, как с трудностью, которую надо преодолеть и которую, разумеется, нельзя превращать в теоретическую основу исследования. Тезис о том, что «языковые факты качественно своеобразны», облегчает технику работы компаративисту, но не позволяет нам видеть ту полную картину языковой действительности, которую способно обнаружить непредвзятое, непосредственное диалектологическое наблюдение.

Факты, приведенные нами, отнюдь не оказываются чем-то исключительным: они представляют собой нормальное явление, отмечаемое различными диалектологами, и отражают типичное для диалектного произношения отсутствие строгой согласованности артикуляционных движений органов речи. Общее направление исторического развития языка идет, как нам представляется, от состояния функционально безразличных фонетических колебаний, являющихся следствием недостаточной дифференциации функций органов речи, к относительной стабилизации фонетического облика слов и их звуковых компонентов. Это направление, как я уже упоминал, свидетельствует о постепенном возрастании в истории языка преобладания объективно общественных факторов над индивидуально эндогеническими.

4

Как видно уже из приведенных фрагментарных замечаний, детальный анализ фонетического материала, который удается получить от одного информатора, ни в коем случае не сводится к лишенной сравнительной перспективы регистрации мелких фактов. Основательный анализ материала, относящегося к отдельным фонетическим вопросам, может привести к более многосторонним выводам, чем поверхностная классификация всего обилия фактов со стремлением к их общей нормализации. Для сравнительной характеристики фонетики говоров обследуемых пунктов следует пользоваться мате-

риалом, собранным одинаковым методом от типичных представителей каждого говора, и подвергать этот материал возможно более точному, не только качественному, но и количественному анализу. Поступая таким образом, мы получаем возможность не только констатировать «языковые состояния» («états de langue»), но и обнаруживать эволюционные тенденции и механизм действия тех сил, которые являются факторами эволюции в различных областях языка.

В речи индивида могут сосуществовать параллельно черты, в принципе характеризующие разные языковые системы. К таким чертам относятся, например, существование носовых гласных в польском языке — и отсутствие их в русском, редукция безударных гласных в русском языке — и отсутствие этой редукции в польском. Такова «качественная» формулировка фактов и «качественная» характеристика языковых систем. Зародышевые проявления как исчезновения ринезма, так и редукции безударных гласных и слияния в одном звуке гласного, являющегося результатом понижения переднего носового гласного, с редуцированным *a*, наконец, явление спорадической лабиализации носового гласного или гласного, соседнего с носовым согласным (произношение *klucykẽm* — литер. *kluczykiem* «ключиком»), — все это мы обнаруживаем в речи одного лица. Здесь мы можем найти в микроскопических размерах, в колеблющихся чередованиях точки пересечения путей, которые исторически вели к социально стабилизированным нормам различий между славянскими языками.

Ограничиваясь этими фрагментарными примерами и замечаниями, мы сознаем, что многие вопросы еще остаются не решенными. Если принять во внимание соотношение случаев произношения носового гласного как такового и произношения носового с более или менее четким консонантным носовым элементом, выраженное приведенной выше пропорцией (см. таблицу), то мы легко определим произношение типа T как черту, исчезающую в фонетике данного говора, произношение же типа ENT — как распространяющееся и имеющее все шансы стать единственным — хотя бы потому, что оно совпадает с общелитературным произношением. Но является ли произношение типа ENT у нашего информатора только результатом влияния литературного произношения? Информатор в городе не бывает и сталкивается с литературным произношением лишь тогда, когда слышит речь молодежи, находящейся под влиянием школы. Да и вообще, если мы примем, что вокальный ринезм был исходным пунктом наступившей впоследствии эволюции носовых гласных в польском языке, то чем объяснить, что общей нормой стал ринезм асинхронический?

Из признания того, что язык по самому своему существу — явление общественное, никак не следует, что лингвист не должен стремиться как можно точнее анализировать языковые процессы физиологического характера, глубже познавать сложный механизм деятельности высших центров нервной системы человека, т. е. деятельности мозга. Если мы стремимся к углублению знаний обо всем, что в отдельном человеческом организме служит общественно-коммуникативным действиям, то это не является, разумеется, возвращением к психологизму. Ведь поиски путей к открытию психологических законов, которые бы априорно обусловливали функционирование сознания каждого индивида, взятого само по себе, качественно, принципиально отличаются от поисков законов динамического уравновешивания организма каждого индивида с непрерывно действующим на него миром внешних влияний. Этот круг вопросов не может быть чужд языкознанию, а в особенности той его отрасли, которая непосредственно, в конкретной, повседневной работе сталкивается со всевозможными вопросами, касающимися соотношения эндогенических и экзогенических факторов в языке, т. е. диалектологии.

В. Дорошевский

СЛЕДЫ ГРАММАТИЧЕСКОГО РОДА В МОНГОЛЬСКИХ ЯЗЫКАХ

Как известно, принято считать, что одной из наиболее характерных черт монгольских (и вообще алтайских) языков является отсутствие в них категории грамматического рода. Правда, следы его в этих языках пытались найти многие исследователи. Так, например, Б. Я. Владимирцов в своей заметке «Следы грамматического рода в монгольском языке»[1] сделал сообщение о том, что монгольские словообразовательные суффиксы *-гчін*, *-джін*, *-хан* и *-гуі* представляют собою следы былого выражения грамматической категории женского рода: *алаг* «пестрый» — *алагчін* «пеструха» (о короне), *гунан* «самец трех лет» — *гунаджін* «самка трех лет», *нојан* «князь, господин» — *нојахан* «молодая девица, барышня», *худа* «сват» — *худагуі* «сватья». К этим же явлениям Б. Я. Владимирцов добавил также использование в словообразовательных целях гармонии гласных: *аха* «старший брат, старший» — *еке* «матушка, старшая». Уже после смерти Владимирцова некоторые случаи различения имен, обозначающих в монгольском языке живые существа мужского и женского рода, отметил П. Пеллио,

[1] См. «Доклады Росс. Акад. наук», Л., 1925, стр. 31—34.

приводя примеры типа *суту* «император» — *сутаі* «императрица», *хутугту* «святой» — *хутугтаі* «святая» и женские собственные имена на *-тані* ~ *-тені*[1].

В приведенных примерах Б. Я. Владимирцов и П. Пеллио склонны были видеть следы категории грамматического рода и считали, что для выражения этой категории используются, во-первых, специальные словообразовательные суффиксы и, во-вторых, гармония гласных. Относительно последней Б. Я. Владимирцов, например, писал, что при помощи сингармонизма монгольский язык некогда «производил различие по родам»[2]. Как известно, в тюркских и особенно тунгусо-маньчжурских языках подобные явления обнаруживаются также в достаточном количестве. В маньчжурском языке использование гармонии гласных для различения имен по «роду» распространяется даже и на заимствованные слова, например *арсалань* «лев» — *эрсэлэнь* «львица».

Конечно, все эти случаи нельзя рассматривать как свидетельство наличия в монгольском языке категории грамматического рода. Приведенные выше суффиксы и явления гармонии гласных используются только в сфере словообразования для различения имен, обозначающих живые существа по полу. О грамматическом же роде в точном смысле этого слова можно говорить лишь в случае его грамматического же проявления, например, в согласовании определения с определяемым и сказуемого с подлежащим, чего в монгольских языках до сих пор не обнаруживалось.

Однако тот же П. Пеллио в весьма осторожной форме высказал свое предположение о том, что следы грамматического рода в монгольском языке, возможно, сохраняются в суффиксах форм прошедшего времени изъявительного наклонения *-ба* и *-бі*, зарегистрированных в текстах «Сокровенного сказания» (1240 г.)[3].

К сожалению, это предположение П. Пеллио до сих пор оставалось в монголистике незамеченным. И только недавно японский монголист Одзава Сигэо в своей статье «Гэнте: хисси мо:кого-но до:си гоби»[4] сообщил о том, что в текстах «Сокровенного сказания», а именно в системе глагольных форм в языке этого памятника, действительно обнаруживаются признаки грамматического рода.

Дело в том, что монголисты давно уже зарегистрировали в текстах «Сокровенного сказания» суффиксы изъявительных форм: 1) для настояще-прошедшего времени: *-ба* ~ *-бе* ~ *-бі* и 2) для заведомо известного прошедшего времени: *-ла'а* ~ *-ле'е* ~ *-ла'аі* ~ *-ле'аі* ~ *-лаі* ~ *-ла'у* ~ *-ле'у* ~ *-лу'а* ~ *-лу'е* ~ *-лу'аі* ~ *-лугаі* ~ *-лігі* ~ *-лі'і*. Эти суффиксы считались лишь фонетическими вариантами одних и тех же показателей названных изъявительных форм. А между тем теперь Одзава Сигэо твердо устанавливает, что в текстах «Сокровенного сказания» суффиксы *-бі* и *-лігі* ~ *-лі'і*, которые являются формами выражения женского рода, в указанных временах противопоставляются всем прочим перечисленным здесь суффиксам, являющимся формами мужского рода, и что глагольные сказуемые, выраженные описываемыми здесь изъявительными формами, соответственно согласовываются с подлежащими мужского или женского рода[5]. При этом любопытно, что форма женского рода употребляется и тогда, когда в данном предложении речь идет о женщине, а не только при наличии подлежащего, обозначающего женщину.

Таким образом, отныне можно считать установленным несомненный факт наличия в древнемонгольском языке категории грамматического рода, точнее говоря, категории мужского и женского родов в глагольной системе монгольского языка XIII в. При этом следует отметить тот весьма знаменательный факт, что если в сфере словообразования средством дифференциации имен, обозначающих живые существа по полу, в монгольских языках служит деление гласных по способу их образования на гласные заднего и переднего рядов, то в области словоизменения различение мужского и женского родов осуществляется при помощи противопоставления нейтрального гласного *і* гласным и заднего, и переднего рядов. Совершенно очевидно, что наблюдения Одзава Сигэо коренным образом меняют наши представления о грамматической системе монгольских языков вообще, по крайней мере, применительно к их историческому прошлому[6]. Теперь становится более ясной сущность чередования (и гармонии) гласных в монгольских языках, которое некогда использовалось не только в сфере словообразования, как это впервые было установлено Б. Я. Владимирцовым, но и в области словоизменения.

Г. Д. Санжеев

---

[1] P. Pelliot, Le vrai nom de «Seroctan», «T'oung Pao», vol. XXIX, Leide, 1932.

[2] Б. Я. Владимирцов, Сравнительная грамматика монгольского письменного языка и халхаского наречия, М., 1929, стр. 133.

[3] См. P. Pelliot, указ. соч., стр. 51.

[4] См. журн. «То:кё гайкокуго *дайгаку ронсю*», Токио, 1955, № 4, стр. 1—19 (краткое резюме на англ. яз., стр. 16).

[5] Одзава Сигэо, повидимому, не обратил внимания на упомянутую выше статью П. Пеллио, так как в его работе на нее нет ссылки.

[6] Об этом же см.: G. Doerfer, Beiträge zur Syntax der Sprache der *Geheimen Geschichte der Mongolen*, «Central Asiatic Journal», vol. I, № 4, Wiesbaden, 1955, стр. 248—266.

О СООТНОШЕНИИ ОБЪЕКТИВНОГО И ГРАММАТИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ

Традиционная точка зрения на отношения грамматической категории времени и объективного времени заключается в том, что говорящее лицо определяет временное отношение высказываемого к моменту речи. Все, что протекает до момента речи, выражается грамматическим прошедшим временем; все, что происходит после момента речи, — будущим временем; все факты и действия, которые совпадают с моментом речи в широком или узком смысле, характеризуются основным значением настоящего грамматического времени[1].

За последнее время в советской лингвистической литературе появился ряд исследований, отражающих принципиально иное понимание грамматической категории времени[2]. Прежняя точка зрения на отношение категории грамматического времени к объективным категориям действительности объявляется идеалистической и неприемлемой для марксистской науки. Сторонники этой новой точки зрения считают, что поскольку «глагол как часть речи есть выражение действия», а действие «с материалистической точки зрения» «сводится к движению материи в пространстве и во времени»[3], то глагол как часть речи должен отразить в языке свойства бытия. Н. С. Поспелов утверждает, что «глубокие мысли Ленина об объективной реальности времени требуют раскрытия в применении к анализу глагольного действия в грамматической категории времени, как отражения объективного времени во всей диалектической сложности его внутреннего содержания» (стр. 288; разрядка наша. —*Г. М.*).

Рассматриваемая *морфологически категория наклонения, образующая тесное* единство с категорией времени, по мнению Н. С. Поспелова, является выражением «обобщенного отношения к действительности самого глагольного действия независимо от точки зрения говорящего лица...», а поэтому «категория глагольного времени отражает объективное время не с точки зрения говорящего лица, т. е. не в отношении к моменту речи» (стр. 293; разрядка наша. — *Г. М.*). Автор приходит к выводу, что «ориентировка в грамматическом учении о времени на момент речи порочна с точки зрения общей теории языка уже потому, что непосредственно апеллирует к конкретному психологическому содержанию высказывания, а не к его обобщенному значению, не закрепляет в словах и в соединении слов в предложениях результаты абстрагирующей работы человеческого мышления... Категория времени, являясь отражением объективного времени, непосредственно включает глагольное действие в реальную действительность» (стр. 295—296). Следовательно, по мнению Н. С. Поспелова, грамматическая категория времени представляет собой зеркальное воспроизведение временных отношений объективной действительности[4]. Однако автор отмечает и те многочисленные случаи, когда временные формы употребляются не в собственном значении, а в «косвенном» (релятивное употребление временных форм в отличие от употребления временных форм с прямой направленностью на действительность — индикативного[5]).

Как мы видели, в анализе категории времени Н. С. Поспелов исходит из того положения, что грамматические явления прямо и непосредственно отражают объективную действительность, включая языковое грамматическое явление непосредственно в эту действительность. Мы не можем признать, что какая-нибудь из грамматических категорий, в том числе и грамматическое время, «устанавливается» «с точки зрения непосредственного отражения действительности в языке как общественном явлении» (стр. 304). Иными словами, нельзя признать, что грамматическая форма времени является вещественным знаком объективного настоящего, прошедшего, будущего времени, отражая все его черты. Прежде чем явление бытия найдет отражение в языковом факте,

---

[1] Та же, примерно, точка зрения на роль момента речи в определении временного значения глагола изложена в книге: «Современный русский язык. Морфология. (Курс лекций)», под ред. В. В. Виноградова, [М.], 1952, стр. 292—293.

[2] См.: Н. С. Поспелов, Категория времени в грамматическом строе современного русского языка. Докт. дисс., М., 1953; его же, Категория времени в грамматическом строе русского глагола, сб. «Вопросы теории и истории языка в свете трудов И. В. Сталина по языкознанию», М., 1952; его же, Прямое и относительное употребление форм настоящего и будущего времени глагола в современном русском языке, сб. «Исследования по грамматике русского литературного языка», М., 1955.

[3] Н. С. Поспелов, Категория времени в грамматическом строе русского глагола, стр. 287 (далее ссылки на эту работу даем в тексте в скобках).

[4] Ср. сходную точку зрения в кн. С. Д. Никифорова «Глагол, его категории и формы в русской письменности второй половины XVI века» (М., 1952, стр. 16—17).

[5] См. докторскую диссертацию Н. С. Поспелова, а также его статью «Прямое и относительное употребление форм настоящего и будущего времени глагола в современном русском языке»

оно должно быть воспринято сознанием говорящего. И если время в бытии всегда — абсолютно и независимо от нашего сознания, то категория времени в языке зависит от осознания объективного времени говорящим.

Переоценивая роль индивидуальной психологии, недооценивая общенародные нормы в использовании языка и типичность в восприятии действительности данным обществом на данном этапе его развития, идеалисты говорят об акте общения как о творческом акте мыслящего индивида, уравнивая в языке значения общенародные, объективные (главные) и субъективные (несущественные, окказиональные). Односторонность идеализма может привести и к другому не менее парадоксальному выводу о том, что категории языка равны категориям мысли и являются вечными и не связанными с историей конкретных языков[1].

Материалистическое понимание роли говорящего в языке заключается в том, что говорящий реализует в отдельных актах общения коллективные языковые нормы. Общенародные грамматические нормы отражают итог восприятий действительности, абстрагированный от конкретного содержания отдельных актов общения; поэтому, например, категория наклонения, времени у всех говорящих на данном языке одинакова, и грамматическое оформление даже ложного и субъективного высказывания всегда будет соответствовать обобщенным нормам языка.

Признание говорящего и его мышления посредником между действительностью и языком, особенно грамматикой, — есть необходимое условие марксистского рассмотрения языковых явлений. «Категория говорящего» — категория объективная, абстрактная, а не индивидуалистическая и психологическая, потому что индивидуум волен проявлять свои личные склонности лишь в оценке слова, в содержании высказывания, но отнюдь не в грамматических формах и их употреблении.

Исходя из этого, мы не можем признать и момент речи категорией субъективной. Конечно, когда момент речи рассматривают как произвольную точку на временной оси, легко передвигаемую по произволу отдельного говорящего[2], это понятие приобретает субъективный и идеалистический характер; возможность такого понимания момента речи вытекает из идеалистического понимания роли говорящего.

Человек обозначает познаваемое и познанное им объективное время всегда в виде определенных отрезков. Время в бытии, в действительности бесконечно, человек же познает его к о н е ч н о, через понятие какого-то промежутка, отрезка. Поскольку время бесконечно, самые большие промежутки не в состоянии охватить всего времени; самые же маленькие единицы никогда не могут обозначить точку во времени. Однако когда общественная практика заставляет человека в процессе языкового общения единым образом обозначать разнообразные события, явления природы, результаты научных экспериментов, он использует известные ему понятия промежутков времени, которые располагаются по отношению к какой-нибудь точке, условно принятой за единицу отсчета.

Любое явление действительности протекает в так называемом абсолютном времени, в практике же человека оно обозначается при помощи промежутков времени, отнесенных к какой-нибудь условной точке. Следовательно, человек обозначает абсолютное время относительно, и это вовсе не мешает ему в достижении нужной точности. Но раз человек обозначает время относительно, то, очевидно, и в языке не может быть непосредственного отражения времени. И именно момент речи является тем звеном, которое позволяет соотнести абсолютное время бытия с относительным языковым временем. Момент речи субъективен лишь постольку, поскольку он немыслим вне индивидуальных актов общения; но всем остальном момент речи объективен, и установление его в языке происходит на объективных основаниях. Установление каждого отдельного момента речи и выбор временной формы абсолютны в том отношении, что они каждый раз определяются говорящим в соответствии с действительностью.

В произведениях писателей прошлого авторское настоящее время становится для нас объективным прошедшим временем, но тем не менее в произведении оно функционирует в значении настоящего времени, потому что определяет временную перспективу пишущий, автор речи. В этом случае образуется как бы два момента: один — момент «говорения», другой — момент восприятия; может быть и третий момент речи — координата персонажа. Сочетание всех этих координат создается их следованием в абсолютном времени, но сами они относительны друг к другу.

Точка отсчета времени в языке отражается через момент речи. Выбор говорящим формы времени зависит, конечно, от положения говорящего по отношению к высказываемому в реальной временной перспективе, но это будет все же относительное соответствие абсолютному объективному времени.

Неудобство термина «момент речи» заключается в том, что его внутренняя форма

---

[1] «Схема времен mutatis mutandis подходит для всех эпох и всех языков» (G. G u i l l a u m e, Temps et verbe. Théorie des aspects, des modes et des temps, Paris, 1929, стр. 12.)

[2] Ср. S. K a r c e v s k i, Système du verbe russe, Prague, 1927, стр. 147.

говорит как бы лишь о мгновении речи. Между тем несомненно, что это координата, границы которой могут быть очень различны в зависимости от того, понимается ли этот отрезок как мгновение речи или как современность в широком смысле слова. За счет разного общественного понимания «момента речи» создаются различные оттенки в употреблении временной морфологической формы глагольного времени.

Выбор того или другого значения момента речи будет обусловлен реальной действительностью; положение его в действительности определяется говорящим на данном этапе всегда одинаково в зависимости от реальных жизненных условий. Этим создается то богатство употребления временных форм в предложении, которое так характерно для русского языка. Таким образом, и говорящий, и слушающий, и момент речи — это все объективные факторы, которыми нельзя пренебрегать при анализе языка.

Однако известно, что в течение многовековой практики создаются языковые формы, которые существуют в соотнесенности друг с другом; отношения этих языковых абстракций составляют предмет изучения лингвистики. Поэтому и нельзя говорить о «непосредственном включении глагольного действия в реальную действительность» (стр. 296).

Н. С. Поспелов считает, что категория грамматического времени включает глагольное действие в действительность. При этом, поскольку категория времени и категория наклонения образуют, с точки зрения Н. С. Поспелова, единую и неделимую «категорию времени — наклонения», то, очевидно, и наклонение включает глагольное действие в реальную действительность.

Отражение в грамматических категориях времени и наклонения свойств объективного времени и пространства доказывается Н. С. Поспеловым не на основании фактов языка, а при помощи логической подмены. Сначала в статье Н. С. Поспелова дается ссылка на следующее классическое место из работы Ф. Энгельса «Анти-Дюринг»: «... основные формы всякого бытия суть пространство и время; бытие вне времени есть такая же величайшая бессмыслица, как бытие вне пространства»[1].

«Но если время — объективно-реальная форма бытия, — продолжает Н. С. Поспелов, — то и грамматическому времени, как отражению объективного времени, необходимо присуще значение изъявительного наклонения, значение реализации действия в объективной действительности» (стр. 293).

Этот вывод представляется нам по меньшей мере натянутым. Если Н. С. Поспелов считает, что все формы бытия находят прямое отражение в грамматических категориях, то надо бы показать, как отражается в грамматической категории времени его объективная, неразрывная связь с пространством, та связь, которая иллюстрируется цитатой из «Анти-Дюринга» («время вне пространства есть... величайшая бессмыслица»). Если же Н. С. Поспелов не предполагает прямой связи между грамматическими категориями и объективным бытием, его формами, то существование времени как объективно-реальной формы бытия никак не доказывает, что «и грамматическому времени как отражению объективного времени необходимо присуще» значение изъявительного наклонения.

Итак, материалистическое признание объективного времени не доказывает органической связи категории времени и наклонения как выражения нераздельных категорий бытия: времени и пространства. Могут ли связи грамматических категорий с объективной действительностью миновать то, без чего язык не может существовать: человеческое общество как носителя языка и языковые законы, обеспечивающие существование грамматических категорий? Представляется совершенно очевидным, что на этот вопрос можно ответить только отрицательно: прямого соответствия между грамматикой языка и явлениями объективной действительности не существует.

*

Переходя к анализу значений настоящего времени, Н. С. Поспелов оперирует понятием момента речи в общепринятом смысле; при этом вся его классификация значений настоящего времени исходит из понимания момента речи как момента речевого сознания.

Временное значение формы настоящего времени определяется, по мнению Н. С. Поспелова, моментом речевого сознания и соответствием его моменту речи. Разрывая момент речевого сознания и момент речи, Н. С. Поспелов усматривает, в зависимости от их следования, следующие оттенки настоящего времени:

1) нераскрытое настоящее (устремленное в будущее):
   а) воображаемое
   б) заочное настоящее } переходные значения от 1-го ко 2-му;
2) раскрытое настоящее (включающее момент прошлого и настоящего);
3) абстрактное настоящее, отвлеченное от конкретного содержания (с оттенком квалитативности, вневременности).

[1] Ф. Энгельс, Анти-Дюринг, М., 1951, стр. 49.

Позволим себе привести цитату, из которой ясно видны основания этой классификации. «В четвертом действии пьесы „Дядя Ваня", происходящем в комнате Ивана Петровича Войницкого, есть такая реплика Елены Андреевны, сопровождаемая поясняющей авторской ремаркой: „Елена Андреевна (берет со стола карандаш и быстро прячет). Этот карандаш я беру себе на память". В данном контексте и в данной ситуации (предваряемое авторской ремаркой) *беру* — раскрытое настоящее (включающее, с точки зрения Н. С. Поспелова, момент прошлого. — *Г. М.*). При обратном расположении реплики и ремарки, т. е. если бы ремарка следовала за репликой, *беру* было бы нераскрытым настоящим, включающим в себя ближайшее будущее» (стр. 300).

Следовательно, оттенок мнимой направленности в прошлое создается в рассмотренном примере за счет того, что мысль о действии и осуществление этого действия произошли ранее момента речи; поэтому «беру» в индивидуальной психологии говорящего равно «взяла». При обратном расположении ремарки и реплики сначала имеет место момент речи, затем выполнение действия, получившего предварительную характеристику в настоящем (с оттенком намерения), поэтому в данном случае «беру» равно «возьму».

Очевидно, что разница между так называемым раскрытым и нераскрытым значением настоящего времени обусловлена не языковыми отношениями, а реальной обстановкой, ситуацией. Кроме того, предложенный анализ очень субъективен; возможно и другое понимание различий между этими двумя употреблениями формы настоящего времени[1].

Субъективность подразделения на раскрытое и нераскрытое настоящее можно иллюстрировать и другим примером из той же статьи Н. С. Поспелова. («Вишневый сад»): Аня говорит: «Восходит луна». Затем следует ремарка автора: «Восходит луна». И, наконец, Трофимов констатирует: «Да, восходит луна» (стр. 300). Н. С. Поспелов считает, что настоящее время в реплике Трофимова имеет значение раскрытого настоящего, а в реплике Ани — значение нераскрытого настоящего времени. Но, действуя в духе этого анализа, мы можем предложить и другое понимание значений этих трех реплик: форма настоящего времени глагола несовершенного вида употребляется здесь для характеристики длительного и медленного процесса восхождения луны; в каждой из трех следующих друг за другом форм настоящего времени мы имеем характеристику трех точек, входящих в понятие расширенного настоящего; первая реплика характеризует начальную точку в процессе восхождения луны, средняя — срединную, последняя — конечную, но не выходящую за пределы настоящего.

Показательно, что все примеры на раскрытое и нераскрытое настоящее в статье Н. С. Поспелова основаны на анализе глаголов лишь некоторых лексических групп: это главным образом глаголы движения и глаголы с начинательным значением. И в каждой из указанных групп различия так называемого раскрытого и нераскрытого настоящего не одинаковы. Это показывает, что различия эти не относятся к значению собственно форм настоящего времени: в глаголах моторных значение настоящего может заключаться в стремлении к будущему, создавая, так сказать, «нераскрытое будущее»; в начинательных глаголах их семантика придает настоящему времени модальный оттенок стремления к концу настоящего. Значения настоящего времени глаголов речи имеют свои особенности. Так, например, глаголы *напоминаю, спрашиваю* (см. стр. 301) по своему лексическому значению требуют последующего разъяснения. Но и анализ и этих примеров у Поспелова опять выступает понимание момента речи как мгновения речи, с нашей точки зрения, совершенно не обязательное. Ср. реплику Андрея («Три сестры» Чехова): «Я совершенно хладнокровно вас спрашиваю: что на имеете против меня», где и *спрашиваю* Н. С. Поспелов видит значение настоящего, раскрываемого в ближайшем будущем.

Рассмотрение принятых в работе Н. С. Поспелова оснований для дифференциации раскрытого и нераскрытого настоящего времени убеждает нас в том, что эти основания не имеют отношения к грамматическому анализу.

Особенное недоумение вызывают в классификации значений настоящего времени настоящее «воображаемое» и «заочное» (см. стр. 302). Во-первых, оказывается, что эти значения — стадии, переходные от «нераскрытого» к «раскрытому» настоящему; во-вторых, для «воображаемого» и «заочного» настоящего даются примеры из древнерусского языка («Русская Правда», летопись). Здесь игнорируется связь категории времени с другими категориями глагола. Ведь значения временных форм в «Русской Правде» сложились при иных отношениях с видом и остальными категориями глагола и не могут быть прямо связаны с оттенками значения временных форм современного русского глагола. Да и само определение оттенка времени и термин создаются в этих пунктах классификации на основании того, что *людье* из «Русской Правды» не видят разбойника и заочно осуждают его («настоящее *заочное*»), а термин «воображаемое настоящее»,

[1] Можно, например, предложить такое толкование: в первом случае мы имеем типичное значение настоящего времени, совпадающего с моментом речи; во втором случае выделяется не временное значение, а модальный оттенок намерения, имеющий чисто ситуативное значение.

повидимому, складывается потому, что новгородцы предполагают не выдавать своей *братьи* («Княже, кланяемъ ти ся а братьи своей не выдаваем»).

Можно найти еще очень много ситуаций, в которых обстоятельства, не имеющие отношения к грамматике, дадут возможность установить новые оттенки в значении формы времени. Тем самым приравниваются друг к другу совершенно разнородные величины: обобщенные значения времени и частные ситуативные случаи их употребления, относящиеся к психологическому, но не грамматическому пониманию значений временны́х форм.

Таким образом, намерения Н. С. Поспелова рассмотреть категорию времени в русском глаголе в ее соотношении с объективным временем не привели, с нашей точки зрения, к желаемому результату. Причиной неудачи явилось рассмотрение категории времени вне ее языковых грамматических свойств и взаимозависимостей. Вместо этих единственно возможных для грамматики критериев Н. С. Поспелов оперирует критерием субъективной ситуативности, смешивает лексику с грамматикой. Вся статья Н. С. Поспелова относится к русскому языку лишь постольку, поскольку русский язык упоминается в заглавии и используется в примерах. Вообще же все, что сказано здесь о категории времени, не относится к русскому языку, потому что здесь нет исследования того, что индивидуально присуще его грамматическому строю.

Г. М. Милейковская

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1956

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РУССКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ТЕОРИИ РУССКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ

I

Толковые словари национального языка — могучее орудие культуры речи и вместе с тем продукт этой культуры. Акад. И. И. Срезневский, которому мы обязаны составлением ценнейших «Материалов для словаря древнерусского языка», в свое время писал, что там, «где знание отечественного языка считается более необходимым, где, следовательно, лучше составлены словари его, где писатели чаще к ним обращаются, там и литература, как искусство, стоит выше...»[1] Работа по составлению толковых словарей родного языка — важное национальное дело. Глубокое общественное сознание необходимости и ответственности этого дела выражается в живом интересе разных слоев народа к изданию толковых словарей и в повышенной требовательности к их внутренним достоинствам. В нашей стране, где накоплен огромный опыт в области составления национальных толковых словарей разных типов, общественные требования к качеству их особенно велики и настоятельны. Само собой разумеется, что руководящая и организующая роль в развитии и совершенствовании лексикографической работы в Советском Союзе должна принадлежать толковым словарям русского языка, особенно издающемуся теперь четырнадцатитомному академическому словарю[2]. Между тем состояние работы по составлению этого словаря и качество выходящих в свет отдельных его томов не во всех отношениях могут удовлетворить как специалистов по русскому языку и по общей лексикографии, так и взыскательных читателей вообще. Поэтому представляется целесообразным, воспользовавшись недавним выходом в свет четвертого тома (а с этого тома облик всего словаря, освобождающегося от системы гнездового расположения слов, значительно изменяется), остановиться на некоторых больных и вместе с тем больших вопросах теории русской лексикографии. Ведь от ясности, нерешенности главных теоретических проблем семасиологии и лексикографии во многом зависят основные недостатки наших толковых словарей[3].

Естественно, что в ряду этих нерешенных вопросов первое место занимает проблема семантической структуры слова, или, лучше: семантической структуры разных типов слов того или иного языка. Для уяснения этой проблемы применительно к русским толковым словарям необходимы многочисленные и разнообразные семасиологические исследования, посвященные углубленному анализу значений и способов употребления отдельных слов, а также семантически связанных, соотносительных или внутренне объединенных групп слов в современном русском языке. Построение статьи о смысловой структуре слова, о соотношениях и связях его значений, об исторически сложившихся условиях его фразеологического употребления, об устойчивых фразеологических оборотах, около него группирующихся, в Академическом словаре далеко не всегда является целесообразным и более или менее адекватным языковой «действительности».

---

[1] ИОРЯС, т. III, 1854, стр. 150—151.

[2] См. «Словарь современного русского литературного языка», М. — Л., Изд-во АН СССР: т. I — 1950; т. II — 1951; т. III — 1954; т. IV — 1955. В дальнейшем называем его просто: Академический словарь; ссылки на тома и страницы этого словаря даем в тексте в скобках.

[3] См. О. С. Ахманова, В. В. Виноградов, В. В. Иванов, О некоторых вопросах и задачах описательной, исторической и сравнительно-исторической лексикологии, ВЯ, 1956, № 3.

В последние годы у нас появилось много статей, посвященных проблеме слова, проблеме значения и понятия, но, к сожалению, большая часть этих статей оторвана от конкретного научно-исследовательского опыта, приобретенного в работе над изучением лексики того или иного языка в ее развитии, а также закономерностей истории семантического строя родственных и неродственных языков. Необходимо всячески поощрять углубленные, аналитические исследования как семантической структуры слов современного русского языка во всем многообразии их употребления, так и сложных, разветвленных связей и взаимодействий семантических рядов слов в общей лексической системе данного языка. Самая методика выделения значений слова и их определения остается мало разработанной. В толковых словарях русского языка наблюдаются многочисленные недостатки и ошибки в определении значений слова, в принципах их разграничения, в характеристике форм и способов их связи, в анализе правил их фразеологической сочетаемости, в их стилистической квалификации.

Вот несколько наиболее типичных и показательных иллюстраций из вышедших томов Академического словаря:

а) В слове *бюст* выделяются два значения. Первое определяется так: «Скульптурное изображение верхней части человеческого тела, т. е. головы, шеи, плеч и части груди... *алебастровые бюсты великих гениев*». Второе значение формулируется на основе первого: «Верхняя часть человеческого тела до пояса». Но формулировка этого значения — неопределенная и неточная — явно противоречит смыслу тут же помещенных примеров его употребления. Из романа Гончарова «Обломов»: *Платье на ней* [Пшеницыной] *сидело в обтяжку. От этого даже и закрытый бюст ее, когда она была без платка, мог бы послужить живописцу или скульптору моделью крепкой, здоровой груди, не нарушая ее скромности* (Акад. словарь, т. I, стр. 735—736). Ср. франц. *buste* «бюст, грудь», нем. Büsthalter. «Бюстгальтер... Нательный женский лифчик; бюстодержатель» (там же).

б) При определении значения глагола *брезжить* в личном употреблении отсутствует указание на ограниченность семантической группы слов (*утро, заря, ввезда, свет, рассвет, огонек*), с которыми только и возможно сочетание личных форм данного глагола. Поэтому и самая характеристика значения становится неточной и сомнительной: «Светать, распространять слабый свет в начале утра (перед восходом солнца, при заре)» (т. I, стр. 623). Здесь явно смешаны личное и безличное употребление глагола (хотя внешне они разделены). Вслед за этим отмечается «распространительное» применение глагола *брезжить*: «о слабом, мерцающем свете вообще». Все это дает лишь очень приблизительное представление и о значении, и об употреблении глагола *брезжить*. Так, характерно, что в значительной части иллюстраций из художественной литературы глагол *брезжить* последовательно сочетается с наречиями степени: *чуть, чуть-чуть, чуть еще, еще чуть* и т. д. С другой стороны, такие фразеологические сочетания, как *брезжит в поле огонек* (Жук. Светлана), *И звездочки в дали небесной брезжут* (Жук. Деревенский сторож) всегда предполагают особый контекст, особую ситуацию. Так, у Пушкина в «Песнях западных славян» (Янко Марнавич):

Вижу, вон, малый огонечек
Чуть-чуть брезжит в темноте за рекою.

Ср. у Чехова в «Степи» *брезжится* как синоним *брезжит*: *А ночь была темная, зги не видать, хоть не гляди вовсе. Прошелся я этак немножко... и вижу — огонь брезжится.*

в) В глаголе *выживать* Академический словарь выделяет четыре значения, однако связь их друг с другом остается непонятной и неоказанной. Прежде всего возникает сомнение, не составляет ли *выживать—выжить* в четвертом (переходном) значении: «заставлять уйти откуда-либо; удалять, причиняя неприятности, преследуя», особого слова—омонима. Например: *Она мне уже давно надоела; я все не знала только, как ее выжить из дома.* А. Остр. Лес... *Несчастный* [Ибрагим] *отдал бы все на свете, чтоб только остаться с нею наедине; но граф Л., казалось, расположился у камина так спокойно, что нельзя было надеяться выжить его из комнаты.* Пушк. Арап Петра В. Трудно представить себе, какие семантические нити связывают это значение, например, с предшествующим (по порядку) непереходным значением *выжить* «остаться в живых (после тяжелой болезни, ранения и т. п.)». Примеры: *Кто бы мог сказать, что он* [Корчагин] *выживет? А он, смотрите, выцарапался в жизнь. Удивительно крепкий организм.* Н. Остр. Как зак. сталь.

И могу вам сообщить
Из своей палаты,
Что, большой любитель жить,
Выжил я, ребята.

(Твард. Василий Теркин)
(т. II, стр. 1031—1032).

Да и вообще связь и порядок значений в глаголе *выживать*, как они изображаются в Академическом словаре, не мотивированы и непонятны. В самом деле, с первого

взгляда представляется, что составители предпочли и выбрали исторический или генетический порядок размещения значений. На первое место выдвинуто малоупотребительное в современном литературном языке значение (переходное): «прожить известное время»: [Райский] *редко полгода выживал в Петербурге с тех пор, как оставил службу.* Гонч. Обрыв... *Вернувшись из-за границы, он* [Павел Петрович] *отправился к нему* [брату] *с намерением погостить у него месяца два, полюбоваться его счастием, но выжил у него одну только неделю.* Тург. Отцы и дети. Однако ни стилистической квалификации этого значения (по сравнению со словом «прожить» оно—разговорное и несколько ироническое) ни примеров его употребления в современном русском языке нет. Грамматическая помета этого значения как «переходного» сомнительна. Ведь, кроме обстоятельственного сочетания с винительным времени, глагол *выжить* в этом значении не допускает никаких иных объектов. Далее идет характеристика второго значения (переходного) (синонимического с *пережить*?): «Перенести, вытерпеть что-либо за время житья где-либо, в каких-либо условиях». Единственный пример: *Горелкину удалось выжить, преодолеть все испытания плена и сохранить энергию и волю.* Б. Полев. Земляк. Пример — не из удачных, так как *выжить* здесь можно понять и в смысле «остаться в живых, сохранить жизнь». Да и сфера применения этого предполагаемого значения не раскрыта. Других иллюстраций нет. Сопоставление с другими толковыми словарями современного русского языка внушает очень большие сомнения в существовании этого значения. Так или иначе с данным значением, если бы оно существовало, пришлось бы связать энантиосемическое (просторечное): «приобрести что за время житья где-либо; выслужить, нажить». Пример из сочинений Ф. Решетникова: *Што она в городе-то выживет? чему научится? Еще пожалуй пельменницей, али калашницей сделается* («Тетка Опалиха»).

Менее ясен и мотивирован переход к следующему (3-му) непереходному значению: «Остаться в живых (после тяжелой болезни, ранения и т. п.)». Это значение скорее связывается с первым, чем со вторым. Но уже совершенно непонятны мотивы выделения в этом третьем значении такого фразеологически обусловленного оттенка: «Утратить умственные способности от старости, одряхления». И далее: «В выражениях. В ы ж и т ь из ума, из памяти — потерять память, способность соображения; впадать в детство». Так, у Ф. М. Достоевского в «Дядюшкином сне»: *Старичок, если и не выжил еще из ума, то давно уже выжил из памяти и поминутно сбивается, повторяется и даже совсем завирается.* Точно так же не имеет прямой связи с значением «остаться в живых» и выражение: «выжить из лет». Например, *Я выжил из тех лет, когда умирают, произнося имя своей любовной и завещая другу клочок напомаженных или ненапомаженных волос.* Лерм. Кн. Мери.

г) Некоторой параллелью к этой ассоциативно-произвольной семантической обработке глагола *выживать* может служить статья о слове *вымахивать*. И тут объединяются три совсем разных значения: Первое (переходное)—«махая, выгонять». Иллюстрация—из «Семейной хроники» С. Т. Аксакова: *Вымахали мух из полога, опустили его над дедушкой, подтыкали кругом края под перину.* Сюда же почему-то относится и такой оттенок значения: «выбрасывать стремительно, выпускать разом (о паре, даме и т. п.)». Например: *Вдруг пароход звучно загудел над самым ухом Русанова, весело вымахнув кверху высокую струю пара.* Златовр. Скиталец (т. II, стр. 1103). Но можно ли *вымахать* и *вымахнуть* рассматривать как формы одного и того же глагола (ср. *выбросать* и *выбросить*, *вытолкать* и *вытолкнуть* и т. п.)? Еще хуже дело обстоит с характеристикой второго значения, которое признается одновременно и переходным и непереходным. В нем будто бы сочетаются два таких разных значения или оттенка значений: 1) «выхватывать с размаху» (*Петр вымахнул из горна пудовые клещи...* А. Н. Толст. Петр I) и 2) «стремительно выбегать, выезжать откуда-, куда-либо» (*Из лесу вымахнули четыре всадника...* Шишк. Ем. Пугачев; *... переехали речку в брод. Молодец лорд Байрон, так и вымахнул на крутой берег.* А. Н. Толст. Детство Никиты).

Очевидно, «второе» значение, вернее, «вторые» значения относятся только к глаголу *вымахнуть*, глагол же *вымахать* этих значений не имеет. Таким образом, незаметно смешаны или, вернее, перемешаны два различных слова и их значения. Что же касается третьего значения («просторечного»): «вырастать, становиться высоким», то оно связано с глаголом *вымахать*. При этом не вполне ясно, можно ли объединить это значение с первым значением *вымахать* («махая, выгонять») в одном слове. Например: *А как вырос!.. Какие дубы вымахали! — говорил Мартемьянов, озираясь вокруг потеплевшими глазами.* Фадеев, Посл. из удэге[1]. Итак, перед нами если не три, то во всяком случае два совсем разных глагола.

Естественно возникает законный вопрос: почему до сих пор у нас нет таких исследований по русскому глагольному словообразованию, в которых были бы выяс-

[1] Необходимо отметить, что в «Словаре русского языка, сост. Вторым отд-нием Имп. Акад. наук» (т. I, [под ред. Я. К. Грота], СПб., 1895, стр. 646) было указано еще одно значение глагола *вымахать*: «маханием приводить в ослабление руки, ноги или крылья. *Бросая камни, вымахал руку* (ослабил или даже вывихнул). *Голубь вымахал крылья от долгого летания*».

нены связи и соотношения разных функций той или иной приставки в сочетании с одной и той же глагольной основой, с разными структурно-семантическими типами глагольных основ. Изучение этой проблемы имеет первостепенное значение для определения способов и закономерностей деривации глагольных основ. От решения данного вопроса зависит также понимание некоторых тенденций развития омонимии в системе производных глаголов с приставками в современном русском языке. Наконец, на этом же пути можно найти объяснение господствующих в современном русском языке приемов и принципов связи, взаимодействия и соотношения разных значений в семантической структуре глаголов, произведенных посредством приставок.

д) У глагола *выговаривать* в Академическом словаре отмечены три значения (первое—«высказывать», второе — «поставить условием, оговорить, что-либо в свою пользу при договоре, сделке и т. п.» и третье—«делать упрек... выговор»). Сразу же бросается в глаза, что видовые различия глагола при формулировке его значений игнорируются. Так, первое значение выражается при помощи глаголов несовершенного вида: «произносить, выражать словами что-либо, высказывать». В соответствующих формах приводится и фразеология: *выговаривать мысль, правду* и т. п., *выговаривать все до конца* и т. п. (но *выговорить слово, выговорить свою душу*). Не подлежит сомнению, что в Академическом словаре недостаточно четко разграничены два оттенка или аспекта этого значения у глагола *выговаривать*: «высказывать, выражать слова» и «передавать что-нибудь посредством разговорной звучащей речи с теми или иными качественными своеобразиями акцента, произношения». Пример из «Северных повестей» К. Паустовского: [Мари], *видимо, с трудом подбирала слова и выговаривала их с сильным акцентом* — должен быть помещен рядом с цитатой из Лажечникова («Немного лет назад»):]Француз де Гобуа] *изъясняется посредственно и по-русски, хотя и с иностранным акцентом и старанием выговаривать слова грамматически, по-книжному.*

Второе значение у глагола *выговаривать — выговорить* определяется при помощи глаголов совершенного вида («поставить условием, оговорить что-либо в свою пользу при договоре, сделке и т. п.»), хотя среди иллюстраций его употребления встречается и форма несовершенного вида (см. приведенную в Словаре цитату из романа Мельникова-Печерского «В лесах»).

Третье же значение: «выговаривать кому-либо — делать упрек, замечание, выговор кому за что-либо» — вообще свойственно лишь формам несовершенного вида. Естественно возникает вопрос, не связано ли оно с омонимом, с особым словом *выговаривать*, соотносительным с именем существительным *выговор* (ср. выражения: *делать — сделать выговор* и *получать — получить выговор*). Вместе с тем при наличии синонимического параллелизма *выговаривать — делать выговор* нельзя не подумать и о стилистической оценке устаревающего разговорного глагола *выговаривать*. Ср. у Пушкина в «Капитанской дочке»: *Марья Ивановна с нежностью выговаривала мне за беспокойство, причиненное всем моею ссорою с Швабриным*, и у Б. Полевого в «Повести о настоящем человеке»: *Стручков выскочил из кабины возбужденный, ликующий... — Не машина — скрипка, ей богу скрипка,— шумел он, перебивая инструктора, выговаривавшего ему за лихачество* (т. II, стр. 990—991).

Естественно, что и под словом *выговор* также механически объединяются два слова-омонима: 1) *выговор* — «манера, способ произношения...» («украинский выговор», «хороший французский выговор», «пермский выговор», «недостаток в выговоре») и 2) *выговор* — «упрек, замечание, внушение» («выговор с предупреждением», «сделать строгий выговор» и т. п.).

Ошибки, типичные для толковых словарей русского языка при определении глаголов префиксального образования, углубляются тем обстоятельством, что у нас нет исследований по вопросу о соотношении и взаимодействии приставочно-глагольного и такого же отглагольно-именного словообразования. Так, например, в Академическом словаре у глагола *заговаривать* (в отличие от омонима *заговаривать*: «пробовать говорить, пытаться заводить разговор») отыскиваются два значения:

Первое — «утомлять, доводить до отупения продолжительным разговором, беседой». При таком значении у глагола *заговорить—заговаривать* явно выделяется словообразовательная приставка *за-*. Так, у Пушкина в письме к брату (от 30 января 1823 г.): *Прощай, душа моя! если увидимся, то-то зацалую, заговорю и зачитаю*. Второе значение—«воздействовать на кого-, что-либо силой заговора с лечебной или иной целью (устар. быт.)». Это значение соотносительно с существительным *заговор*: например, *заговаривать кровь, зубную боль* и т. п. Очевидно, *заговорить — заговаривать* в этом значении и по своему морфологическому составу, словообразовательному строю и по смысловой структуре резко отличается от первого *заговорить — заговаривать* («довести до отупения разговором») и может рассматриваться только как его омоним. Очень показательно, что в Академическом словаре сделана своеобразная попытка связать или слить эти два омонима в одно слово при помощи примеров их каламбурного столкновения или сцепления, извлеченных из «Былого и дум» Герцена и «Доброго старого времени» Д. Н. Мамина-Сибиряка. У Мамина-Сибиряка читаем: *Он пустил в оборот тот бессмысленный набор фраз, какими утешают плачущих женщин. Женщины лю-*

бят, чтобы их так заговаривали, а смысл — это другое дело. У Герцена: *Гладстон заговаривал целые парламенты, университеты, корпорации, депутации, — мудрено ли было заговорить Гарибальди* (т. IV, стр. 351—352).

Не заметив каламбурной направленности этого словоупотребления (тут *заговорить — заговаривать* каламбурно совмещает и значение «довести до бесчувствия длинной речью, беседой» и значение «околдовать, подействовать силою заговора»), составители IV тома Академического словаря сочинили новое значение слова *заговаривать*: «влиять силой речи на кого-либо, восхищая, убеждая и т. п.» (стр. 352). Комическая серьезность этого достижения трогает, но не убеждает. Она лишь демонстрирует слабость лексикографической практики, не опирающейся на надежное, тщательно разработанное семантическое учение о слове и законах словообразования.

В основе других существенных недостатков Академического словаря лежит смешение, неразличение разных типов значений и — как следствие этого — включение фразеологически замкнутых употреблений слова в систему его основных значений. Так, в слове *дело* выделено значение четвертое: «надобность, нужда» (т. III, стр 678). Отмечается притом, что это значение чаще реализуется в формах множественного числа. Но иллюстрируется оно лишь двумя совсем разнородными выражениями: *по делам службы* и *всем дело до меня*. В числе тех фразеологических оборотов, которые связываются с этим значением, нет ни одного, в котором слово *дело* стояло бы в формах множественного числа (*по делу, есть дело, нет дела, что за дело кому до кого-, чего-либо* и т. п., *не твое, не ваше дело* и др. под.). Само собой разумеется, что слово *дело* не имеет значения «надобность, нужда». Здесь речь может идти о замкнутых фразеологических сочетаниях и о смысловых своеобразиях употребления слова *дело* в этой ограниченной сфере устойчивых выражений.

Полная неразбериха как следствие механического распределения таких и всяких иных фразеологических оборотов по разным значениям слова особенно наглядно обнаруживается в семантической характеристике глагола *взять*. Здесь к прямому конкретному значению этого слова (значение первое) отнесены такие выражения, как «взять аккорд», «взять ноту», «взять галопом», «взять с места в карьер» и др. под. Со значением (вторым) «задержать, арестовать» почему-то связывается фразеологически обусловленный оттенок: «овладеть, охватить» (о душевных переживаниях). *Взял страх кого-либо* (о сильно испугавшемся). *Взяло любопытство. Но когда он возвращался с кладбища, его взяла сильная тоска.* Чех. Скрипка Ротш. *Сидеть все одной, от раннего утра до поздних сумерек, ведь этак и одурь возьмет, — день-деньской за веретеном...* Загоск. Аск. могила. *Зло взяло Комара: обиды не стерпев, Собрался, поднялся Комар на Льва войною.* Крыл. Лев и Комар.

Под значение (четвертое): «Завладеть чем-либо, завоевать, покорить, захватить что-либо силой» подведены формы: «Взять себя в руки — овладеть собою... взять свое (*болезнь взяла свое*), взять силу (*Лисицы мнение в совете силу взяло*)» и др. под.

К значению (восьмому): «принять к себе» отнесены такие фразеологические обороты, как *взять в соображение, в расчет, во внимание* и т. п., *взять в толк, взять моду, привычку, взять терпение* и т. д. (т. II, стр. 332—344).

Трудно во всем этом найти следы или отражения какой-нибудь фразеологической теории. Изучение фразеологической системы русского языка, а также типов и разновидностей устойчивых фразовых сочетаний в нем еще находится в самом зародыше. В теории русской лексикографии не сложилось еще никаких твердых принципов ни детальной классификации фразеологизмов, ни семантического исследования их структур. Можно с сожалением, но с полным основанием заявить, что в этой сфере лексикографическая практика не только не содействует углубленному анализу возникших вопросов, но даже — сознательно или бессознательно — своей научной необоснованностью, своими колебаниями, своей бессистемностью лишь тормозит дальнейшую разработку проблем русской фразеологии.

II

В первых трех томах Академического словаря ясность семантической перспективы в изложении связи и соотношений значений слова очень страдала от «гнездового» расположения слов. В этом случае не только легко сливались и объединялись омонимы, но и производные от них слова смешивались в беспорядочную груду. Например, в словаре разграничиваются два омонима: *вываливать — вывалить* и *вываливать — вывалять*. Но остается неясным, почему в этом последнем слове объединены два значения, между которыми нет ничего общего: *вываливать—вывалять* обозначает и «выделывать, вырабатывать что-либо из шерсти, ваты и т. п. посредством валяния; валять, сбивать» и «валяя пачкать, марать в чем-либо». Ср. *вывалять несколько пар сапог* и *вывалять в грязи, в пыли* и т. п. Очевидно, и тут надо разграничить два омонима. А все это, естественно, должно было найти отражение и в картине словопроизводства, в представлении словарных «гнезд».

Точно так же и в глаголе *вывалить—вываливать* едва ли в современном языке могут быть объединены значения «вывалить из телеги, саней, тачки, корзины снег,

мусор, дрова и т. п.», *вывалить седока* и т. д.,с одной стороны, — и, с другой: *пестрая ревущая толпа... вывалила из переулка*; ср. *вывалил снег* и т. п. (т. II, стр. 962—963).

Легко увидеть еще больше несообразности и чисто механического сцепления слов и значений при обращении к «гнездам» таких слов, как *выставлять*, *выступать*, *выпадать* и мн. др.

В IV томе Академического словаря как будто с определением основных «номинативных» значений слова дело обстоит несколько благополучнее, чем в предшествующих томах. Правда, и тут иногда (но не так часто) встречаются случаи нечеткого разграничения значений и расплывчатого их описания — вместо определения. Например, в глаголе *заскакивать* выделяются четыре значения вместо двух основных. Первое значение — «скачком, прыжком вскакивать на что-либо, проникать куда-либо»: *Егерев сын... подсупонил лошадь и на ходу заскочил в передок*. Леон. Скутаревский. То, что в Академическом словаре помещается под вторым и четвертым значениями, является только оттенками или вариациями этого основного значения. В самом деле, так называемое второе значение отличается от первого только расширенным пониманием «скачка» или «прыжка». Это значение в Академическом словаре формулируется так: «быстрым движением оказываться где-либо». Формулировка — явно неудачная и в стилистическом, и в семантическом отношениях. Если первое значение состояло в том, чтобы «скачком... вскакивать и проникать куда-нибудь», то и это «второе» выражает то же самое: «скачком или вообще стремительным, быстрым движением проникать куда-нибудь» (*Ерошка, увидав Герасима, заскочил за угол...* Тург. Муму. *На этот раз два танка прорвались и заскочили во двор дома* Симон.Дни и ночи).В просторечно-ироническом употреблении *заскочить* значит также: «ненадолго забежать, зайти куда-нибудь» (*в обеденный перерыв заскочить домой*).

Не подлежит сомнению, что и так называемое «четвертое» значение "«соскакивая с места, зацепляться за что-либо» определено неточно (пример:*пружина заскочила за зубец*). Ведь в самом слове *заскочить* (если не смешивать значение слова с конкретными действиями, которые могут им обозначаться) нет никакого указания на «зацепление» или «уцепление». Значение «заскочить» здесь такое: «соскакивая или скачком переместиться куда-либо». Это — специализированное применение того же первого значения. Третье значение заключает в себе новое смысловое «качество»: «забегать, опережая кого-либо» ... *Свой разъезд тут орудовал. Они раньше нас заскочили*. Н. Остр. Как закалял. сталь (т. IV, стр. 897—898).

Естественно, что такая неопределенность в различении значений глагола *заскочить* не могла не отразиться и на семантической обработке отглагольного существительного *заскок*. В слове *заскок* разграничиваются два значения: первое — «заскакивание, забегание». Приводится пример из «Воспоминаний» А. А. Рылова: *Полуграфический, полуживописный характер имела мастерская профессора Аппенкова с некоторым заскоком в левизну*. В этом примере, конечно, слово *заскок* употреблено не в прямом, а в переносном значении. Тем более неясным становится определение второго значения: «*Ирон.* Небольшое отклонение от нормы поведения; вывих». В качестве иллюстрации помещена цитата из «Автобиографических записок» А. Остроумовой-Лебедевой, противоречащая прямому смыслу определения значения (если не относить и мысли к поведению): *Когда я заявила Александру Николаевичу, что в конце-концов не люблю Художественного театра, не люблю Чехова, он рассердился на меня не на шутку и заявил, что у меня в голове заскок, провал, что я ничего не понимаю* (т. IV, стр. 899)[1].Чем *заскок* похож на *вывих* и как понимать конкретный смысл «небольших отклонений от норм поведения», остается загадочным.

Недостатки и ошибки в дифференциации значений слов и их оттенков, в их семантической характеристике во многом зависят от самой техники и методики лексикографической работы. В настоящее время в русской лексикографической практике господствует принцип обособленного рассмотрения лексических единиц; работа ведется от слова к слову «по соседству». Семантическая обработка отдельных слов происходит изолированно — без учета их соотношения и связи с семантически близкими словами и лексическими группами. Принимаемое на веру положение о системном характере словарного состава языка нисколько не влияет на направление и характер лексикографической практики. Отсутствие глубоких самостоятельных исследований, посвященных семантической системе современного русского языка в целом и в отдельных ее структурных элементах и компонентах, а также русской синонимике, трагически отражается на работе наших лексикографов. У них нет необходимых обобщающих руководств и конкретно направляющих справочников. Поэтому в описаниях отвлечен-

[1] В «Толковом словаре русского языка», под ред. Д. Н. Ушакова, это значение определяется так: «Временное затмение ума, порождающее какой-нибудь необъяснимый поступок, какие-нибудь странности (фам. ирон.)» (т. I, М., 1935, стр. 1030). В однотомном «Словаре русского языка» С. И. Ожегова (М., 1952, стр. 191):« Заскок... (разг. неодобр.). Ненормальность, крайность, странность».

ных, вторичных значений соотносительных или семантически связанных слов наблюдаются стандартные повторения и искажения, обессмысленные тавтологии и формальные отписки. Вот несколько примеров из IV тома Академического словаря.

В слове *жанр* вслед за основным искусствоведческим значением второе, интеллигентски-бытовое, определяется так: «манера, стиль». Например, «легкий жанр». У Салтыкова-Щедрина в «Господах Головлевых»: *Любинька мастерски спела куплеты... и всех сразу убедила, что это настоящий ее жанр* (т. IV, стр. 28). Само собой разумеется, что то же определение можно найти в толковых словарях русского языка под редакцией Д. Н. Ушакова и С. И. Ожегова. Если обратиться к слову *живопись* в том же Академическом словаре, то одно из его значений — третье — окажется тождественным второму значению слова *жанр*: «характер художественного изображения: манера, стиль, жанр и т. п.». Иллюстрация из пушкинского «Выстрела»: *В картинах я не знаток, но одна привлекла мое внимание... Но поразила меня в ней не живопись, а то, что картина была прострелена двумя пулями* (т. IV, стр. 118). Совершенно очевидно, что ни синонимического параллелизма, ни совпадения значений — вопреки свидетельству Академического словаря — тут нет.

Отсутствие ясного понимания разных видов значений и употреблений слов ярко выступает в смешении значения слова и функционального употребления его в качестве условного названия чего-нибудь. Например, в слове *жизнь* выдвигается такое значение (четвертое): «рассказ о чьей-либо жизни, описание ее; биография». Это значение иллюстрируется тремя примерами, из которых два указывают лишь на то, что слово *жизнь* нередко применяется как заглавие автобиографических очерков (*Жизнь замечательных людей, Жизнь Дмитриева*). Следовательно, здесь дело идет лишь о метонимическом словоупотреблении (ср., например, «Смерть Ивана Ильича», «Дни нашей жизни» и т. п.). Что же касается третьего примера из статьи В. В. Стасова о скульпторе Антокольском, то тут слово *жизнь* выражает свое прямое, исходное значение. Тут читаем: *На мне лежит обязанность в ближайшем времени снова, после его слишком раннего конца, рассказать его жизнь* (т. е. о его жизни. — *В. В.*) *и рассмотреть его создания* (т. IV, стр. 145).

Особенно остро недостатки семантической характеристики слова ощущаются в определениях вторичных, переносных или фразеологически связанных значений и оттенков слов. Например, переносно-разговорное значение слова *жеваный* определяется так: «потерявший свежий вид». Определение — расплывчатое, очень далекое от непосредственных смысловых оттенков слова («как будто подвергшийся жеванию, сильно подержанный, помятый»). Иллюстрации не подтверждают определения: [Дорожная провизия] *через две станции никуда не годится, потому что мясо приобретает какой-то жеваный вид, яйца скатываются в лепешку.* Мам.-Сиб. На месте преступ. *Повеленевшие, жеваные шинели висели на людях, как на вешалках.* Федин. Я был актером.

Еще более отдаленно и неправильно сформулирован оттенок этого значения, характерный для сочетаний слова *жеваный* с обозначениями отвлеченных понятий («избитый, затасканный»): *И очень радуюсь, что нарождаются «новые люди», с «новыми» мыслями. Так старье надоело! Все — поучения, жеваная добродетель, отсутствие свободы и смелости.* А. К. Лидов. Из писем, 19 мая 1907 (т. IV, стр. 49).

Само собой разумеется, что и в Академическом словаре почти совсем отсутствуют попытки очертить круг фразеологической сочетаемости связанного значения. Например, в слове *живость* выделяются два качественных значения (третье и четвертое): «точность, отчетливость, ясность» и «острота, сила, яркость». Мотивы и признаки разграничения этих значений *непонятны, иллюстрации не выражают и не отражают этой дифференциации.* Так, значение «точность» усматривается в такой фразе из «Анны Карениной» Льва Толстого: *Поиграв несколько времени, Левин вдруг с необыкновенною живостью вспомнил Кити, ее отказ и последнюю встречу* (т. IV, стр. 120).

Одно из значений слова *значительный* было всяких пояснений и ограничений приравнивается к значениям слова *выразительный*. Ср., например, у Льва Толстого в «Анне Карениной»: *Что вам, Агафья Михайловна? — спросила вдруг Кити остановившуюся с таинственным видом и значительным лицом Агафью Михайловну* (т. IV, стр. 1302). Понятно, что ясному и последовательному изложению связи и соотношения значений в семантической структуре слова мешает типичное для Академического словаря столкновение и беспринципное смешение нормативной и исторической точек зрения. В самом деле, Академический словарь ставит своей задачей — воспроизвести и отразить развитие словарного состава русского литературного языка с пушкинской эпохи вплоть до современности. В «Предисловии» к IV тому (стр. IV) говорится о неправомерности пресловутого «обратного хронологического порядка» в размещении значений и иллюстративного материала, заявляется о том, что «мнимое „осовременивание" Словаря находится в прямом противоречии с самим ходом развития литературного языка», что «иллюстративный материал, начиная с четвертого тома, будет располагаться в нормальном хронологическом порядке, т. е. от Пушкина к писателям более поздней поры». На самом же деле в IV томе Академического словаря очень часто наблюдается искажение исторической перспективы в развитии значений слова, смешение старых зна-

чений с новыми. Например, в слове *закраина* вслед за основным значением «край, кромка» идет не непосредственно связанное с ним значение «лед, примерзший к берегу», а дальнейшее метонимическое расширение этого значения: «скопление талой воды между берегом и краем льда на реке, озере и т. п.; заберег». Любопытно, что среди иллюстраций помещена цитата из сочинений С. Т. Аксакова, в которой указывается ход развития значений у слова *закраина*: *Закраиною называется лед, примерзший к берегу, а не расселина между льдом и берегом* (т. IV, стр. 565).

В слове *закутить* не выделено устарелое, существовавшее до середины XIX в. значение: «начать вести беспорядочную, разгульную, бесшабашную жизнь». Между тем сюда относится пример из «Мертвых душ» Гоголя: *Помещики попроигрывались в карты, закутили и промотались как следует.* Тут, конечно, речь идет не только о пьянстве (т. IV, стр. 596) . Ср. у Пушкина в «Капитанской дочке»: *Закутим, запьем и ворота запрем.*

В описании значений слова *жертва* (т. IV, стр. 88—90) одно из основных (2-е) значение характеризуется так: «Действие по 1-му знач. глаг. жертвовать». Между тем это значение глагола *жертвовать* («совершать жертвоприношения божеству») в самом словаре квалифицируется как устарелое (стр. 92). Оно иллюстрируется примерами из сочинений Батюшкова и Пушкина:

Где храбрый ликовал с дружиною своей,
Где жертвовал вином отцу и богу брани...
(Батюшк. На развал. замка в Швеции)

Мой друг Морфей, мой давный утешитель,
Тебе всегда я жертвовать любил,
И ты жреца давно благословил
(Пушк. Сон)

Пример из Лермонтовской «Думы», несмотря на наличие той же синтаксической конструкции, связан с несколько иным значением («приносить жертвы, дары, поступаться чем-нибудь»):

И ненавидим мы, и любим мы случайно,
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви.

Таким образом, определение значения *жертвы* (= *жертвоприношение*) через *жертвовать* для современного языка нецелесообразно и ошибочно (ср. такое же определение слова *жертвование*). *Жертва* и *жертвование* — не идентичны. Ср. у Гл.Успенского в «Отцах и детях»: *Жертвы эти шли каждый год, пока не настали новые времена, не дозволявшие никаких жертвований за отсутствием жертвуемого* (стр. 91).

В слове *жолнер* утверждается ударение последнего слога (*жолнёр*). Между тем само определение первого значения («польский ратник») и пример из «Дмитрия Самозванца» А. Н. Островского (*Случись еще подобная тревога, И ждолнерам стрелять велю*) показывают, что нормой для употребления слова *жолнер* (в первом значении) должна быть форма *жóлнер*. Так называемое «второе значение», связанное с формой *жолнёр*, является результатом контаминации со словом *жалонёр* (франц. *falonneur*) (т. IV, стр. 181). Таким образом, в данном случае мы имеем дело с историческим взаимодействием разных, хотя и близких по звучанию слов, с взаимодействием, приведшим к своеобразной омонимии, а затем, повидимому, и к частичному слиянию омонимов. В Академическом словаре антиисторизм в подходе к словарному материалу сказался в резком искажении семантической перспективы. Нельзя не отметить того же антиисторизма в семантической обработке слова *железка* (т. IV, стр. 57).

В этом слове признаются три значения: первое — «железная пластинка, железный стержень»; второе — «железная дорога» (простореч.) и третье — «азартная карточная игра» (устар.). Но совершенно ясно, что эти значения ни исторически, ни генетически не связаны одно с другим. *Железка* как название карточной игры возникает для перевода франц. *chemin de fer* — на основе ранее возникшего лексического эквивалента словосочетания *железная дорога*. Антиисторизм привел в данном случае составителей Академического словаря к смешению омонимов.

Таким образом, на качестве Академического словаря сильно сказывается антиисторизм, состоящий здесь то в априорном осмыслении старых или устаревших значений слова с точки зрения их возможного современного понимания, то в механическом объединении или разделении форм и слов — вне исторической перспективы их развития. Составление словаря современного русского языка очень затруднительно в таком отрыве от истории словарного состава русского языка, по крайней мере XIX и XX вв. А эта история еще не воспроизведена полностью и во всех своих закономерностях. Вот показательный пример. В новом Академическом словаре вслед за прежним, составлявшимся под редакцией акад. А. А. Шахматова[1], обособлены в особое слово формы

[1] «Словарь русского языка, сост. Вторым Отд-нием Имп. Акад. наук», т. II, СПб., 1907, стр. 317.

множественного числа *железы* с устарелым значением «оковы, кандалы». Например, в стихотворении Огарева, посвященном Михайлову:

Закован в железы с тяжелою цепью,
Идешь ты, изгнанник, в холодную даль.

Между тем связь этих форм со словом *железо* не только исторически бесспорна, но и непосредственно ощутима в силу общности образного применения и фразеологических связей. Например, *железо* в значении «железные доспехи воина» сочетается с тем же глаголом *заковать*. У Жуковского в «Орлеанской деве»:

Надеть должна ты латы боевые,
В железо грудь младую заковать (т. IV, стр. 60—61).

А у Л. Толстого в сказе «Вражье лепко, а божье крепко» встречается выражение *заковать в железо* в том же значении, как и *заковать в железы*: *Закуют его в железо или в темницу посадят.*

III

Среди основных вопросов теории лексикографии один из важнейших — вопрос о семантических границах слова, вопрос об омонимии. Проблема омонимии, как это легко увидеть из сопоставления разных толковых словарей русского языка, из сравнения их отношения к омонимам, из их колебаний в этом отношении — камень преткновения для наших лексикографов. В русской лексикографической практике разграничения омонимов нет последовательности, но нет также и глубоко осмысленных в лингвистическом плане противоречий. Тут царит случайность. Теоретические основы учения об омонимии пока еще не разработаны. Между тем в самом русском языке наблюдаются строгие закономерности соотношений у омонимов с непроизводными основами, свойственные разным частям речи, и не менее строгие законы образования и структуры омонимов среди производных слов, относящихся к разным частям речи.

В Академическом словаре, между прочим и в IV его томе, с вопросом о разграничении и выделении омонимов дело обстоит неблагополучно. Несомненно, что основными способами определения омонимов в лексикографической практике должны быть признаны три: историко-лексикологический (включая сюда и историко-этимологический), морфолого-словообразовательный и структурно-семантический (включая сюда и грамматический). С каждым из этих способов связаны своеобразные критерии узнавания омонимов и различения их структурных типов.

Историко-лексикологический принцип выделения омонимов опирается не только на исторические законы словообразования, присущие тому или иному языку, но и на данные истории, а иногда и этимологии соответствующих слов. Так, в Академическом словаре слово *законник* описывается следующим образом: «1. Хороший толкователь или исполнитель законов... *Он у нас тут тоже за ученого слывет... Законник... Он знает все русские законы.* М. Горький, Вар. Олесова. 2. Старинное название собрания, свода законов...» (т. IV, стр. 547).

Совершенно ясно, что здесь неправильно объединены два разных слова, отличающиеся друг от друга не только способом словообразования (*законник* в значении лица соотносительно с *законный*; ср. *пустынник*, *равбойник*, *частник* и т. п., а слово *законник* — свод законов соотносительно с *закон* и сочетании с собирательным значением суффикса *-ник*: *цветник*, *виноградник* и т. п.), но и своей историей, своим происхождением и употреблением. Эти два слова генетически не связаны, не ответвились одно от другого и принадлежат к разным лексико-семантическим категориям языка.

Еще пример. Слово *залетный* в Академическом словаре снабжается двумя значениями: «1. Прилетевший из другого места, обычно случайно или ненадолго. *Залетная певица, птичка юга.* Лерм. Аул Бастунджи... *залетная шальная пуля...* Гарш. Трус. 2. *Просторечие* Лихой, удалой... *И птицей несется залетная тройка...* Никит. Ночлег извозч. || Высокий. О голосе... *Попробовал голос Егоркин Сергей Иванович, говорит: — Голос у тебя залетный, ты мне пригодишься.* Новор. Шкробы» (т. IV, стр. 610). Сразу видно, что одно значение не выводимо из другого. Оба они не связаны друг с другом соотношениями основного и производного, первичного и вторичного, переносного и т. п. Больше того: *залетный* в первом, относительном значении явно восходит к глагольной основе, к глаголу *залетать* (к глаголу *залетать*—*залететь* в значении «улетать высоко» восходит и *залетный голос*), второе — качественное — связано с своеобразным народным (областным) значением слов: *залет*, *налет*. Ср. *залет* — «хват, удалец... кутила, сорви-голова»[1].

Морфолого-словообразовательный принцип узнавания и выделения омонимов состоит в определении тождества или резкого различия морфологической структуры

[1] «Словарь русского языка, сост. Вторым Отд-нием Имп. Акад. наук», т. II, стр. 1324.

слов, представляющих собою однозвучные фонетические единства. Например, в Академическом словаре глагол *варябить* в переходном и непереходном значениях рассматривается как единое слово. В нем отмечаются два лексических значения: «1. *Перех.* Покрыть рябью, сделать рябым. *Тропки на базарной площади протоптал этот народ, лаптями своими широкими всю ее варябил.* Левит. Накануне христ. дня... *Дружный ветер пронесся откуда-то и ринулся на поле... Трепетные волны расползались по полю и варябили его.* Эртель. Зап. Степняка... 2. *Неперех.* О появлении ряби, неровностей на поверхности. *Безл. Начал накрапывать дождик, и по озеру варябило.* Леск. Овцебык». Сюда же: «Зарябйт. зарябйло в глазах...» (т. IV, стр. 868).

Между тем здесь, несомненно, два разных слова-омонима. Одно образовано от *рябой* (*ср. взеленить, засинить, зачернить*; ср. также *загрязнить, затемнить* и др. под). Приставка *за-* имеет в этом словообразовательном ряду значение усилительное. Другой глагол — безличный — соотносителен с существительным *рябь*, и приставка *за-* имеет здесь начинательное значение; ср. *рябит*. Ср. ту же картину и те же непоследовательности в описании значений глагола *засветить*.

Недостаточное внимание к морфолого-словообразовательным средствам распознавания и различения омонимов в русской лексикографической практике сказывается в том, что одни и те же словообразовательные типы то объединяются в системе одного слова, то распределяются по разным словам. Например, почти рядом стоящие, близкие по структуре слова *заслуживаться* и *заслушиваться* в Академическом словаре обработаны противоположными способами. В глаголе *заслуживаться* выделены два значения: «1. Слишком долго служить». Это значение иллюстрируется неуклюжим, самодельным «речением»: *Заслужился до глубокой старости.* «2. Страд. к заслуживать. *Уважение заслуживается достойными поступками*» (т. IV, стр. 907). По недосмотру или по ошибке не указано, что сов. вид *заслужиться* возможен лишь при значении «слишком долго служить». А ведь различия в видовой характеристике служат наглядным средством различения омонимов.

В странный противовес глаголу *заслуживаться* разграничиваются два омонима — *заслушиваться*. «1. Заслушиваться... *несов.* Слушаться. О докладах, постановлениях и т. п., оглашаемых на собрании, заседании и т. п. *Дело в суде заслушивается вторичное.* Ср. *заслушивать*. «2. *Заслушиваться... заслушаться... сов.* Увлекаться, слушая что-либо... *Когда Бакунин одушевлялся и говорил, я слушал, заслушивался и не мог наслушаться его,— говорил Щепкин.* Бел., Письмо М. А. Бакунину, 12—24 окт. 1838» (т. IV, стр. 908).

Этот последний пример очень ясно и убедительно говорит о том, что *заслужиться* и *заслушаться* (с производными формами несов. вида) производны от глаголов *служить* и *слушать* по одной и той же словообразовательной схеме *за- ся* (*заработаться, заговориться, зачитаться* и т. п.). Страдательные же формы *заслуживаться* и *заслушиваться* образуются от действительных форм глаголов *заслуживать* и *заслушивать*.

В глаголе *засаживать—засадить* явно смешаны два омонима разной словообразовательной структуры. Один с количественным значением приставки *за-* (*место, все засаженное березами; засадить аллеи липами, кленами и тополями* и т. п.), другой—с значением фактитивным: *заставлять сесть, вонзаться* и т. п., соотносительный с глаголом *засесть* (т. IV, стр. 874—875).

Структурно-семантический принцип выделения и разграничения омонимов опирается на законы и правила связи и сочетания значений в разных структурно-семантических типах слов, свойственные тому или иному языку в известный период его развития. Так, анализ таких семантических однотипных рядов слов, как *гибель* (в значении «полное разрушение, уничтожение, крушение чего-либо; неестественная, преждевременная или насильственная смерть») и экспрессивно-количественное *гибель* (в значении «несметное множество»), *пропасть* (в значении «зияющая, разящая гибелью глубина, обрыв») и *пропасть* («очень много, бесчисленное множество»), *бездна* («пропасть, глубина, кажущаяся неизмеримой, не имеющей дна») и *бездна* («множество»)[1] и т. п. показывает, что здесь уже произошло распадение на омонимы. Достаточно сравнить с семантическим существом этих явлений такие процессы переноса значений, еще не приведшие к омонимии, как *масса* (в значении «большое количество»), *гора* или *горы* («гора дел», «горы золота»), просторечн. *сила* и т. п.

Само собой разумеется, что структурно-семантический принцип разграничения омонимов должен учитывать и грамматические свойства слов. Еще в начале XIX в. И. Ф. Калайдович предлагал при составлении лексиконов обособлять одно от другого однозвучные слова, разошедшиеся по синтаксическим свойствам, по морфологической структуре и лексическим значениям, и рассматривать такие слова как омонимы. Например, ставились раздельно три слова *заговорить*: «Заговорить — *начать говорить* — требует винительного вещи и не имеет страдат. причастия...; заговорить — *разговором утомить* — требует винит. лица и род. с предл. *до* (*заговорил его до обмороку*); загово-

[1] В Академическом словаре и *бездна*, и *гибель*, представлены как единые целостные слова — без разделения на омонимы.

рить — *заворожить* — требует или вин. вещи и род. с предл. *от*, или вин. вида и употребляется в страд. причастии (*заговорить ружье*; *заговорить кого от чего*; *ружье заговорено*)»[1].

Структурно-семантический принцип выделения омонимов применим не только к знаменательным, но и к служебным словам. С точки зрения живых грамматических отношений и функций трудно рассматривать значения, присущие, например, предлогу *с* в сочетании с формами имени существительного в родительном падеже, предлогу *с* с творительным падежом и предлогу *с* с винительным как значения семантически близкие или соотносительные, внутренне связанные, т. е. как значения одного и того же слова (ср., например, *чай с сахаром*, *мальчик с пальчик*, *вид с горы*; *смотреть с интересом*; *смотреть с балкона* и т. п.). Есть известная соотносительность функций предлога *с* и соответствующей глагольной приставки (например: *сойтись с кем-нибудь* и *сойти с чего-нибудь*; *свести концы с концами* и *свести пятна с костюма* и т. д.). Но и в глагольных образованиях от одной и той же основы с приставкой *с-* видны ясные и закономерные линии раздела между омонимами, например: *стянуть* (войска) и *стянуть* (одеяло со спящего), *сбить* (масло) и *сбить* (с дороги), *свезти* (хлеб на ссыпной пункт) и *свезти* (с горы) и т. д. Таким образом, есть все основания видеть в предлогах *с* с родительным, с творительным и с предложным падежами разные слова, омонимы. Очевидно, применение того же критерия к предлогу *о* с винительным и предложным падежами должно привести к тому же выводу о наличии двух предложных омонимов (ср. *споткнуться о камень* и *столковаться о деле*).

Не менее отчетливы семантические границы между отдельными значениями и употреблениями предлога *по* с предложным, дательным и винительным падежами (например, *идти по лесу*, *ходить по театрам*, *хлопотать по хозяйству* и т. п., с одной стороны, *по окончании работы*, *по приезде с дачи* — с другой, и, наконец, *стоять по пояс в воде*, *сыт по горло*, *влюбиться по уши* и т. п.). Правда, в употреблении предлога *по* видны следы контаминации между некоторыми значениями, следы некоторой связи разнопадежных его функций. Например, *скучать по погибшем друге*, *скучать по детям*; *дать по пяти рублей* и *по два рубля* и т. д. Однако это не меняет существа дела.

В кругу других непроизводных, «первообразных» предлогов тенденция к омонимическому разделению не доходит до такого результата или предела, как у *с*, *о* и *по*. По отношению к «первообразным» союзам некоторые исследователи русского языка, например акад. Л. В. Щерба, также ставили вопрос об омонимическом расхождении их значений. Так, Л. В. Щерба в своей известной работе «О частях речи в русском языке» рассматривал союз *и* в соединительном и объединительном значении и союз *и* в присоединительном значении как разные союзы, т. е. как омонимы. С гораздо большим правом тот же вопрос может быть поднят относительно союзов *что* и *как*. Можно ли усматривать в наречии *как* и в союзе *как* (а также в частице *как*) разные значения одного и того же слова (как это обычно делается в толковых словарях русского языка, например в «Словаре русского языка» С. И. Ожегова) или следует признать их омонимами? Чаще всего признается, что наречие *как* является особым словом. Но ведь значения и союза *как*, и частицы *как* окажутся очень далекими одно от другого (ср., например, *она как закричит* и *белый как снег*), и относительно них также может возникнуть сомнение, не произошло ли уже в литературном языке омонимическое обособление *союза от частицы*. В сущности, та же проблема сохраняет свою актуальность и свою силу относительно семантического разграничения союза *и* и частицы *и*. В употреблении самого союза *как* происходит резкое отделение его временных (а также условных) *значений и функций от сравнительных и отождествительных*. Этому отделению содействует также образование устойчивых синтаксико-фразеологических схем и оборотов, с которыми нередко сочетается употребление союза *как* во временных значениях (*прошел год как... не успел... как* и т. п.).

Таким образом, в современном русском языке выступают яркие признаки разделения на омонимы или выделения омонимов и среди союзов, первообременных значениями, таких, как *и*, *а*, *как*, *что* (ср. союз *а* и частицу *а*; союз *что* в изъяснительном, причинном и сравнительном значениях). Само собой разумеется, что всестороннее освещение этой лексикографической проблемы возможно лишь на основе глубокого синтаксического изучения всех функций этих союзов (так же, как частиц или предлогов, подвергающихся омонимическому разделению) и связи с анализом соответствующих конструкций. Не менее важным было бы и решение общей семантической проблемы о специфике значений и способов их связи в смысловой структуре служебных слов на материале русского языка.

IV

Для теории лексикографии важно не столько традиционное прямолинейное обособление лексикологии от грамматики, сколько изучение сложных и разнообразных типов взаимодействий лексических и грамматических значений. В системе форм изме-

[1] См. И. Калайдович, Опыт правил для составления русского производного словаря, «Труды О-ва любит. росс. словесности», ч. V, М., 1824, стр. 366—367.

няемого слова не все формы одинаково продуктивны и употребительны, а с другой стороны, далеко не всегда во всех формах слова наблюдается одно и то же соотношение и сочетание грамматического и лексического. Например, в глаголе *забаюкивать* переносное употребление иллюстрируется лишь формами причастий страдательного залога (у Фурманова в «Мятеже»: *Глухая, забаюканная, ленивая тишь*; у Серафимовича в рассказе «На реке»: *Дремотно, той особенной дремотой, в которой бодрствуют глава и уши и дремлют спокойно забаюканные мысль и чувство*) (т. IV, стр. 218). Естественно возникает вопрос о тех семантических оттенках, которые присущи этому страдательному причастию, а также о степени употребительности других форм *забаюкать—забаюкивать* в переносном смысле.

Точно так же в статье о глаголе *забирать—забрать* (с очень неясным и немотивированным размещением значений) значение шестое (перех.) «загораживать, заделывать» иллюстрируется примерами, в которых употреблены формы страдательного причастия *забранный*: *...в самом темном углу, забранном старыми досками*. Салт. Благонам. речи; *...мимо низких, забранных решетками окон*. Федин, Перв. радости (т. IV, стр. 229). Никакой стилистической пометы при этом значении нет. Частота употребления других форм глагола *забирать—забрать* в этом значении и сферы его применения (профессионального?) остаются необъясненными.

Проблема взаимодействия лексических и грамматических значений связана с изучением функций разных падежных форм имен существительных, дополнительных лексических оттенков, в них развивающихся в тех или иных условиях, потенциальных ресурсов перехода слов из одной части речи в другую и — особенно — многообразия вариаций лексических значений у разных форм одного и того же глагола. Например, описание семантической структуры таких слов, как *год*, обязывает к изложению (даже за пределами устойчивых фразеологических оборотов) тех своеобразий значения и употребления, которые присущи формам множественного числа *го́ды, года́* и *лета́, годов* и *лет* и т. п. (т. III, стр. 200—206). Ср. функциональные отличия разных форм слов *во́лос, время, глаз, небо, дитя—дети, ребенок—ребята* и т. д.[1].

В системе форм имен прилагательных для лексикографа особенный интерес представляют типы лексической и синтаксической дифференциации полных и кратких имен прилагательных (ср., например, *готовый — готов, должный — должен* и т. п.). Лексикографическая традиция в этом вопросе не выработала твердых норм и приемов семантического определения. В IV томе Академического словаря в слове *живой* выделено шестое значение: «Только в краткой форме. Существует, имеется. *И славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит*. Пушк. Памятник. *Слег он в постель дня за три до смерти и, кажется, надеялся до тех пор, пока жива была в нем память*. Тург. Воспом. о Белинском. *У дружбы есть неписанный закон: живо доверие — жива дружба, рухнуло доверие — нет дружбы*. Лиштков. Горьк. правда (стр. 111). Тут все непонятно: и приравнение формы краткого прилагательного к форме 3-го лица глагола настоящего времени, и самый характер определения, и мотивы подбора столь разнородных иллюстраций.

Естественно, что особенно трудны и разнообразны вопросы лексико-грамматических связей и взаимодействий в сфере глагола. Эти вопросы почти вовсе не изучены. В Академическом словаре не видно настойчивого стремления подойти к пониманию и уяснению этих вопросов. Можно предполагать, что составители и редактор предпочли отделаться от всех затруднений, грозивших им на пути исследования соответствующих явлений, и избрали механические способы их воспроизведения. Например, при описании глагола *закатывать — закатить* оказалось, что некоторые из значений реализуются лишь в формах совершенного, другие — только в формах несовершенного вида. Но все это не нашло отражения ни в грамматических отметках, ни даже в характеристике значений. Так, второе значение глагола *закатывать —закатить*, непереходное, разговорное, характеризуется следующим образом: «Уезжать куда-либо, обычно внезапно, неожиданно, стремительно. Все примеры связаны с формами совершенного вида: *«Через шесть дней я опять в Париже. Завтра сядем в курьерский поезд и закатим, только нас и видели*. Чех. Вишн. сад; *Бывало, нюхаешь. нюхаешь воздух, да ни с того ни с сего и закатишь из Ярославля в Одессу*. Куприн. На покое; *—Эх, отлично было бы закатить теперь в Шатрово,— говорил мой приятель*. Мам.-Сиб. В глуши (т. IV, стр. 501). Как это значение связано с предшествующим: «Толкая что-то круглое, помещать куда-либо»— остается неясным. У читателя может возникнуть законный вопрос, не имеем ли здесь дело с разными словами, с омонимией.

Этот вопрос может встать в еще более остром виде, когда в составе четвертого (переходного) значения оказываются сваленными в одну кучу самые разнообразные и по форме, и по значению случаи (тут и *«закатить* салицилового натру», *«закатить* обед», *«закатить* истерику, скандал, выговор» и *«закатить* кнутовищем по лбу»).

Любопытно, что и при характеристике последнего, пятого значения: «действовать с увлечением, с азартом, бодро и т. п.»— не отмечено, что оно связано только с формами несовершенного вида *закатывать*. Ср. у Левитова в рассказе «Целовальничиха»: *Цело-*

[1] ВЯ, 1956, № 3, стр. 11 и сл.

вальник закатывал в присядку под звонкую песню знакомца-птицелова. Ср. *задувать* в последнем, шестом значении: «действовать стремительно, азартно, усиленно и т. п.» (т. IV, стр. 430).

В глаголе *заключать*, статья о котором механически смешивает и сливает по крайней мере три омонима, разграничение значений также не сопровождается указаниями на различия в видовой структуре глагола и в функциях разных его форм. В этом слове третье значение описывается так: «иметь в своем составе; вмещать, содержать». Сюда же относится выражение *заключить в себе*. Все иллюстрации из произведений художественной литературы XIX и начала XX в. содержат формы несовершенного вида или формы причастий страдательного залога совершенного вида (*заключенный, заключен* в чем-нибудь). Примеры: *Первая глава представляет нечто целое. Она в себе заключает описание светской жизни петербургского молодого человека 1819 года.* Пушк. Е. О., предисл. к отд. изд.; [Нина Ивановна] *занималась спиритизмом, гомеопатией, много читала, любила поговорить о сомнениях, которым была подвержена, и все это, казалось Наде, заключало в себе глубокий, таинственный смысл.* Чех. Невеста (т. IV, стр. 528). Никаких грамматических разъяснений и ограничительных указаний нет.

Кроме невнимания к видовым формам глаголов и их лексическим функциям (ср. статьи о глаголах *задувать, заводить, заморить* и т. д.), следует отметить также механическое и противоречивое разграничение переходности и непереходности глаголов. При помощи общей ссылки на этот внешний признак составители и редактор освобождают себя от анализа всего разнообразия форм синтаксической сочетаемости и синтаксического управления, присущих тому или иному глаголу. Например, в глаголе *заслуживать* ссылка на переходность и непереходность исчерпывает весь анализ синтаксических различий между разными значениями этого слова (т. IV, стр. 907). Поэтому, например, совершенно исчезло противопоставление: *заслужить — заслуживать что* и *заслуживать чего*. Вместе с тем отсутствие семантического исследования разных видов и соотношений глагольной переходности и непереходности ведет к тому, что принципы объединения и разъединения глаголов по этому признаку остаются неясными, лишенными всякой последовательности, всякого единства. Так, переходный глагол *жировать* «пропитывать жиром» и непереходный *жировать* «кормиться гуляя, резвясь» (т. е. набираться жиру) рассматриваются как разные слова, как омонимы (т. IV, стр. 161). Между тем в глаголе *забурлить* по неизвестным мотивам переходное и непереходное значение слиты; тут разграничиваются два значения: «начать бурлить, шумно клокотать» и «заставить пениться; заволновать» (т. IV, стр. 261).

Еще более непонятны мотивы связи и объединения непереходного («начать бродить; заходить») и переходного («испачкать, истрепать низ платья при ходьбе») в одном глаголе *забродить*. Достаточно сопоставить или поставить рядом два примера: *По небу забродили робкие тучки.* Эртель. Зап. Степняка; *Вот, как я, по милости вашей, платье-то себе истрепала, — сказала бойко mademoiselle Прыхина Павлу, показывая ему на забрызганный низ своего платья.* Писем. Люди сорок. годов (т. IV, стр. 254—255).

Словарные затруднения, относящиеся к формам страдательного залога, общеизвестны. Недостаток материалов и укоренившиеся представления о возможности образовать и употребить страдательную форму от любого действительного глагола приводят к тому, что ссылки на формы страдательного залога принимают принудительный и бессодержательный, а иногда и комический характер. Достаточно ограничиться несколькими примерами: *Заслюниваться...* Страд. к заслюнивать. *Передник заслюнивается ребенком.* Ср. под словом *заслюнивание: Заслюнивание ребенком нагрудника* (т. IV, стр. 909); *Засмаркиваться...* Подвергаться засмаркиванию. *Платок засмаркивается* (стр. 910); *Заслеживаться...* Подвергаться заслеживанию. *Пол заслеживается* (стр. 903); *Засиживаться...* Страд. к засиживать. *Зеркала засиживаются мухами* (стр. 895); *Заскабливаться...* Подвергаться заскабливанию. *Метка на доске заскабливается* (стр. 897); *Замызгиваться...* Подвергаться замызгиванию. *Фартук быстро замызгивается* (стр. 699) и т. п.

Проблема связи и взаимодействия грамматических и лексических значений приобретает своеобразные качественные особенности применительно к предлогам, союзам и частицам. Но этот вопрос требует специального обсуждения.

V

В Академическом словаре, задача которого — отразить словарный состав русского литературного языка в его развитии на протяжении XIX в. и первой половины XX в. вплоть до наших дней, должна быть тщательно продумана система стилистических помет. Ведь литературно-стилистические нормы в области лексики, а следовательно, и стилистические оценки и оттенки многих слов подверглись в послепушкинскую эпоху существенным изменениям. Стилистика современной литературной речи отражает также разнообразные сдвиги и семантические преобразования в лексике, происшедшие в советскую эпоху. Как выразить и воспроизвести весь этот сложный

процесс в Академическом словаре? Составители совсем отказались от попытки хотя бы в малой мере считаться с историческими изменениями в стилистическом качестве слов, происшедшими в русском литературном языке со времени Пушкина. Вопрос о сочетании исторического принципа в отражении лексического движения русского литературного языка в XIX в. и в первой половине XX в. с нормативным принципом воспроизведения современной лексической системы показался неразрешимым.

Для того чтобы найти удобный и легкий выход из затруднительного положения, были выдвинуты два компромиссных средства: 1) поменьше стилистических квалификаций и 2) поближе к стилистическому восприятию современности. Поэтому признано практичным (независимо от научных требований) освободить себя от стилистического анализа фразеологических оборотов, несмотря на то, что экспрессивно-стилистические оттенки многих из них явно связаны с ограниченной областью их употребления, с приуроченностью их к строго определенным разновидностям литературной речи. В результате остаются стилистически не закрепленными, например, такие выражения, как *взять за жабры* (стр. 8)[1], *прошу любить и жаловать* (стр. 21), *смех и жалость* (стр. 25), *поддать жару* (стр. 31), *гореть желанием* (стр. 52), *жеребячья порода* (стр. 86), *класть (положить) живот (животы)* (стр. 121), *забить себе в голову, в башку что-либо* (стр. 224), *вавубенная голова* (стр. 258), *заварить кашу* (стр. 276), *завилять хвостом* (стр. 299), *загнать копейку (деньгу* и т. п.) (стр. 361), *задавать, задать лататы (стречка, бегуна, тягу* и т. п.) (стр. 393) и мн. др. под. Кроме того, даже применительно к лексико-стилистическим вариациям современной литературной речи, количество помет сокращено до предела. Применяются лишь пометы: *разг.* (разговорное слово), *простореч.* (просторечное слово, т. е. разговорное, но в придачу к этому «обладающее свойством грубовато понижать форму выражения»), *обл.* (областное слово), *устар.* (устарелое), *народно-поэт., устар. быт.* («устарелое для современного быта или иного занятия, обычая и т. п.», как, например: *заговенье, заговаривать, вашептывать* болезнь, *знахарь* и т. п.), *спец.* (специальное слово, относящееся к профессиональной или научно-технической терминологии).

Вместе с тем принято несколько экспрессивных квалификаций: *шутл.* (шутливо), *ирон.* (иронически) и *бранн.* Этих помет оказывается очень недостаточно для определения круга употребления слова. Поэтому составители Академического словаря предпочитают вообще очень экономно пользоваться стилистическими пометами и как можно реже применять их (см. предисл., стр. IV). Например, слова *васельник* и *васельщик*, определяемые через посредство *васеленец*, оставлены без всякой стилистической оценки. Только само слово *васеленец* признано устарелым (стр. 890—891). Точно так же стилистически не разграничены и оставлены без всяких помет *женолюб* и *женолюбец* (стр. 78); *жестокосердый и жестокосердный* (стр. 98; ср. *жестокосердие*); *жердинник и жердняк* (стр. 83); *золотоискательный (золотоискательные партии)* и *золотоискательский (золотоискательский опыт)*, которые почему-то отождествлены (стр. 1317) и мн. др. Нет никаких стилистических указаний при словах: *жаление* (стр. 14), *жерлица* (стр. 87), *жертвоприносительный* (стр. 92), *золотокудрый* (стр. 1323), *золотоглавый* (стр. 1317), *жухлый, жухнуть* (стр. 196—197), *закальщик* (стр. 493), *займовый* (стр. 482), *закичиться* (стр. 512), *законоведение* (стр. 549), *законоположение* (стр. 553), *закупорщик* (стр. 589), *замерзаемость* (стр. 652), *затворник* (стр. 967—968), *зияние* (стр. 1231—1232), *вимостойкий* (стр. 1230) и мн. др. Любопытно, что такие книжные слова, как *водчий* (стр. 1310), *зерцало* (устар., стр. 1221), *земноводный* (стр. 1208) и т. п., рассматриваются как слова нейтрального стиля, без всякой попытки дать им стилистическую характеристику.

В тех случаях, когда словам даны стилистические оценки, не всегда учтены связи и соотношения с близкими словами, не всегда определено место слова в кругу стилистически однородных или соотносительных лексических рядов. Например, слово *жалованный* характеризуется как устарелое (ср. *жалованная грамота*). Но в этом слове выделяется, повидимому, неправильное второе значение («то же, что награжденный»). Оно иллюстрируется примером из речи Устиньи Наумовны, персонажа комедии А. Н. Островского «Свои люди — сочтемся»: *Подавай ты ей беспременно купца, да чтоб был жалованный, да лошадей бы хороших держал* (стр. 20). Совершенно ясно, что если такое значение существовало, то для его стилистической квалификации недостаточно ссылки на устарелость — необходима еще социальная характеристика.

Слово *заблудший* как в прямом конкретном, так и переносном значении признается р а з г о в о р н ы м. При этом переносное значение его «сбившийся с правильного пути в жизни, беспутный» почему-то в отличие от прямого, основного объявляется устарелым. Ср., например, из статьи А. И. Куприна «Памяти Чехова»: *Были и такие, которые посещали его с единственной целью «направить этот большой, но заблудший талант в надлежащую, идейную сторону»* (стр. 236—237). Рядом помещаются два соотносительных слова: *заблудущий* и *заблудящий*. Оба квалифицируются как п р о с т о р е ч н ы е в равной мере, хотя *заблудущий* иллюстрируется только цитатой из речи Митрича

[1] Здесь и дальше указаны страницы IV тома Академического словаря.

(«Власть тьмы» Л. Толстого): *...я самый последний человек, сирота я, заблудущий я*, а *заблудящий* — примерами из сочинений Салтыкова-Щедрина и Мамина-Сибиряка. Было бы правильнее слово *заблудящий* отнести к разговорно-фамильярной речи. Любопытно, что в Академическом словаре разговорными считаются такие слова, как *жулябия* (стр. 189), *журьба* (стр. 194), *жадина* (так же, как и *жаднеть*) и др. под.

Таким образом, границы между основными и почти единственными (кроме указаний на областные и устарелые слова) стилистическими категориями, признаваемыми Академическим словарем, проведены непоследовательно и неясно.

*

Итак, необходима углубленная разработка основных вопросов теории лексикографии на конкретном материале разных языков. Проблема омонимии, проблема фразеологических сочетаний слов, проблема структурных типов и разновидностей значений слова, система словообразования в ее внутренних связях, в соотношениях и взаимодействиях относящихся сюда категорий, ясное представление о всей разветвленной сети связей и соотношений грамматических форм и дополнительных лексических значений — вот тот круг первоначальных и первоочередных задач, исследование которых поможет улучшить качество наших толковых словарей русского языка.

В. В. Виноградов

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1956

О СОСТОЯНИИ РАБОТЫ НАД ЧЕТЫРНАДЦАТИТОМНЫМ «СЛОВАРЕМ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА»

В Институте языкознания АН СССР ведется работа по составлению большого четырнадцатитомного «Словаря современного русского литературного языка». Этот словарь, как сказано в предисловии к I тому, является словарем толково-историческим и нормативным; он должен охватить все лексическое богатство русского литературного языка с его грамматической характеристикой от эпохи Пушкина до наших дней. В настоящее время вышли из печати тома I—IV (А—З), составлены V—VIII (И—О), составляются IX—X тома Словаря. Вызывает беспокойство тот факт, что в конце 1955 г. Ученым советом Института не были утверждены к печати вследствие неудовлетворительной подготовки VII и VIII тома Словаря, а вышедшие из печати тома также содержат ряд очень серьезных недостатков.

Наша общественность уделяет внимание словарной работе, проводимой в Институте языкознания АН СССР. 3 апреля с. г. в «Литературной газете» появилась статья В. Важдаева «Академическое равнодушие и живое дело», критикующая недостатки в работе над составлением четырнадцатитомного словаря русского языка.

В феврале текущего года Бюро Отделения литературы и языка АН СССР выделило Комиссию по проверке работы над четырнадцатитомным словарем русского языка, которая закончила проверку в начале апреля. 12—14 апреля в Ленинграде состоялось расширенное заседание Бюро ОЛЯ АН СССР совместно с лексикографической секцией Ученого совета Института языкознания с участием сотрудников Словарного сектора, посвященное обсуждению вопроса о состоянии работы над указанным словарем. Заседание открыл академик-секретарь Отделения акад. В. В. Виноградов. Подчеркнув большое практическое и теоретическое значение лексикографической работы, он отметил внимание общественности к словарному делу. Остановившись на вышеупомянутой статье в «Литературной газете», В. В. Виноградов сказал, что в статье правильно отмечается большое культурное, общественное и научное значение словарной работы, однако в характеристике организационной работы над словарем в статье содержится много противоречивого и неясного. Причины неудач в работе над Словарем остались нераскрытыми. Так, в статье указывается, что редактору IV тома А. М. Бабкину при редактировании пришлось выбросить 65 авторских листов, но не потому, что работа была недобросовестная; работа была добросовестная, но не та, которая требовалась. Лексикографическое горение предполагается только как свойство академиков, от молодежи его не требуется. В. В. Виноградов, отметив, что качество Словаря до сих пор не было предметом серьезного обсуждения, указал важнейшие недостатки опубликованных и подготовленных к печати томов, отражающие слабую разработку основных вопросов лексикологии и лексикографии, отрыв лексикографической практики от теории: в словаре отсутствует разграничение структурных типов значений слова, недостаточно и нередко неправильно дается грамматическая характеристика слов, не учитывается внутренняя связь несвободных значений слова и фразеологических единиц со свободными значениями слов, не указывается связь между значениями слов и их грамматическими формами, нарушается, а иногда и искажается историческая перспектива. В. В. Виноградов проиллюстрировал эти положения разбором словарных статей из III тома Словаря — *дитя, дети, должен, ерошка, голый, дурной* (*дурное общество*), *глазок*[1].

Одним из существенных недостатков Словаря, по мнению В. В. Виноградова, является неразличение омонимов даже в тех случаях, когда различие значений слов подкрепляется различием структурно-словообразовательного состава слова. Так, в IV томе в одном слове *заговаривать* объединены два омонима: «утомлять, доводить до отупения разговором» и «воздействовать силой заговора» (во втором случае глагол соотносится с именем существительным *заговор* и приставка в составе глагола не выделяется).

[1] См. ВЯ, 1956, № 3, стр. 11—15.

В заключение своего выступления В. В. Виноградов, подчеркнув огромное значение словарной работы для культуры нации, культуры речи и теории науки, сказал, что для улучшения качества Словаря необходимо, чтобы работники Словарного сектора изучали опыт отечественной и зарубежной лексикографии, своевременно узнавали свои ошибки и учились на них.

Доклад о состоянии работы над четырнадцатитомным словарем сделал председатель Комиссии Бюро ОЛН доктор филол. наук Е. А. Бокарев. Е. А. Бокарев сказал, что в работе над Словарем имеются недостатки двух родов — в темпах и в качестве работы, причем последние наиболее серьезные. Е. А. Бокарев подробно охарактеризовал недостатки в качестве большого Словаря, вскрытые Комиссией в результате изучения отрезков из различных томов Словаря в сравнении с картотекой и соответствующими отрезками малого Словаря:

1. Недостаточно используется картотека, что нередко приводит к пропуску в словарной статье отдельных значений и оттенков значений слова, недостаточному показу употребления слова, особенностей его сочетаемости с другими словами. Так, для слова *набело* дается одно значение, которое определяется, как и в Словаре С. И. Ожегова, «начисто, окончательно». Все примеры — только типа *написать набело, переписать набело*, хотя в определении и не отмечена такая ограниченность и связанность в употреблении этого слова. Между тем в картотеке есть цитаты, которые могли бы заставить составителя значительно обогатить статью. См., например, *работа, как говорится, проводилась уже набело* (Решетников), *набело вымытый пол* (Аникин), *вымела набело* (Жадовская) и, наконец, указывающее совсем на иное значение *снег красит набело его и лошадёнку* (Чехов); *город набело выкрашен* (Тихонов).

В статье *навивать* пропущено значение «наставлять, удлинять что-н. посредством витья», хотя в картотеке есть примеры, иллюстрирующие это значение: *...начал, не щадя конского волоса, которым недавно навил плеть свою, стегать... своего противника* (Даль). Это значение отмечено в словарях 1789 г., 1847 г., в словаре Даля.

Пропуск этого значения тем более досаден, что в Словаре приведено как отдельное слово причастие *навитой*: «Приготовленный посредством навивки. *Навитые кудри*; *Тихон встал, хлопнул раза два навитым кнутом.* Л. Толстой». Значение слова *навитой* осталось нераскрытым. Отсылка к слову *навивка* (действие по значению глагола *навивать*) ничего не дает, так как оно само толкуется через глагол *навивать*, а у последнего нужное в данном случае значение не указано. Кроме того, вряд ли имело смысл помещать слово *навитой* как особое: ведь это обычное причастие.

При толковании глагола *навивать* не использованы такие интересные примеры употребления этого слова, имеющиеся в картотеке: *Поземок навил возле ног сугроб* (Шишков); *Кажинный божий день народу намрет, как снегу в подворотни навьет* (Г. Успенский).

Фразеология и употребление слов, формы сочетаемости слова с другими словами нередко показываются обедненно, причем отсутствует четкое разграничение между показом связанного и свободного употребления слова.

Избывать. Не указано, что глагол может быть переходным и непереходным, хотя в картотеке есть примеры употребления этого глагола с род. падежом (*избыть чего*: Ключевский, С. Платонов) и род. падежом с предлогом *от* (*избыть от чего*: Гнедич, Карамзин). Кроме того, подбор примеров, характеризующих это слово, очень однообразен: *избыть беду, горе*. В картотеке есть много цитат, показывающих сочетаемость глагола *избыть* с другими именами существительными.

Известный. После белого ромба без всякого толкования дано: «◇ известный плут, домосед, враг». Это не фразеология, а особое значение или оттенок слова, так как в данном случае слово *известный* значит: «общеизвестный, слывущий за кого-н.». Кроме того, слово *известный* в этом значении сочетается не только со словами *плут, домосед, враг*; ср. *известный ябеда, неряха, обжора, вор* и т. п. Все примеры указанного употребления слова *известный* повторяют академический словарь 1922 г., хотя в картотеке имеется богатый неиспользованный материал.

При речении *как известно* не сказано, что в его состав могут включаться местоимения: *как (тебе, мне, вам, всем) известно*. Следовало бы показать это хотя бы в цитатах, так как картотека содержит примеры таких речений из произведений Пушкина, Л. Толстого, Григоровича, Симонова и др.

Недостаточное использование картотеки, отбрасывание слов, значений, оттенков, конструкций, особенностей употребления — все это, естественно, приводит к обеднению Словаря, утрате им характера академического словаря, к нарушению и даже искажению исторической перспективы.

Недостаточное использование картотеки свидетельствует о том, что новой научной обработки материала при составлении Словаря во многих случаях нет, преимущественно используются старые словари. В силу этого снижается качество Словаря как источника, вводящего в научный оборот новые факты, наблюдения и обобщения.

2. Словарь до сего времени составляется без заранее подготовленного, обсужденного и утвержденного словника: словник составляется отдельными составителями по мере работы над Словарем. Поэтому нет единообразия в решении вопроса о включе-

нии в Словарь слов малоупотребительных, встречающихся у некоторых писателей XIX в. и современных. Так, например, в Словарь включено областное слово *извал*, встречающееся у Бунина, областное слово *наситок*, встречающееся у А. Первенцева, но не попали многие отмеченные в картотеке и предшествующих словарях слова. Должен быть разработан вопрос в плане современном и историческом об объеме и границах включаемой в Словарь специальной терминологии, о включении в Словарь слов, существующих короткое время, слов областных и малоупотребительных Комиссия считает необходимым, чтобы работе над каждым томом предшествовало составление словника данного тома и обсуждение его.

3 Имеются случаи нарушения и даже искажения исторической перспективы при разработке отдельных слов. Комиссия считает необходимым усилить исторический момент в показе лексической системы русского литературного языка XIX—XX вв.

К нарушению принципа историзма ведет, в частности, односторонность в использовании иллюстративного материала — один слова или значения слова иллюстрируются цитатами только советских писателей, другие — только дореволюционных. Например, только современными авторами иллюстрируется в основном своем значении слово *лаборатория*, хотя в картотеке есть примеры из Гоголя, Вяземского, архива братьев Тургеневых и др. Это ограничение тем более странно, что для переносного употребления данного слова даются примеры из старых авторов.

Отсутствует историческая перспектива в разграничении и расположении в статье значений слова: в одних случаях на первое место помещается старое значение, в других случаях старое значение слова отодвигается в конец словарной статьи. Так, например, нарушена историческая перспектива в расположении значений в статье о слове *матлот, мателот*.

Имеющиеся в Словаре историко-лексикографические справки мало способствуют усилению исторической перспективы в показе лексики В «справках» наблюдаются ошибки и оплошности — в исторических сведениях об употреблении слов, в сопоставлениях с иноязычными параллелями. Комиссия рекомендует при ссылках на первую фиксацию слова в словарях (особенно по отношению к «интернациональным» словам) указывать случаи, когда слово имеет значение, отличное от тех, в которых оно зафиксировано в данном словаре.

4. Часто отсутствует грамматический анализ слова, имеются случаи неправильной грамматической характеристики слова, отсутствует однотипность в характеристике одинаковых явлений, например глаголов страдательного залога. В статье *лагерь* в качестве форм множественного числа указаны *лагери* и *лагеря*, но на последнюю примеров в статье нет; не указан характер отношений между формами единственного и множественного числа (т. е. употребление форм множественного числа в том же значении, что и единственного; это было отмечено еще в Словаре под ред. Д. Н. Ушакова). В статье *озимь, и* ж. нет ни одного примера, подтверждающего, что это слово женского рода; приведен пример из Пушкина, где это слово мужского рода. *Набрание* определяется как «действие по 3 знач. глаг. набирать — набрать». Это неверно, так как от глагола *набирать* — имя существительное *набирание*.

5. В характеристике значений слов отсутствует ясное представление о соотношении значений и грамматических форм слов (числа, падежа, вида, залога и др.), не показывается связь определенных значений и оттенков значений слова с определенными конструкциями (конструктивная обусловленность отдельных значений и оттенков значений слова). Между тем в большом четырнадцатитомном словаре система лексического своеобразия, связанная со своеобразием грамматических форм, должна быть разработана особенно тщательно. Так, в статье *наврать — навирать* дано: «перех. и неперех. разг. Говорить много неправды, вздора, лжи. ◇ Навирать, наврать о комлибо, про кого-либо, на кого-либо. *Это я наврал про себя..., что я был злой чиновник.* Дост. Зап. из подполья. // Непереход. Допускать ошибку, неточность (Победоносцев). *Я — романтик, и мой барометр не наврет.* Саян. Небо и земля. Наврать в чем либо. *Я наврал в фактах, вы смотрите не на них, а на мой способ изложения.* М. Горький. Проходимец».

В данной статье следовало выделить: *наврать* — то же, что *соврать*,— как это сделано в Словаре под ред. Д. Н. Ушакова, вне соотношения с формой несовершенного вида (см., например, приведенную выше цитату из Саянова). Не выделены разные конструктивно-обусловленные оттенки глагола *наврать: наврать в чем-либо* «допустить ошибку, неточность»; *наврать на кого-либо* «наклеветать». В статье спутаны эти оттенки значения глагола *наврать*. Толкование «допускать ошибку, неточность» дается вне связи с конструкцией *в чем-л.*, с цитатой, характеризующей употребление глагола *наврать* в значении «соврать», а конструкция *наврать в чем-л.* дается без всякого толкования.

6. Имеются случаи неудачных определений значений слова, неверного распределения примеров.

При слове *обвес* дано неверное определение «обман или ошибка (!) в весе». Слово *навзрыд* толкуется «плакать, всхлипывать и т. п. навзрыд». Однако *всхлипывать навзрыд* невозможно. Такое толкование слова дается на основании имеющегося в карто-

тоже примера из «Сорочинской ярмарки» Гоголя (*всхлипывать навзрыд*); скорее следовало бы выделить особо это употребление, чем создавать на его основе определение слова. Определение 3-го значения слова *известность* слишком узко: «*Разг.* О человеке, имя которого широко известно как имя хорошего специалиста, мастера своего дела». Этому определению противоречат даже примеры, приведенные в словарной статье: *Судья, помощник исправника, казначей. Все это составляло своего рода аристократию. Но были известности неофициальные. Чиновник Михайловский, недавно приславший из столицы* (Короленко. История моего современника). Известностью можно назвать человека, отличающегося богатством, красотой, образом жизни и т. п., а не только хорошего специалиста или мастера.

При слове *мать* дается странное и неоправданно широкое определение переносного употребления этого слова: «//Перен. О предметах, являющихся родными, близкими». Можно ли употребить это слово по отношению к галстуку, карандашу и им подобным близким предметам?

7. Имеются случаи механического разнесения фразеологии по тем или иным значениям без учета внутренней связи определенных фразеологизмов с определенными значениями и оттенками значений слова. Ярко обнаруживается неоправданность разнесения фразеологических выражений по отдельным значениям и оттенкам слова в статье *голый*. Так, при значении «бедный растительностью или лишенный растительности (волос, шерсти, перьев, листьев и т. п.)» отмечаются выражения *голая зима, голый пол, голый стол, голые стены*. Непонятно, какая растительность отсутствует или предполагается на полу, на столе, на стенах и т. п., почему все эти выражения не относятся к первому значению слова *голый*: «не покрытый одеждой, обнаженный, нагой».

8. Наблюдается чрезвычайная пестрота и различие в решении вопросов от тома к тому и даже внутри тома. Эта пестрота, разноречивость и противоречивость совершенно необъяснимы, так как IV, V, VI, VII и VIII тома составлялись и редактировались почти одновременно, причем IV том признавался и признается в Словарном секторе эталоном для всех других томов.

По-разному решается вопрос о толковании в Словаре служебных слов, в частности предлогов (см. статьи *за, из, на, от, о*). Во многих случаях отсутствует определение самих предлогов, а дается толкование целых конструкций и фразеологизмов, в составе которых эти предлоги употребляются. Комиссия рекомендует при толковании предлогов разграничивать живые и неживые их значения. В первом случае необходимо давать толкование значений самих предлогов: принцип толкования целых конструкций и фразеологизмов может применяться только при характеристике неживых значений предлогов.

9. Имеются случаи противоречия между стилистическими пометами и цитатами: цитаты не подтверждают и не оправдывают стилистические пометы. Слово *ознобление* снабжено пометой «простореч.» и примером из «Записок врача» Вересаева: *Врач Шпитцер пользовал ... девочку, страдавшую озноблением пальцев...*, показывающим скорее специальный характер этого слова. *Навкось* «Обл. то же, что наискось»; даны примеры из стихотворений Маяковского «Нью-Йорк»: «Бродвей... прет *навкось*»; Асеева «Королева экрана»: «...с раскроенным *навкось* виском». Примеры не характеризуют областной характер этого слова. Имеются случаи отсутствия помет у слов, при которых они необходимы (например: *матереть, матерый, мах* [о шаге животного], *маханина*).

10. Во многих случаях неудачны предложенные составителями речения, которые даются в качестве моделей употребления слова. Их часто нельзя признать образцами русского литературного языка. Ср., например: «Отчаянный спорщик снова *забесновался*; *Загрызание* крысы кошкой; Пол неряшливо *заплевывается*». Комиссия рекомендует не давать составительских речений при словах редких, малоупотребительных.

Кроме недостатков в качестве работы, Комиссия отметила нечеткость в разграничении профилей большого и малого словарей. Инструкции большого и малого словарей составлены так, что невозможно уловить какие-либо существенные различия между словарями. По ряду принципиальных вопросов инструкции, восходя во многом к инструкции 30-х годов, дают почти текстуальные совпадения. Это относится в наибольшей степени к подбору слов (словнику).

Во введении к инструкции малого Словаря отмечается, что он отличается от большого тем, что последний «должен с всевозможной полнотой показать словарный состав современного русского литературного языка в его значениях и в его употреблениях и в исторической перспективе развития словарного состава от Пушкина до наших дней» (стр. 6). Однако любопытно, что это не только не подтверждается в инструкции большого Словаря, но и опровергается в ней.

После доклада Е. А. Бокарева выступили другие члены Комиссии, дополнившие его доклад своими наблюдениями и соображениями.

Директор Института языкознания проф. В. И. Борковский указал на некоторые причины организационного характера, затруднявшие работу: смена руководства и состава редакционной коллегии, отсутствие в Секторе постоянной заботы о росте молодых кадров. Составители в течение ряда лет не знали оценки своей работы,

что мешало им своевременно узнать и исправить свои ошибки. Большим недостатком является также то, что словарь составляется без заранее выработанного и обсужденного словника. В Секторе отсутствует сочетание теоретической и практической работы, нет утвержденной инструкции, дирекция и руководство Сектора больше всего интересовались количественной стороной дела. В. И. Борковский особо остановился на вопросе о необходимости усилить элементы историзма в Словаре. Инструкция к большому Словарю очень усиленно отметает историзм, а элементы историзма в Словаре должны быть: соблюдение хронологического порядка в расположении значений слов (в инструкции дается противоречивая рекомендация по этому поводу), отражение в исторической справке расхождения между значениями, зафиксированными в древних и новых словарях. Сделав ряд замечаний по прочитанным им отрезкам VII и VIII томов, В. И. Борковский сказал, что, по его мнению, плохое качество во многом объясняется не только неподготовленностью кадров, но и небрежностью работы. В. И. Борковский согласился с оценкой составительских речений, данной в докладе Е. А. Бокарева. К этой оценке присоединились также А. П. Евгеньева, Г. П. Блок и К. П. Авдеев.

Выступивший затем В. Д. Левин сказал, что при изучении частей Словаря в сравнении с картотекой у него сложилось мнение о неправильном ходе составительской работы: получается впечатление, будто составитель не исследует творчески весь имеющийся в картотеке материал, а заранее, на основе других словарей, составляет схему словарной статьи и иллюстрирует ее примерами из картотеки (ср., например, статьи *набавлять*, *набегать*, *лавочник*). Большим недостатком является несколько механическое распределение значений и распределение примеров по значениям, игнорирование конструктивной обусловленности значений слов. Так, в статье *набалтывать — наболтать* для значения «наговаривать на кого-либо, клеветать» в числе примеров находим: *... кто-нибудь наврал вам, наболтал, будто я осталась с немцами. Так не верьте — это ложь.* Очевидно, что в данном случае составитель исходил из смысла всего высказывания, а не из значения слова. В отличие от Словаря под ред. Д. Н. Ушакова в статье нет пометы *на кого*, ограничивающей условия употребления слова в этом значении.

В статье *набегать — набежать* под определением «собираться, находиться в каком-либо количестве» приведены как тождественные следующие различные случаи: *...пыль набежала*; *и колос мал, а гляди в конечном счете пуд и центнер набежал.* Образное *зима нежданно набежит* (Фет) объяснено так же, как *набегающий дождь, набежавший ливень*, определением «быстро наступать, начинаться». Для значения «совершать набег, нападать» приводится пример из «Капитанской дочки» Пушкина: *В эту минуту мятежники набежали на нас*, хотя совершенно очевидно, что здесь имеется в виду совсем иное значение этого слова (см. продолжение этой цитаты у Пушкина: *... меня сшибли было с ног, но я встал и вместе с мятежниками вошел в крепость*). В. Д. Левин остановился также на вопросе о том, как отражается в Словаре образное употребление слов. По его мнению, в словаре нет единообразия в решении этого вопроса.

А. П. Евгеньева сказала, что в большом Словаре отсутствует тщательная и единообразная разработка толкования целых категорий слов, и привела примеры толкования глаголов страдательного залога из IV тома. Глаголы страдательного залога на *-ся* с субъектом действия в творительном падеже определяются по следующим трем типам: 1) Страдат. к ...; 2) Подвергаться ... (имя действия); 3) Описательное толкование слова или толкование через синонимы. Ср. следующие примеры: *Закусываться*. 1) Страдат. к *закусывать* (в 3-м и 4-м знач.). *Удила закусываются испуганной лошадью. Задергиваться*. Разг. Подвергаться задергиванию. *Лошадь задергивается. Подчиненный задергивается неумелым руководителем. Загаживаться*. Пачкаться, грязниться, мараться. *Стекла загаживаются мухами.* Дело осложняется и тем, что каждый из этих типов определений применяется и к другим залогам. Ср., например: *Кумыс хорошо заквасился, Кран с трудом завертывается, Ступеньки вакинулись за карету* (Л. Толстой) и т. п. Основной недостаток большого Словаря А. П. Евгеньева видит в отсутствии разработки того, что отражается за знаками ◇, ~,* и др.

Б. В. Томашевский указал на типичные недостатки, ярко обнаруживающиеся при чтении отрезков из VII и VIII томов Словаря: неточная дифференциация значений и примеров, отсутствие связи между толкованием слов производящих и производных, неразграничение значений, идущих от разных слов (*оболванить* — связь с *болванка* и *болван* «дурак»). Б. В. Томашевский высказался за введение элементов историзма в Словарь. Он сказал, что нет необходимости составлять словарь в 14 томов, отражающий только современную норму. Б. В. Томашевский считает, что в отдельных случаях, при разработке старых слов, Словарь должен включать материал не от эпохи Пушкина, а от эпохи Ломоносова. Лексикографическая справка никого не удовлетворяет, так как первая фиксация слова в Словаре может отстоять от времени его появления на несколько веков. Б. В. Томашевский рекомендует давать указания на первую фиксацию слова в картотеке. По мнению Б. В. Томашевского, выражаемая многими работниками Словаря идея сохранить неизданную и неутвержденную инструкцию

и самоограничить себя в поправках не плодотворна. Словарь надо совершенствовать все время, улучшая его от тома к тому. Б. В. Томашевский считает очень важным для улучшения качества Словаря изучение опыта зарубежной лексикографии. Некоторые определения слов вырабатывались веками — нет смысла выдумывать их заново, нужно использовать накопленный опыт. Мнение Б. В. Томашевского о необходимости усилить элементы историзма в Словаре, о целесообразности заменить лексикографические справки указанием на первую фиксацию слова в картотеке, о необходимости использовать опыт иностранных словарей поддержал Г. П. Блок, подтвердив последнюю мысль разбором толкования в различных словарях слова *загадка*. К мнению о том, что большой четырнадцатитомный словарь должен содержать элементы историзма, присоединились многие из выступавших: член-корр. АН СССР В. М. Жирмунский, В. А. Аврорин, К. А. Тимофеев, А. В. Алексеева, А. И. Федоров. За введение элементов историзма в Словарь высказался также А. М. Бабкин, предложивший на заседании Ученого совета специально рассмотреть вопрос о возможностях введения историзма в Словарь. Однако многие из сотрудников Словарного сектора решительно высказывались против этого (заведующий Словарным сектором Ф. П. Филин, И. Н. Шмелева, Н. М. Меделец, Г. А. Качевская, Ф. П. Сороколетов), считая, что нормативность и историзм — несовместимые требования, и не видя путей для введения элементов историзма в Словарь. Так, по мнению Ф. П. Филина, расположение значений слов в хронологическом порядке — требование при современном состоянии исторической лексикологии невыполнимое, а расположение цитат в хронологическом порядке есть очень наивное понимание историзма.

С критикой Словаря в отношении толкования специальных, областных и просторечных слов выступил член-корр. АН СССР Б. А. Серебренников. Он сказал также, что в Словаре некритически используется материал языка отдельных писателей — включаются несуществующие слова, неудачные выражения (*вымахивать мух из комнаты*). На это же указывал Г. П. Блок.

Присутствовавший на заседании читатель К. П. Авдеев указал на ряд недостатков недавно опубликованного IV тома Словаря. В Словаре отсутствует ряд слов, встречающихся у Тургенева, Мамина-Сибиряка, Коптяевой, Пановой, в медицинской литературе. К. П. Авдеев думает, что составители напрасно отказываются от включения в словарь слов малораспространенных: читатель именно их ищет в Словаре. Отказ от помещения в Словарь таких слов приводит к тому, что выходящие за границей словари менее высокого качества являются более полными. Недостаток Словаря К. П. Авдеев видит также в том, что Словарь избегает нормативных оценок. В этом отношении словарь под ред. Д. Н. Ушакова гораздо лучше.

Многие из присутствовавших на заседании сотрудников Словарного сектора, анализируя причины неудач в словаре, затрагивали в своих выступлениях вопросы научно-организационного характера, указывали на недостаточное руководство Словарем со стороны ОЛЯ, плохую работу редколлегий, критиковали отдельные положения докладной записки Комиссии ОЛЯ.

Н. З. Котелова подняла вопрос о том, что важнейший этап работы — составительский — имеет в словаре очень небольшое значение. Авторский текст не доходит до готовой книги. Нет контроля за работой отдельных составителей, обсуждения их работы. Коллектив редакторов и их помощников в полтора раза больше составительского. А между тем этап составления главнейший. То, что упущено на этом этапе, не может быть восполнено впоследствии редактированием. Н. З. Котелова считает большим недостатком работы Комиссии то, что она не произвела оценки качества различных томов Словаря. Так, VIII том Словаря во многих отношениях лучше других, в нем впервые началась работа составителей с редакторами, проводилось много интересных обсуждений, учитывалось новое в области лексикологии и лексикографии. К мнению о том, что необходимо было отметить разное качество томов, присоединились и другие выступавшие Г. А. Качевская, отметившая типичное для VII тома плохое использование картотеки, и Н. М. Меделец, указавшая на недооценку Комиссией положительных качеств IV и VIII томов.

Л. С. Ковтун считает, что в настоящее время можно говорить лишь о совершенствовании Словаря в пределах его профиля, но не об изменении его типа. По мнению Л. С. Ковтун, многие недостатки Словаря, например, неупорядоченность в употреблении знаков ◇, *, ~, // и др., зависит от уровня науки; поэтому то, что кажется субъективным читателю, составителю может казаться правильным. Л. С. Ковтун проиллюстрировала свою мысль разбором образного употребления слова *оазис*. Л. С. Ковтун подробно остановилась на состоянии научной работы в Секторе: старшие научные сотрудники Сектора, которые должны быть ведущей теоретической силой, не выполняют своей роли. Не выполняет своей руководящей роли и редколлегия. Для улучшения качества Словаря необходимо, чтобы во главе Словаря стояло одно лицо, полностью отдавшее себя словарной работе. Мнение о том, что для улучшения качества Словаря необходимо наладить коллегиальность в работе, а также поставить во главе Словаря одно лицо, которое осуществляло бы руководство всем Словарем, высказывали также

Н. М. Меделец, называвшая в качестве такого лица А. М. Бабкина, В. А. Аврорин, считающий, что общее руководство Словарем должно на себя взять ОЛЯ, а также Г. П. Блок и А. И. Федоров.

Некоторые сотрудники Словаря (например, Г. А. Качевская, Н. М. Меделец) считают, что мысль о необходимости изменить и уточнить профиль большого Словаря появилась не потому, что он не был в свое время достаточно уточнен, а потому, что неожиданно обнаружилось совпадение малого и большого Словарей, на которое руководство малым Словарем шло намеренно.

Более принципиально вопрос о необходимости согласовать работу в малом и большом Словарях, о недопустимости разобщенности между ними поставил в своем выступлении В. А. Аврорин. Оба словаря издаются одним коллективом, поэтому несогласованность между ними недопустима. Однако нередки факты, когда одно и то же слово толкуется в этих словарях по-разному, причем в малом Словаре выделяется бóльшее количество значений, чем в большом (ср. толкование в обоих словарях слов *линейка* — об экипаже, *линейный*, *линия*).

В своем заключительном слове акад. В. В. Виноградов подвел итоги обсуждению. Он сказал, что Комиссии был сделан ряд справедливых упреков, в частности в том, что она не изучила различие между отдельными томами Словаря. В. В. Виноградов высказал свои соображения по основным вопросам, обсуждавшимся на совещании, и наметил некоторые общие выводы:

1. Отсутствует координация словарной работы в Институте языкознания между большим и малым Словарями и Словарем языка Пушкина. Так, например, те значения слов, которые были живыми в эпоху Пушкина и нашли отражение в Словаре языка Пушкина, не отмечены в четырнадцатитомном словаре (ср. толкование в обоих словарях слов *венец*, *великодушие*).

2. Необходимо повышение грамматической культуры составителей, разработка теоретических вопросов грамматики в связи с лексикографией. В Словаре видна крайняя слабость грамматических размышлений над словом, не учитывается связь грамматических форм и категорий с лексическим своеобразием (не отмечается различие в значении между формами ед. и мн. числа — ср. статьи *материал*, *озимь*, формами сов. и несов. вида — ср. статью *вакатывать — вакатить*), не разграничиваются свободные и связанные значения слова, не указываются формы управления слова.

3. Проблема историзма в большом Словаре состоит в том, что при характеристике слова с точки зрения современного языка должна быть соблюдена историческая перспектива. Поэтому оказывается очень важным вопрос о связи и последовательности размещения значений: то, что в малом Словаре должно подаваться как омонимы, в большом Словаре может быть помещено вместе, но при этом необходимо показать развитие одних значений из других (например, в слове *заключать*). Историческая перспектива должна выдерживаться и при размещении фразеологии в словарной статье, и при характеристике значений слов (так, слову *закутить* приписывается несвойственное ему в эпоху Пушкина и Гоголя значение; ср. толкование слова *кутить* в Словаре Академии Российской). Поэтому нужно не ломать большой Словарь, а улучшать его качество. Малый же Словарь должен быть принципиально иным; необходимо срочно уточнить его задачи. Четырнадцатитомный словарь отошел от типа академического словаря, так как в нем не видно большой подготовительной исследовательской работы.

4. Надо стремиться к тому, чтобы роль составителей в работе возросла, изменилось количественное соотношение между составительской и редакторской работой. Редактор должен согласовывать, объединять материал разных составителей, а не переделывать работу каждого из них.

Одним из принципиальных вопросов, требующих уточнения и осмысления, является вопрос о подаче в Словаре образных выражений. Ценность их в том, что они должны давать весь фразеологический и образный контекст, возможный для определенного слова (см. слова *лабиринт*, *когти* в Словаре под ред. А. А. Шахматова). Однако в четырнадцатитомном словаре такой задачи не ставится, поэтому непонятно, в чем смысл отражения образного употребления слов в этом Словаре. Требует уточнения также вопрос о смысле и цели лексикографических справок — в настоящем виде они мало полезны.

Е. А. Земская

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1956

ОБСУЖДЕНИЕ IV ТОМА «СЛОВАРЯ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА»

9 июня 1956 г. в Ленинграде на заседании Лексикографической секции Ученого совета Института языкознания АН СССР состоялось обсуждение вышедшего в декабре 1956 г. IV тома четырнадцатитомного «Словаря современного русского литературного языка» Академии наук СССР.

Заседание открыл зам. директора Института языкознания В. А. Аврорин. Он отметил важность обсуждения IV тома, являющегося поворотным пунктом в истории создания четырнадцатитомного словаря. Начиная с IV тома в Словаре устраняется система гнездового расположения слов и осуществляется переход на алфавитное, устанавливается прямой хронологический порядок расположения иллюстративного материала. В. А. Аврорин наметил основные проблемы, которые должны быть подвергнуты широкому обсуждению. Среди них наиболее существенной является проблема сочетания принципа нормативности, остающегося ведущим принципом построения Словаря, с элементами историзма. Эта проблема приобретает особое значение в связи с рекомендацией Комиссии Бюро ОЛЯ АН СССР по проверке работы над четырнадцатитомным словарем усилить элементы историзма в Словаре. Важно обсудить и ряд других вопросов — вопрос о разработке значений слова, вопрос о подаче фразеологии, вопрос о стилистических пометах, вопросы справочного отдела, вопросы этимологии и т. д.

Редактор IV тома ст. научн. сотр. Института языкознания АН СССР А. М. Бабкин во вступительном слове остановился на истории создания IV тома Академического словаря и дал его краткую характеристику. IV том, подобно предыдущим томам Словаря, составлялся по Инструкции 1938 г. Тип и назначение Словаря были определены постановлением Президиума АН СССР в 1937 г. Существенным признаком Академического словаря должна была быть нормативность, но в то же время Словарь предполагалось сделать в какой-то степени историческим. Однако понятие историзма, по словам А. М. Бабкина, никогда никем не было уточнено. В это понятие разные лица вкладывали разное содержание, но господствовало, повидимому, мнение о том, что историзму должен отвечать справочный отдел, дающий возможность восстановить историю слова (А. М. Бабкин сослался на высказывания председателя Редакционной коллегии по I тому в первой его редакции акад. А. С. Орлова, члена-корр. АН СССР В. И. Чернышева и акад. С. П. Обнорского). Сочетание принципа нормативности с принципом историзма в построении словарной статьи представляет большие трудности для коллектива составителей. А. М. Бабкин считает необходимым для Редколлегии составить более отчетливое представление по этому вопросу, который до сих пор остается неясным.

IV том был утвержден к печати 8 февраля 1952 г. После постановления Президиума АН СССР от 4 июля 1952 г. о перестройке Словаря началась переработка тома. Процесс «разгнездования» и приведения слов в алфавитный порядок, отметил А. М. Бабкин, оказался очень сложным, так как гнездовое расположение слов было не только внешней композицией по отношению к лексическому материалу тома, но оно пронизывало всю структуру Словаря, начиная от характера словника и кончая приемами разработки значений в слове. При гнездовом расположении значительная категория слов не снабжалась определениями. Сознательная тенденция подавать слова гнездами не давала возможности сосредоточить внимание на отдельном слове. В связи с гнездовым расположением слов перед составителями не стоял вопрос об омонимах. Трудно было бы ожидать, сказал А. М. Бабкин, чтобы IV том, после отказа от системы гнездования, освободился от всех недостатков, присущих гнездовому типу словаря.

А. М. Бабкин перечислил отличительные особенности IV тома. Со стороны внешней структуры IV том характеризуется алфавитным порядком расположения слов, хронологическим размещением иллюстративного материала, выделением фразеологического материала в словарной статье и его большей обозримостью, достигаемой набором полужирным курсивом и введением особого знака, более отчетливой подачей значений

слов и их оттенков, для чего введены абзацы и параллельные штрихи. Составители пошли навстречу запросам читателей, жаловавшихся на недостаточную внешнюю выразительность словарных статей в предыдущих томах. Со стороны внутренней структуры IV том характеризуется установкой на более отчетливое понимание значения слова, связанное с выделением фразеологии, которая раньше помещалась в рамках толкуемого значения, а также поисками закономерного расположения значений в словарной статье. Решение последнего вопроса, заметил А. М. Бабкин, оставалось эклектичным, так как принимались во внимание три момента: 1) актуальность употребления; 2) соображения о прямом и переносном характере значения; 3) историческая последовательность развития значений в слове.

А. М. Бабкин подробно остановился на проблеме омонимов. Коллектив составителей и редактор тома не были вооружены стройной теорией омонимии. Учитывая справочную сторону издания, редактор принял установку не злоупотреблять омонимией. По мнению А. М. Бабкина, механическое сведение не объединяемых друг с другом значений под одной шапкой представляет собой меньшее зло, чем нередко произвольное выделение омонимов. Более убедительным представлялось выделение омонимов в разряде существительных и в некоторых прилагательных, менее убедительным — в разряде глаголов. Иногда редактор воздерживался от расчленения слова на омонимы, чтобы не затруднять читателей (например, при наличии двух пар глаголов *захлестывать — захлестать* и *захлестывать — захлестнуть* было бы нецелесообразно расчленять на два омонима слово *захлестнуть*, у которого с точки зрения современных живых ассоциаций нетмотивированной связи между 1-м и 2-м значением, так как при таком расчленении пришлось бы три раза набирать заголовочное слово *захлестывать*, три раза— *захлестываться*, три раза — *захлестывание*).

Коллективу составителей и редакторов Словаря, сказал А. М. Бабкин, важно знать, насколько удачно решаются в IV томе следующие проблемы: объем словника, семантическая обработка слова, формулировки определений, подбор иллюстративного материала, стилистическая характеристика слов системой помет, подбором оправдательных цитат и характером определений, приемы подачи фразеологии, полиграфическая сторона издания. А. М. Бабкин признает очень важным вопрос о том, удобен или неудобен словарь как справочник, считая, что прямое назначение словаря — служить справочником прежде всего в отношении толкования слов современного русского литературного языка.

Акад. В. В. Виноградов указал на два возможных способа оценки IV тома Словаря. Один способ — сопоставительный и историко-лексикографический, заключающийся в сопоставлении этого тома с предшествующими словарями, охватывающими тот же круг слов. Рассматривая IV том в этом плане, можно отметить некоторые удачи, связанные с определением значений слов и их размещением, с размещением фразеологического материала. Другой способ — оценка тома в свете общих принципов лексикографии с целью показать, как неразработанность основных проблем лексикографии отразилась на практической работе составителей. Подойдя с этой второй точки зрения к анализу IV тома, В. В. Виноградов подробно осветил следующие вопросы: вопрос об омонимии, вопрос о семантической структуре слова, о способах определения значений и выделения их оттенков, вопрос о стилистических пометах и разработке стилистической стороны употребления слов в системе современного русского литературного языка и вопрос о грамматической стороне словаря[1].

Ст. научн. сотр. Института языкознания проф. А. П. Евгеньева выступила с оценкой IV тома Словаря и высказала свои соображения по ряду общих вопросов, имеющих важное значение для последующей работы над четырнадцатитомным словарем.

IV том, сказала А. П. Евгеньева, успешно реализовал те новые требования, которые были предъявлены к Словарю в целом,—требование большей нормативности, большей ясности и доступности широкому кругу читателей. А. П. Евгеньева положительно оценивает основное направление IV тома, заключающееся в приближении к словарям типа словаря Ушакова. К числу достижений IV тома относится четкость расположения материала, удачные формулировки определений, избегающие нанизывания друг на друга перифраз и синонимов, как это наблюдается во II, III, отчасти и в последующих томах; более удачная по сравнению с предшествующими словарями (словарем Ушакова и Шахматова) разработка приставочных глаголов, в частности более четкое расчленение глаголов с многозначной приставкой *за-*, выделение начинательных глаголов в отдельное значение или в качестве омонимов.

По мнению А. П. Евгеньевой, в предисловии к IV тому подвергнут слишком резкому осуждению гнездовой метод расположения слов как реакционный метод в лексикографии, связанный с «новым учением о языке» Н. Я. Марра. А. П. Евгеньева сослалась на ряд словарей, в которых гнездовой принцип с той или иной целью успешно применяется. Кроме «Словаря Академии Российской» и словаря В. И. Даля, А. П. Ев-

[1] См. статью В. В. Виноградова «О некоторых вопросах теории русской лексикографии», помещенную в этом же номере журнала.

геньева назвала «Русско-французский словарь» Л. В. Щербы, словари Фр. Травничка, С. И. Ожегова.

Неудачным в IV томе А. П. Евгеньева считает сведение всех помет, указывающих на область применения слова, к помете «специальное». А. П. Евгеньева не согласна с тем, что пометы типа «зоологическое», «ботаническое» и т. п.— не лингвистические, а помета «специальное» — лингвистическая. Пометы, указывающие на область применения слова, не исключают это слово из литературного языка, а помета «специальное» противопоставляет эти слова литературным, что постоянно ставит в затруднительное положение составителя и редактора и приводит к отсутствию пометы «спец.» в тех случаях, когда это необходимо. А. П. Евгеньева высказала пожелание восстановить в последующих томах прежнюю систему помет, указывающих на область применения слова.

Она отметила, что в Словаре плохо разработан отдел относительных прилагательных. Отдельные достижения в этом отношении имеются в IV томе, но в целом в Словаре не представлены все виды относительности. А. П. Евгеньева сделала ряд замечаний, касающихся разработки глагола в IV томе. В нем очень запутаны отношения глаголов возвратно-среднего залога, что особенно бросается в глаза при алфавитном расположении слов. Затронув ряд других моментов, касающихся разработки глаголов в IV томе, она подчеркнула необходимость внимательно продумать методы характеристики глагола в словарях.

Отметив в основном удачный подбор иллюстративного материала, А. П. Евгеньева высказалась против творчества составителей в том виде, в каком оно представлено в IV томе. Не следует в качестве иллюстраций приводить развернутые предложения — они часто оказываются неудачными (*Возжи закручиваются кучером на кулаки, Отчаянный спорщик снова забеспокоился* и т. п.). А. П. Евгеньева считает, что не следует при любых обстоятельствах давать речения. Те слова, к которым трудно подобрать хорошую цитату, еще труднее проиллюстрировать речением. Многие речения производят комический эффект (*задевание об стену, запинание о ковер, дачники заблаженствовали* и т. п.).

А. П. Евгеньева предложила восстановить в последующих томах указания на части и главы цитируемых произведений, чтобы Словарь мог быть использован в полной мере специалистами-филологами.

Читатель Словаря К. П. Авдеев сказал, что минусом Словаря является отсутствие помет о степени употребительности того или иного слова. Вопрос этот приобретает особое значение для читателей зарубежных стран, которые могут начать широко употреблять такие редкие слова, как, *закуститься, закудрявиться* и др.

К. П. Авдеев подробно остановился на характере иллюстративного материала в Словаре. В Словаре имеется большое количество неудачных речений, нередко безграмотных, не соответствующих нормам литературного языка (*долго остаться в постели, заякшаться со всяким сбродом*) и не отвечающих реальной языковой практике. К. П. Авдеев считает, что есть категория слов, которые не стоит иллюстрировать речениями. Просторечные слова допустимы только в цитатах, речения же в принципе не должны выходить за пределы литературной нормы. Точно так же не всякая синтаксическая конструкция годится в качестве материала для речения. Например, сочетания с отглагольными существительными типа *писание писем* часто звучат искусственно (*загрызание крыс кошками, закапывание стола чернилами* и т. п.). Мало пригодны для речений страдательные обороты со сказуемым, выраженным глаголом в настоящем времени (*ребенок моется матерью, докладчик забрасывается вопросами, ягненок загрызается волком* и т. п.). Речению может быть дано место в словаре, сказал К. П. Авдеев, только в том случае, если оно отражает какую-то жизненную ситуацию, а не является искусственным словосочетанием, специально появившимся для словаря.

Мл. научн. сотр. Института языкознания Г. А. Качевская отметила ценность тех замечаний, которые были высказаны В. В. Виноградовым. Проблемы, о которых говорил В. В. Виноградов, в IV томе не нашли удовлетворительного разрешения. Если же применить сравнительный метод оценки IV тома, сказала Г. А. Качевская, то в нем можно найти целый ряд достижений.

В связи с замечанием В. В. Виноградова о том, что в Словаре не различаются формы синтаксического управления, Г. А. Качевская внесла предложение ликвидировать пометы «перех.» и «неперех.» и ввести вопросы, указывающие на характер управления, как это делается в словарях Ушакова и Ожегова. Пометы «перех.» и «неперех.» затрудняют показ синтаксического управления.

Возражая А. П. Евгеньевой и К. П. Авдееву, Г. А. Качевская заметила, что речения следует давать даже при просторечных словах. При отсутствии цитат и речений слово утрачивает право быть помещенным в Словаре.

Г. А. Качевская подняла очень важный вопрос об общем направлении IV тома. Нормативность не является единственной задачей четырнадцатитомного словаря. Тенденция к нормативности отрицательно сказалась на отборе словника, на отборе форм слова. Многие просторечные слова не вошли в IV том (*вазря, задарма, забрюхатеть* и ряд других). Если на этот путь встанут последующие тома, сказала Г. А. Качевская, то это принесет большой вред четырнадцатитомному словарю.

По мнению мл. научн. сотр. Института языкознания Н. З. Котеловой, IV том, несмотря на ряд положительных сторон (более строгий подбор материала, отсутствие излишнего энциклопедизма, присущего III тому, и т. д.), по типу словаря невыгодно отличается от III тома; III том носит более академический характер.

Говоря о составе словника, Н. З. Котелова назвала большое количество слов, пропущенных в IV томе. Н. З. Котелова сделала много замечаний, касающихся смысловой разработки отдельных слов. Одним из недостатков Словаря в целом Н. З. Котелова считает отсутствие стилистических помет при фразеологии. В IV томе лишены помет такие сочетания, как *заложить за галстук*, *взять за жабры*, *знать не знаю*, *закон не писан*, *закусить удила* и многие другие. Фразеологические сочетания должны быть в такой же мере снабжены пометами, как и слова. Тот факт, что значительная часть фразеологии носит просторечный характер, не исключает необходимости дать соответствующую помету.

Мл. научн. сотр. Института языкознания Л. С. Ковтун отметила, что достижения IV тома относятся к той области, в которой лексикография опережает лексикологию, — к области семантической характеристики слова. Хуже всего разработаны в Словаре проблемы, решение которых нуждается в предварительных лексикологических исследованиях (например, проблема омонимии и ряд других).

Л. С. Ковтун высказалась против введения развернутой системы стилистических помет, так как стилистическая характеристика слов может быть дана только с точки зрения современного языка. Л. С. Ковтун сделала ряд замечаний, касающихся построения словарной статьи и характера определений в IV томе. IV том, сказала Л. С. Ковтун, дает ценный материал, который может быть использован для переработки и усовершенствования некоторых глав Инструкции (глав «Фразеология», «О смысловой характеристике слова»).

Мл. научн. сотр. Института языкознания О. Г. Порохова посвятила свое выступление вопросу о разработке относительных прилагательных в IV томе Словаря. Она отметила, что в IV томе отсутствует необходимая дифференциация значений относительных прилагательных. Формула «относящийся к чему-л.», широко применяемая в IV томе, оказывается за некоторыми исключениями удачной по отношению к прилагательным с суффиксами *-ов-ый*, *-ев-ый*, имеющим типичное значение относительности (*жмыховый*, *журавлевый*, *жавелевый*, *желтковый* и др.). Эту же формулу надо признать мало подходящей к прилагательным с суффиксом *-ск-*, имеющим оттенок типичной принадлежности, свойственности. В особенности неудачна эта формула в сочетании с существительным множественного числа, которое следует употреблять тогда, когда в значении прилагательного присутствует оттенок типичной принадлежности, свойственности (чисто относительное значение хорошо характеризуется определением с единственным числом существительного). Например, слово *жокейский* определено как «относящийся к жокею». Цитаты не соответствуют этому определению: *От купальни быстро плыла лодка. В ней сидел человек в жокейском картузике и синей куртке* (Чехов, Драма на охоте). *В кабинете горела одна лампа под абажуром с длинным ковырьком, как у жокейской кепки* (Федин, Братья). Здесь *жокейский* имеет значение не «относящийся к жокею», а «свойственный жокеям, такой, какой бывает у жокеев». К слову *жонглерский*, определяемому как «относящийся к жонглеру, жонглерам», дано речение *жонглерская ловкость*. Жонглерская ловкость — это ловкость, свойственная жонглерам, такая, как у жонглеров.

О. Г. Порохова остановилась подробно на определениях прилагательных с суффиксом *-очн-*, образующим прилагательные от отглагольных существительных на *-ка*, на группе притяжательных прилагательных с суффиксами *-ий*, *-ья*, *-ье* и др. О. Г. Порохова отметила отсутствие внимания к качественным значениям относительных прилагательных (слово *заборный* определяется «относящийся к забору», а далее следует цитата: *Длинные заборы с известными заборными надписями и рисунками, нацарапанными углем и мелом.* Гоголь, Мертвые души).

О. Г. Порохова, считая необходимым учесть указанные недостатки в работе над последующими томами, внесла предложение подробно разработать отдел относительных прилагательных в Инструкции по составлению большого словаря.

Аспирант Ленинградского университета Г. П. Росин положительно оценил наличие в Словаре широкоупотребительной лексики, не являющейся фактом литературного языка (профессиональной и областной), упрощение системы стилистических помет по сравнению со словарем Ушакова и богатство иллюстративного материала, во многом дополняющего толкование слов.

Аспирант Ленинградского университета К. С. Горбачевич остановился на проблеме определения слов и сделал ряд замечаний, касающихся определений отдельных слов в IV томе.

Ст. научн. сотр. Института языкознания И. К. Зборовский выразил пожелание, чтобы Лексикографическая секция Института языкознания обратилась к словарным отделам всех институтов Академии наук и к кафедрам высших учебных заведений страны с просьбой прислать письменные отзывы о IV томе Словаря. И. К. Зборовский уточнил понятие нормативности по отношению к четырнадцатитомному сло-

варю. Академический словарь должен давать нормы произношения, правописания, употребления слов и т. д. и в то же время отмечать все случаи колебаний за весь период, охватываемый Словарем, иначе говоря, нормативное в Словаре должно быть противопоставлено ненормативному. К сожалению, отметил И. К. Зборовский, начиная с 1949 г. Словарь пошел по линии возврата к словарю типа словаря Ожегова. Наметилась тенденция, нашедшая отражение в IV томе, давать только нормативное, а ненормативное не отмечать. Проблема сочетания нормативности с историзмом — проблема сложная, сказал И. К. Зборовский, однако вопрос об историзме заслуживает серьезного внимания.

Гнездовую систему расположения слов И. К. Зборовский считает во многих отношениях удобной, однако для четырнадцатитомного словаря первоочередной задачей является совершенствование принятой алфавитной системы.

По мнению заведующего Словарным сектором Института языкознания Ф. П. Филина, наиболее существенные недостатки IV тома, как и Словаря в целом, обусловлены слабым развитием лексикографии и лексикологии. Ф. П. Филин считает невозможным при современном состоянии науки дать в Словаре правильную историческую перспективу. В этом вопросе неизбежны ошибки. Ф. П. Филин думает, что тремя принципами выделения омонимов, о которых говорил В. В. Виноградов, трудно пользоваться в словарной практике вследствие несоотносительности этих принципов. Ф. П. Филин согласился с мнением Л. С. Ковтун о нецелесообразности введения в Словарь развернутой системы стилистических помет, так как это повело бы к многочисленным расхождениям и колебаниям и открыло бы широкое поле для субъективизма. Ф. П. Филин высказался против реализации в словаре идей, которые являются в какой-то мере спорными.

В заключительном слове А. М. Бабкин высказал мысль о том, что в настоящее время уровень науки не позволяет осуществить те высокие, по мнению А. М. Бабкина, требования, которые были предъявлены к Словарю многими из выступавших. По мысли А. М. Бабкина, Словарь должен оставаться на позициях словаря-справочника и решение многих проблем в Словаре следует расценивать с точки зрения того, удовлетворяет ли данное решение справочному назначению издания.

Подводя итоги совещания, В. А. Аврорин подчеркнул его большое значение для дальнейшей работы над составлением Словаря, отметив, в частности, необходимость особого внимания к вопросам омонимии, речений, а также к ряду других проблем, выдвигавшихся в выступлениях участников заседания.

И. П. Ковтунова

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1956

ОПЫТЫ МАШИННОГО ПЕРЕВОДА[1]

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАШИННОГО ПЕРЕВОДА

(вводная статья)

Перевод текстов с одних языков на другие имеет большое значение для развития культуры и является необходимым звеном в обмене культурными ценностями, созданными различными народами. На перевод текстов затрачивается огромный труд. Это ставит на очередь вопрос об автоматизации и механизации процесса перевода. В последнее время для механизации перевода открылись большие возможности, связанные с созданием автоматических электронных вычислительных машин.

Цель настоящей статьи — освещение возможностей математических машин с точки зрения использования их для перевода и формулировка ряда лингвистических вопросов, решение которых позволило бы повысить эффективность машинного перевода.

Первые опыты машинного перевода были сделаны Л. Достертом, П. Гарвином и П. Шериданом в 1954 г. в США [2]. У нас в Советском Союзе опытный машинный перевод с английского на русский при помощи машины БЭСМ был осуществлен в конце 1955 г. И. К. Бельской, Л. Н. Королевым, И. С. Мухиным, Д. Ю. Пановым, С. Н. Разумовским[3].

Возможности вычислительных машин

Назначение вычислительных машин состоит в переработке поступающей в них информации по определенным правилам. Поступающая информация должна быть закодирована при помощи чисел и введена в «память» машины, т. е. каждый знак вводимой информации должен быть вполне однозначным способом изображен при помощи чисел. Для переработки информации служит так называемая программа, которая тоже хранится в «памяти» машины. Машина выполняет переработку информации в строгом соответствии с программой. Обычно исходной информацией являются числовые данные задачи, а программа реализует счет, необходимый для решения предложенной задачи, однако можно строить программы для реализации других видов переработки информации. Основное условие для того, чтобы машина могла переработать информацию некоторого заданного вида, состоит в том, чтобы эта переработка осуществлялась по четко описанным правилам. Эти правила должны быть связаны между собой логическими условиями так, чтобы в каждом отдельном случае было ясно, какое правило должно действовать. Каждое правило само по себе должно быть совершенно отчетливым, чтобы его можно было применять буквально.

Необходимо отметить очень большие технические возможности современных вычислительных машин. Например, эти машины выполняют несколько тысяч арифметических операций в одну секунду. «Память» машины устроена так, что она может хранить информацию очень большого объема — сотни тысяч знаков. Программа, перерабатывающая информацию, может быть самой разнообразной. Эти технические возможности позволяют использовать вычислительные машины не только по прямому назначению, т. е. для производства вычислений, но и для разных других видов переработки информации, в частности для перевода с одних языков на другие.

Для того чтобы заставить машину переводить текст с одного языка на другой, нужно: 1) выработать систему правил, употребление которых в сочетании со специ-

---

[1] С этого номера журнал начинает печатать серию статей, посвященных вопросам машинного перевода.

[2] См. В. П. Берков и Б. А. Ершов, О попытках машинного перевода, ВЯ, 1955, № 6.

[3] См. Д. Ю. Панов, Автоматический перевод, М., 1956.

альным словарем позволит механически переводить текст; 2) записать эти правила, а также словарь на «языке машины», т. е. составить программу, реализующую эти правила. Программа и словарь кодируются специальным образом и вводятся в машину. После этого машина подготовлена к переводу.

Наиболее трудным из указанных вопросов является первый. Он требует непременной совместной работы математиков и лингвистов. Следует заметить, что машина действует согласно введенным в нее правилам чисто формально. Она не может апеллировать к смыслу переводимого текста и использует только его начертание.

Проблема машинного перевода представляет большой научный интерес, так как требует нового подхода к изучению языков и взаимоотношений между способами выражения одной и той же мысли на разных языках.

Против некоторых предрассудков

Для того чтобы идеи и методы машинного перевода и его обоснования как со стороны математики, физики и техники, так и со стороны лингвистики были понятны и продуктивны, необходимо прежде всего рассеять некоторые предрассудки.

1. Некоторые лингвисты считают неправомерным соединение перевода и машины. Данное возражение понятно, если вслед за различными психологическими и эстетическими школами считать язык творческим актом, искусством. Однако язык прежде всего — орудие общения, его основная функция — коммуникативная, именно поэтому вполне возможно представить его в удобной для машинного перевода форме.

Никто не отнимает у лингвистов права думать, что язык может быть и «первоэлементом литературы» (Горький) и что речевой акт может быть «творческим». Но тем не менее язык может просто сообщать, и то, что он сообщает, можно и нужно довести до адресата любым удобным способом, в том числе — при помощи машины.

2. Второе недоразумение происходит от того, что применительно к машинному переводу некоторые термины лингвистики употребляются в необычном значении, например, такие, как «основа», «окончание», «разряды слов» и многие другие. В следующих далее конкретных статьях необходимость введения особых терминов разъясняется. Это вызывается техническими условиями работы машины и не меняет предмета лингвистики. Речь идет не о пересмотре обычной лингвистической терминологии, а о том, как проще «задать» машине языковую, объективно выделенную данность. Против подобного переименования трудно выдвинуть сколько-нибудь серьезные возражения, если оно логически оправдано и удобно для машины.

Возьмем, к примеру, рассматриваемое ниже (в статье О. С. Кулагиной и И. А. Мельчука), в правилах перевода с французского языка на русский, чисто графическое в ряде случаев выделение основы и окончания. Конечно, с таким чисто графическим выделением морфем мы имеем дело лишь в языке, который пользуется буквенным письмом. Иначе обстоит дело при оперировании, например, с китайским языком, который пользуется иероглифическим письмом, где каждый знак передает или слово, или часть его, соответствующую по значению нашей морфеме. Впрочем работа по машинному переводу применительно к китайскому языку в настоящее время только начата, и останавливаться на ней мы пока не будем.

Поскольку, как мы говорили выше, при машинном переводе язык берется в его коммуникативной функции и поскольку отношения между двумя языками должны быть определены чисто формально[1], правомерен и тот подход к языку, который зачастую неодобрительно называют «формализмом» или «структурализмом».

Вопрос о том, что может сообщить язык, тесно связан с выражаемым и выражающим, обозначаемым и обозначающим. В этом отношении язык можно и должно рассматривать как систему информации. Для машинного перевода важно, как структурно-формально дать элементы переводимого, чтобы через машину получить адекватные элементы переведенного.

Для решения этих задач прежде всего надо выключить психологию и физиологию, которые исследуют акт речи как психо-физиологический процесс, так как то, что интересует психологов и физиологов, для установления правил кибернетического перевода не нужно. Наоборот, в содружестве математиков и лингвистов необходимо включить логиков, так как здесь вопрос о данностях и их структурных характеристиках тесно связан с вопросом об отношениях. Для машинного перевода в равной степени необходимы и расчленение этих двух вопросов, и их обязательная связь. Отсюда следует, что необходимы: 1) точная регистрация всех фактов языка, с которого и на который переводят, и их качественных и исчислимо определяемых данных; 2) определение всех возможных отношений и сочетаний, в которые эти факты вступают;

[1] Машина имеет дело лишь с определенной последовательностью языковых единиц, выраженной графическими средствами данного языка или последовательностью звуков речи. В настоящее время ставится проблема перевода звучащей речи одного языка на звучащую речь другого языка, однако в данной статье последняя проблема не рассматривается.

3) формулировка «правил», которые можно задать машине, чтобы она скорейшим образом, учитывая количество «ошибочных» ответов, смогла дать удовлетворительный, «правильный» ответ.

Работа по решению задачи формализации отношений между языками должна опираться на те лингвистические теории, которые в исследовании языка исходят из его формальной стороны. В современном языкознании это — различные направления структурализма.

Изучение языка с этой точки зрения мы находим уже в так называемом формализме, система которого в наиболее четком виде была впервые разработана Ф. Ф. Фортунатовым и его учениками. Вряд ли случайно то обстоятельство, что при подготовке правил перевода с английского языка на русский наиболее выгодной оказалась последовательная разбивка текста на двучленные группы, в каждой из которых один член грамматически зависит от другого. Ведь эта разбивка представляет собой по существу разбивку текста на словосочетания (в понимании Ф. Ф. Фортунатова).

Некоторые общелингвистические вопросы машинного перевода

Разработка правил машинного перевода с одного языка на другой ставит перед лингвистами ряд интересных проблем, которые раньше или не возникали вообще, или ставились в ином плане. Эти проблемы относятся как к переводу с различных языков и на различные языки, так и к принципам анализа текста на некотором данном языке. Уже сейчас можно сказать, что различие в типе грамматического (и именно морфологического) строя языка обусловливает некоторые различия в характере переводческих правил для данного языка (при сохранении, конечно, некоторых общих принципов построения правил). Необходимость таких различий была обнаружена уже при разработке правил перевода с французского на русский и с английского на русский, поскольку в английском языке отсутствует ряд форм, имеющихся во французском языке, вследствие чего гораздо уже представлено согласование как форма связи между членами словосочетания.

Лингвистической задачей машинного перевода является выработка такой системы правил, которая позволила бы, имея некоторый текст на данном языке, однозначно определить, какой текст другого языка должен быть адекватен по смыслу данному тексту. Любой язык имеет словарный состав и грамматический строй. Поэтому любой текст любого языка содержит слова, связанные между собой по нормам грамматического строя данного языка. Различные грамматические связи служат для выражения различных отношений между понятиями, выражаемыми словами. Поэтому правила перевода с одного языка на другой должны содержать как правила перевода слов, так и правила передачи грамматических средств одного языка, выражающих некоторые отношения, грамматическими средствами другого языка, выражающими те же отношения.

Ввиду различий, существующих между языками, невозможно построить некую единую универсальную систему правил перевода с любого языка на любой, но каждая система правил, какая может быть построена, должна связывать лишь два конкретных языка, притом лишь в одном направлении. Так, например, может быть построена одна система правил для перевода с французского языка на русский, другая — с русского на французский, третья — с английского на русский и т. д. Но в то же время могут быть определены и некоторые общие принципы, т. е. некоторые общие правила для построения различных конкретных систем правил, точно так же, как при всем различии грамматической структуры разных конкретных языков земного шара существуют некоторые общие принципы изучения грамматической структуры языка, на которые, в частности, опирается и классификация языков по их грамматическому типу.

При наличии большого количества языков, которые должны быть связаны переводческими отношениями, встает вопрос, как более целесообразно строить правила перевода для двусторонней связи каждого данного языка с другим в пределах определенной группы. Возможно, что целесообразно сначала переводить на один какой-нибудь язык, через посредство которого осуществлять перевод на другие языки. Операция перевода в этом случае, повидимому, несколько замедляется, так как любой перевод осуществляется не непосредственно, а двумя этапами: с первого конкретного языка на язык-посредник, а затем с языка-посредника на другой конкретный язык, но зато потребуется меньшее количество систем правил, чем при переводе непосредственном. В качестве языка-посредника можно избрать один из конкретных языков, но возможно построение и некоторого специального языка. Этот специальный язык может быть языком определенных логических символов, позволяющих передать точно содержание переводимого текста, или же логическим языком, в основе которого лежат слова и формы реального языка, отобранные таким образом, что он будет характеризоваться теми же свойствами, что и логический язык символов. Возникает вопрос, не представляет ли подобный язык известных выгод в любых условиях перевода, независимо от количества языков, находящихся в переводческих отношениях, по-

скольку возможно, что легче точно определить формальные соответствия между таким специальным языком и любым конкретным, чем между двумя конкретными. Этот вопрос нуждается в специальном исследовании.

Правила перевода с любого данного языка на любой другой содержат, как уже было сказано, правила перевода слов и правила перевода грамматических средств (именно средств, а не форм, так как грамматической формой принято называть форму одного отдельного слова, каковой в некоторых языках может и не быть). Переводы слов содержатся в закодированном в порядке алфавита данного языка словаре. Но должны существовать и некоторые правила перевода слов, так как лишь сравнительно редко одно слово данного языка соответствует одному и только одному слову другого языка. Большей частью слово данного языка соответствует нескольким словам другого языка (в этом легко убедиться, заглянув в любой двуязычный словарь), и должен быть однозначно определен выбор слова второго языка из нескольких возможных.

Кроме того, в любом языке имеются особые фразеологические сочетания, значение компонентов которых не тождественно их значению вне этих сочетаний. В правилах для перевода с французского языка на русский, разработанных О. С. Кулагиной и И. А. Мельчуком, предусмотрены и такие случаи, когда французское слово может быть переведено одновременно двумя русскими словами, из которых читатель, знакомый с той специальной областью, к которой относится переводимый текст, сам выберет нужное по смыслу. Но такой двоякий перевод допускается лишь на настоящей стадии работы как временная мера; в дальнейшем будут определены правила, согласно которым выбор одного из двух значений должна осуществлять машина.

Правила передачи грамматических средств должны учитывать как морфологическую, так и синтаксическую сторону обоих языков. В тексте языка, с которого переводят, у каждого слова должны быть вычленены морфемы словоизменения, если они есть в языке. Это необходимо, во-первых, для поиска слова в словаре, где, совершенно очевидно, слово излишне давать во всех его формах и где приводятся лишь основы всех изменяемых слов; во-вторых, для определения (по этой словоизменительной морфеме) синтаксического отношения данного слова как зависимого в словосочетании к другому слову того же словосочетания или же для определения значения глагольной формы (времени, наклонения, залога, иногда лица). При выделении основы должен быть учтен ее звуковой (точнее фонемный) вид (передаваемый на письме определенной графической формой), так как в ряде языков имеются так называемые чередования. Это необходимо, во первых, для поиска в словаре, где любое слово дается в одном, принятом как основной, виде основы (с указанием на наличие других видов основы), во вторых, для определения синтаксического отношения данного слова к другому, включая предикативные формы глагола (см. выше), так как соответствующие значения в некоторых языках выражаются и чередованиями. В тексте языка, на который переводят, слова, найденные в словаре также в виде основ (если они не входят в состав устойчивых фразеологических сочетаний), должны быть снабжены словоизменительными морфемами, выражающими грамматические значения, свойственные словам языка, с которого переводят (если такие морфемы есть в языке, на который переводят). Основам же нужно придать вид, свойственный формам слов, соответствующих по значению отношениям, выраженным в тексте языка, с которого переводят (если в языке, на который переводят, имеют место изменения основы). Синтаксическая сторона должна быть принята во внимание в двояком отношении. Во-первых, одни и те же отношения между членами словосочетания в языке, с которого переводят, и в языке, на который переводят, могут быть выражены в одном морфологическими, а в другом синтаксическими средствами (т. е. посредством так называемых служебных слов или посредством порядка следования членов словосочетания — употребляем последний термин в значении, приданном ему Фортунатовым), и при переводе должны быть использованы именно средства, свойственные языку, на который переводят. Во-вторых, при переводе в ряде случаев должен быть изменен порядок слов согласно нормам того языка, на который переводят. Порядок слов, как явствует из только что сказанного, имеет особо существенное значение в тех языках, где он грамматикализован, т. е. где ряд отношений в пределах словосочетания выражается исключительно посредством порядка слов. Но порядок слов должен быть принят во внимание и в ряде случаев изменен сравнительно с текстом языка, с которого переводят, и при переводе на такой язык, в котором порядок слов не грамматикализован (как, например, в русском). Слова должны быть расположены в привычном для данного языка порядке. При этом следует заметить, что в языке, где порядок слов не грамматикализован, последний может быть использован для выделения соответствующих членов, в то время как в языках с грамматикализованным порядком это выделение может осуществляться другими средствами, например путем сопровождения выделяемых членов различными частицами. При переводе эти частицы могут опускаться, а выделение соответствующего члена может осуществляться посредством порядка слов (так, в русском языке выделение члена осуществляется преимущественно вынесением его на конец предложения, в особенности в сочетании с дистантным положением членов словосочетания, в которое данный член входит).

Особенности письменного машинного перевода

При анализе текста применительно к некоторому данному языку прежде всего возникает вопрос о том, с каким отрезком мы имеем дело и на какие единицы он последовательно разбивается. Существенно определить, какой отрезок переводимого текста содержит грамматические связи, осуществляющиеся лишь внутри него и не переходящие за его границы. Определение границ такого отрезка не столь просто. Известную помощь оказывает пунктуация, но не во всех случаях. Практически берется отрезок, содержащийся между двумя точками, т. е. тот, который синтаксически представляет собой предложение, возможно, так называемое сложное предложение. Большая часть грамматических связей действительно заключается внутри него. Но, во-первых внутри этого отрезка могут находиться различные отрезки, представляющие собой некоторые единицы, никаких грамматических связей между которыми нет. Это относится, прежде всего, к последовательности предложений, не связанных между собой никакими грамматическими средствами (союзами, относительными словами) и лишь разделенных на письме запятыми. Во-вторых, некоторые связи выходят все же за пределы отрезка, графически ограниченного точками. Это относится к местоимению типа *он* (*она*, *оно*), выбор форм которого в ряде языков может быть обусловлен принадлежностью к определенной категории (рода, лица и не лица и т. п.) существительного, лежащего за пределами данного отрезка.

Что касается единиц, расположенных внутри отрезка, ограниченного точками, то их выделение в некоторых случаях также осуществляется при помощи пунктуации, иногда же пунктуация оказать помощи не может, что в определенных случаях зависит от принятой для данного языка пунктуационной системы. Так, например, из соответствующих друг другу по значению французского оборота с относительным местоимением *qui* и русского с *который* русский оборот выделяется запятыми, выступающими как внешние показатели его границ. Французский оборот запятыми не выделяется, начальная его граница определяется формой *qui*, конечная же должна быть определена другими способами (не при помощи пунктуации и не при помощи особого слова, подобно тому как определяется начальная граница).

Нижеследующие статьи посвящены описанию некоторых специальных вопросов машинного перевода и работ по его реализации.

П. С. Кузнецов, А. А. Ляпунов, А. А. Реформатский

МАШИННЫЙ ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ

В настоящей работе излагаются принципы построения словаря и «грамматики» (свода специальных правил) для машинного перевода с французского языка на русский научного текста (из области математики), а также описывается сам процесс перевода.

Для перевода необходимо иметь следующие данные: 1) «Словарь основ»; 2) «Словарь оборотов»; 3) «Таблицы перевода предлогов»; 4) «Правила различения омонимов»; 5) «Таблицы окончаний» (французских и русских); 6) «Группа анализирующих правил»; 7) «Группа синтезирующих правил». По мере надобности эти данные вводятся в «память» машины.

I

Для машинного перевода математических текстов с французского языка на русский нами был подготовлен особый словарь на основе анализа словарного состава различных математических текстов. Подсчитывались как слова, так и словосочетания. Было рассмотрено 20 500 слов, среди них оказалось 2300 различных. Из этих слов были отобраны те, которые встретились не менее четырех раз; их оказалось около 1000. К этой тысяче слов были добавлены без статистических подсчетов термины, необходимость которых была очевидна (их около 50), а также все служебные слова. В результате получился словарь приблизительно на 1100 слов.

Особенность этого словаря в том, что в нем помещены не слова, а о с н о в ы. Под термином «основа» здесь понимается часть слова, которая остается г р а ф и ч е с к и неизменной во всех его формах, т. е. не совсем то, что обозначает этот термин в обычной грамматике. Часть слова, оставшуюся после отделения «основы», мы называем «окончанием». Так, для слова *travail* в нашем словаре основой будет *trava-* [так как у этого слова две формы: *trava-il* (ед. число) и *trava-ux* (мн. число)], для *parler* основа *parl-*, для *finir* основа *fini-* и т. д. Отметим, что для большинства французских существительных «основа» в нашем понимании совпадает с формой единственного числа,

поэтому почти все существительные приводятся в той же форме, что и в обычных словарях. Все неизменяемые слова приводятся целиком.

Несколько сложнее обстоит дело с глаголами. У многих из них после выделения графически неизменной части («основы») получается слишком большое разнообразие «окончаний»:

v-enir	*m-ener*
v-ient	*m-ène*
v-iennent	*m-enons*

т. е. получаются новые «окончания» для инфинитива (*-ener*, *-enir*), для 3-го лица ед. числа (*-ient*, *-ène*), для 3-го лица мн. числа и т. д. Поэтому мы прежде всего отделили в глаголах стандартные (т. е. общие для основных групп) окончания. Оставшаяся часть слова не могла быть принята как «основа» в нашем понимании, так как она графически изменяема. Поэтому различные для различных форм варианты основы глагола помещены в словаре как отдельные слова-«основы», каждое со своей полной словарной статьей. Например, глагол *venir* дается в следующем виде:

ven- (*-ons*, *-u*)
vien- (*-s*, *-t*)
vienn- (*-ent*)
viend- (*-ra*, *-rait*)

Относительно расположения основ в словаре надо заметить следующее: для упорядочения букв принят алфавитный порядок. Необычным является только то, что короткая основа в нашем словаре стоит позади всех более длинных, в которых она целиком содержится, т.е. *suppos-*(*-er*) помещено после *supposition*, *-généra-*(*-l*) после *généralisation* и *généralis-*(*-er*) и т. д. Такое расположение оказывается более удобным при поиске.

Каждая основа в словаре снабжена словарной статьей, которая содержит: 1) переводы; 2) информацию французскую: а) указание на часть речи, б) указания на обороты, в) предложный код, г) грамматические характеристики; 3) информацию русскую (к переводящей основе или к каждой из них, если их несколько): а) указания о выборе основы перевода, б) грамматические характеристики; 4) помету о выборе 2-х основ (т. е. указание на то, что для данного слова нужно выбрать два родственных варианта основы переводящего слова). Отметим, что пункты 1, 2, 3 обязательны для всех слов-основ, а пункт 4 важен только для некоторых.

Перевод

Для подавляющего большинства французских слов перевод состоит из одной или нескольких основ одного и того же переводящего слова. Несколько основ даются в том случае, если изменения переводящего слова отражаются в графических изменениях (чередованиях) основы. Например:

équation- — «уравнени-» (одна основа
nombre- — «числ-»
«чисел-» (две основы)
suppos-(*-er*) — «предполага-» (-ть)
«предполож-» (-ить, -им, -енный)
«предположи-» (-л).

В некоторых случаях для французского слова дается два переводящих слова (слов с двумя переводами оказывается около 50), причем выбор одного из них формально никак не обусловлен и зависит только от смысла фразы. В таких случаях в соответствующей русской фразе будут приведены оба варианта перевода слова, так как пока решено не прибегать к анализу смысловых связей слов и использовать при переводе *только их формальные отношения*.

Здесь машина окажется в положении переводчика, не знающего той области математики, к которой принадлежит переводимый текст. Переводчик-неспециалист не всегда может выбрать правильный вариант переводящего слова.

формация французская

а) Указание на часть речи. Каждое слово-основа в словаре снабжено пометой, указывающей, к какой части речи оно относится (об омонимах типа *point* — *le point*, *entre* — *il entre*, относящихся к разным частям речи, см. ниже). Это оказалось возможным потому, что у большинства французских слов (по крайней мере в лексике математического текста) принадлежность к той или иной части речи выражена формально (синтетическими средствами) в достаточной степени, так что эту принадлежность можно определить по отдельному взятому вне контекста слову.

б) Указание на обороты. При переводе французского текста часто бывает необходимо переводить не отдельные слова, а целые словосочетания, которые мы в дальнейшем будем называть «оборотами».

Под оборотами мы понимаем все те комбинации из нескольких слов, буквальный перевод которых одного за другим (по данным нашего словаря), без учета формы их сочетания, привел бы к искажению смысла. Такие обороты следует переводить как единое целое. Так, *à sa gauche* нельзя перевести дословно «в- его, ее- левый (-ую)», а надо «налево от него, нее».

Все обороты помещены в специальный «словарь оборотов», где каждый из них имеет словарную статью, аналогичную словарным статьям в «словаре основ». Обороты делятся на «целые» и «нецелые».

Мы называем оборот целым, если все входящие в него слова в переводимой фразе обязательно стоят подряд и между ними нельзя вставить никакого другого слова (например, *de plus en plus*, *en effet*, *à présent*). В нецелые обороты могут быть введены некоторые другие слова, причем для каждого такого оборота точно указывается, какие именно слова или части речи и на какое место могут вставляться (например, *aussi* + adjectif + *que* «*столь же* + прилагательное + *как и*», *à* + numéral, substantif + *près* «*с точностью до* + числительное, существительное»). В словарной статье оборота имеется обязательная помета, является ли он целым или нецелым.

В обороте выделяется основное значащее слово, и обороты в «словаре оборотов» располагаются в алфавитном порядке основных слов, а в пределах одного слова (которое может быть основным в нескольких оборотах) — по количеству слов в обороте, причем короткие обороты ставятся после более длинных. Так, *au plus* «по большей мере» стоит после *de plus en plus* «все больше», а *sous forme* «в виде» после *sous la forme* «в виде». Обороты в «словаре оборотов» последовательно пронумерованы. Указание на оборот имеется у слов, могущих быть основными словами того или иного оборота, и состоит оно из 2 частей: 1) порядковый номер первого оборота (в который данное слово входит как основное) в «словаре оборотов»; 2) число оборотов, в которое данное слово входит как основное. (Об использовании этих данных при переводе оборотов смотри стр. 115.)

в) Предложный код. Предлоги как часть речи при переводе допускают наибольшее число вариантов, причем падеж, которого требует предлог, находится в зависимости от того, какой русский предлог выбран. Некоторые предлоги всегда переводятся однозначно: *contre* «против», *vers* «к», *jusqu'à* «до», *autour de* «вокруг» и т. д. Семь предлогов (*à*, *dans*, *de*, *en*, *par*, *pour*, *sur*) переводятся в зависимости от того, каким словом они управляются (чаще всего — глаголом, но иногда — существительным и прилагательным). Для перевода предлогов составлены специальные «Таблицы перевода предлогов». В каждой из них дается список французских предлогов, которые могут управляться тем или иным одним словом, и каждому предлогу приписывается один перевод, в соответствии с переводом управляющего слова; при этом указывается, какого падежа требует переводящий предлог.

«Предложный код слова» — это номер той из «Таблиц перевода предлогов», в которой помещены предлоги, управляемые данным словом, и в которой им даны именно те переводы, какие требуются в сочетании их с данным словом. Например, основа *appliqu-* (глагол *appliquer* «применять») имеет в словаре код «16». «Таблица перевода предлогов» № 16 выглядит так:

à	*к*	дательный падеж
dans	*в*	предложный падеж
en	*в*	предложный падеж
par	(без предлога)	творительный падеж
pour	*для*	родительный падеж
sur	*на*	винительный падеж

Это означает, что *appliquer à* надо переводить «применять к чему-либо», *appliquer dans* или *en*—«применять в чем-либо» и т. д.

Предложный код имеют почти все глаголы и многие прилагательные (например, *indépendant de*, *parallèle à* и т. д.), а также некоторые существительные (*théorème sur*).

Если несколько слов управляют одними и теми же предлогами, причем переводятся эти предлоги одинаково при переводах всех этих управляющих слов, то всем этим словам приписывается общий предложный код.

г) Грамматические характеристики сводятся к следующим указаниям: для существительного — род, тип образования множественного числа; для глагола — переходный или непереходный, спрягается с *avoir* или с *être*, номер группы (об этом смотри стр. 117).

Для других частей речи имеются указания менее общего характера. Так, у пяти союзов — *et, mais, ni — ni, ou, c'est-à-dire* имеется помета «сочинительные» (они могут соединять однородные члены предложения); все остальные союзы (имеющиеся в нашем словаре) считаются подчинительными.

У предлогов *entre, parmi, avec* имеется указание, что при однородных членах предложения после сочинительного союза они не повторяются (т. е. ***entre*** *la maison et l'arbre*, а не ***entre*** *la maison et* ***entre*** *l'arbre*), тогда как, например, *à* повторяется (**à** *l'école et* **à** *la maison*).

Информация русская

а) Указание о выборе основы. Как уже говорилось, перевод дается в виде нескольких основ, если в переводящем слове происходят какие-либо чередования. В этом случае «Указание о выборе основы» представляет собой номер соответствующего правила из группы «синтезирующих правил». Это правило устанавливает, какую из приведенных в словаре переводящих основ следует выбрать для образования той или иной формы данного слова.

б) Грамматические характеристики сводятся к следующим указаниям: для существительного — «указание о выборе окончаний» (т. е. номер таблицы соответствующих данному существительному падежных окончаний), род; для глагола — «указание о выборе окончаний» (т. е. номера таблиц окончаний настоящего времени, будущего времени, прошедшего времени, неопределенной формы, деепричастий настоящего и прошедшего времени); «указание о выборе суффикса причастий».

Помета о выборе двух основ

Эта помета имеется только при некоторых основах и состоит из двух элементов: указание на то, что одновременно с данной основой следует выбрать из словаря еще одну; указание, какую именно вторую основу следует выбрать (объяснение этому — см. ниже, стр. 115).

Итак, здесь описано содержание и строение одной словарной статьи. Но в нашем словаре есть основы, имеющие при себе две словарные статьи: это случаи омонимии. Основа *fin-* (прилагательное «тонкий» и существительное «конец») имеет две совершенно различные словарные статьи. То же самое у основ *ensemble-* («множество» и «вместе»), *point-* («точка» и отрицательная частица) и т. д. Наткнувшись в тексте на слово с подобной основой, машина выбирает из словаря основу с обеими словарными статьями. После окончания поиска в словаре и обработки оборотов машина, пользуясь «Правилами различения омонимов» (см. стр. 115), «решит», какая именно из двух статей нужна в данном случае.

Такова в общих чертах структура «Словаря основ».

II

Процесс машинного перевода состоит из следующих операций: 1) поиск слова в словаре и перенос его вместе с его словарной статьей в рабочую часть «памяти» машины; 2) обработка оборотов; 3) различение омонимов; 4) «анализ» — обработка переводимых слов в определенной последовательности (по частям речи) при помощи группы анализирующих правил; 5) «синтез» — построение русской фразы при помощи группы синтезирующих правил на основе сведений, полученных посредством анализирующих правил.

Поиск слов в словаре

Перевод начинается с того, что машина берет из переводимого текста одно слово за другим и ищет для каждого из них в словаре соответствующую основу. Задача поиска состоит в том, чтобы, сравнивая искомое слово с основами, данными в словаре, найти максимальную по числу букв основу, целиком умещающуюся в переводимом слове.

Благодаря принятому нами расположению основ в словаре первая по порядку основа, целиком уместившаяся в переводимом слове, будет искомая. Действительно, любая другая основа, тоже целиком содержащаяся в переводимом слове, как более короткая, будет стоять в словаре позже.

Например: при переводе слова *généralisons* находим в словаре основы: 1) *généralisation-*, 2) *généralis-*, 3) *généra-*. Первая не укладывается в переводимом слове, вторая укладывается в нем полностью; она и будет искомой, так как третья, которая тоже укладывается полностью в слове, имеет меньше совпадающих букв (6 против 9

у *général-*). Найденная основа передается из словаря в рабочую часть «памяти» машины вместе с ее словарной статьей (статьями).

В дальнейшем, когда идет речь о «выборе основы из словаря», всегда подразумевается именно этот перенос основы с ее словарной статьей (статьями). Если была отметка о выборе второй основы, то в рабочую часть «памяти» машины также переводится вторая основа с ее словарной статьей.

Обработка оборотов

Когда ко всем словам фразы[1] выбраны из словаря соответствующие основы со словарными статьями, машина проверяет, нет ли в какой-либо из этих статей «указания на обороты». Если указание отсутствует, можно переходить к следующему этапу перевода («различение омонимов»). Если такое указание имеется, машина обращается к «словарю оборотов» и по номеру, данному в указании, находит первый оборот, в котором снабженное указанием слово является основным. Затем машина сравнивает этот оборот с переводимой фразой. Если он полностью уложится во фразе (т. е. в составе фразы имеются в с е слова, входящие в оборот, и они при этом расположены относительно друг друга и относительно основного слова совершенно так же, как в самом обороте), то оборот считается найденным и словарные статьи всех входящих в него слов заменяются словарной статьей оборота. Если оборот не уложился, то машина последовательно сравнивает с переводимой фразой все обороты с данным основным словом (число оборотов указано при основном слове). Если же ни один из оборотов, которые относятся к слову, имеющему «указание на обороты», «не уложился» в переводимой фразе, то это значит, что в данном случае слово не входит в оборот и его следует переводить самостоятельно.

Различение омонимов

Под «различением омонимов» понимаются две следующие операции:

I. Выбор одной из двух основ, полученных одновременно по специальной помете (см. стр. 114).

II. Выбор одной из нескольких статей, имеющихся при данной основе (см. стр. 114).

Разберем подробнее каждую операцию.

I. Во французском языке имеется ряд слов, которые могут быть и формой глагола, и существительным, например: *forme* «форма» и (*il*)*forme* «(он) образует», *fait* «факт» и (*il*) *fait* «(он) делает», *limite* «предел» и (*il*) *limite* «(он) ограничивает». В нашем словаре для таких слов имеются две разные основы: *forme-* (сущ.), *form-* (глагол) или *fait-* (сущ.), *fai-* (глагол). Но, действуя по сформулированному выше принципу поиска (принцип максимального совпадения), машина, отыскивая основу для глагола (*il*) *forme*, *former*, *formera*, найдет основу существительного, как более длинную. В таких случаях у основы существительного имеется в словаре помета, что вместе с ней надо выбрать из словаря основу глагола, и указывается, какую именно. Чтобы определить, какая основа нужна для перевода, переводимое слово сначала сравнивается с основой существительного и рассматривается окончание, которое при этом остается. Имеется два случая[2]: или остается какое-либо окончание, или же окончание отсутствует.

Рассмотрим первый случай.

А) Если осталось окончание *-s*, то рассматриваемое слово является существительным и для его обработки берется основа существительного, а основа глагола отбрасывается. (Окончание *-s* может быть не только окончанием множественного числа существительного, но и окончанием 2-го лица единственного числа глагола, однако вторую возможность мы отбрасываем, так как в математических текстах глаголы во втором лице единственного числа не встречаются.)

Б) Если остается любое другое окончание, то рассматриваемое слово — глагол, и для его перевода берется основа глагола, основа существительного отбрасывается.

Во втором случае (т. е. когда не осталось никакого окончания) рассматриваемое слово является либо существительным в единственном числе, либо глаголом в 3-м—4-м[3] лице ед. числа.

Эти два случая различаются следующим образом [омоформу «существительное-глагол» типа (*une*) *forme* — (*il*) *forme* будем условно обозначать VS]:

А) VS, перед которым стоят детерминативы[4], к р о м е *le*, *la*, или любой предлог,

[1] Фразой мы считаем отрезок текста между двумя точками или между точкой и точкой с запятой.

[2] Отметим, что как «правила различения омонимов», так и «анализирующие правила» построены в основном по принципу дихотомического деления, т. е. на каждом данном этапе перед машиной ставится вопрос о выборе из двух возможностей.

[3] Так называемое «четвертое лицо»— условное обозначение форманта *-e* (совпадающего окончания 1-го и 3-го лица ед. числа глаголов I группы в présent).

[4] Детерминативами называются артикли, указательные и притяжательные местоимения.

кроме *en*, является существительным. (Оговорку о *le*, *la* и *en* пришлось сделать потому, что *le* и *la* могут быть не только детерминативом, но и прямым объектным местоимением при глаголе, например: *il le limite*, *il la forme* и т. д.; *en* может быть не только предлогом, но и приглагольным местоимением, например: il en *forme quelque chose*.)

Б) VS, перед которым стоят *le*, *la* или *en*.

1. В конструкции:

$$S_{NA} \text{ (или } Pr_N)^1 + \begin{matrix} le \\ la \\ en \end{matrix} + VS$$

а) При отсутствии запятой или сочинительного союза перед *le*, *la*, *en* — VS является глаголом.

б) При наличии запятой или сочинительного союза в вышеупомянутой конструкции [т. е. S_{NA} (или Pr_N) + *ét* + $\begin{matrix} le \\ la \\ en \end{matrix}$ + VS]

α) VS является глаголом, если за ним не следует глагол до конца фразы или до союза;

β) VS является существительным, если за ним следует глагол.

2. Если VS, следующее после *le*, *la*, *en*, не входит в упомянутую конструкцию, то это существительное.

В) В остальных случаях VS является глаголом.

Подчеркнем, что в этом и в последующих случаях S может означать как отдельное существительное, так и сочетание существительного с прилагательными и наречиями, которые могут стоять как слева, так и справа от него.

Кроме омоформ «существительное-глагол» имеется единственный случай омоформы «предлог-глагол»: *entre* «между» и (*il*) *entre* «(он) входит». Для этого случая выбор нужной основы производится по следующему правилу: *entre* перед группой «детерминатив+существительное» — предлог, в остальных случаях — глагол.

II. В нашем словаре имеются различные случаи омонимии, когда основа имеет при себе не одну словарную статью. Например: 1) *fin-* «тонкий» или «конец», *plan-* «плоский» или «плоскость» и т. д., то-есть омонимия прилагательного и существительного; 2) *pas-*, *point-* «шаг», «точка» или отрицательные частицы; 3) *soit* «пусть» или форма 3-го лица ед. числа subjonctif от глагола *être*; 4) *ensemble-* «множество» или «вместе»; 5) *même-* «тот же» или «даже»; 6) *plus-*, *moins-* «больше», «меньше» или «плюс», «минус»; 7) *suivant-* «следующий» или «по» и т. д.

Для первого случая формулируется правило различения не отдельных слов, а лексико-грамматических категорий — существительного и прилагательного (случай омоформы «существительное-прилагательное» будем условно обозначать SA).

Правило различения в этом случае таково: SA после детерминатива или предлога при отсутствии справа существительного, которое может быть отделено прилагательными, наречиями и сочинительными союзами, является существительным. В остальных случаях SA — прилагательное.

Для всех других случаев формулируются правила применительно к отдельным словам, например:

Случай 2: *pas*, *point* являются отрицательными частицами, если они стоят непосредственно после глагола (при этом они могут отделяться только наречиями) и в конструкции типа *ne* + *pas* + infinitif, в остальных же случаях эти слова — существительные.

Случай 4: *ensemble* после детерминатива или предлога (при этом может отделяться прилагательными, наречиями и сочинительными союзами) существительное, в остальных случаях — наречие. Аналогичные правила имеются для всех случаев омонимии, встречающихся в нашем словаре.

Кроме описанных двух случаев различения омонимов (выбор одной из двух основ и выбор одной из двух словарных статей), встречается еще один случай: некоторые французские глаголы в контексте могут быть как переходными, так и непереходными, например: *changer* «менять» и «меняться»; *continuer* «продолжать» и «продолжаться» и др. Такие глаголы (обозначаемые V_{tl}) считаются переходными в конструкции $S_{NA} + V_{tl} + S_{NA}$ при отсутствии запятой перед вторым S_{NA}. В эту конструкцию может входить еще и существительное с предлогом (между V_{tl} и вторым S_{NA}).

«Правила различения омонимов» неприменимы к словам, которые имеют несколько переводов, различимых только по смыслу. В этих случаях машина будет выдавать все имеющиеся у нее варианты перевода. Поскольку различные варианты перевода принадлежат к одной и той же части речи, то они, следовательно, требуют установле-

[1] S_{NA} — условное обозначение существительного без предлога, т. е. в nominatif или accusatif; Pr_N — условное обозначение местоимения в nominatif.

ния одних и тех же данных (число и падеж — для существительных; время, вид, число, лицо или род — для глагола и т. д.), т. е. обработка таких слов анализирующими правилами ничем не отличается от обработки слов, имеющих одну словарную статью с одним переводом. Поэтому можно считать, что анализирующие правила после обработки оборотов и различения омонимов имеют дело со словами, каждому из которых в словаре соответствует одна основа с одной словарной статьей.

«Анализ»

Под «обработкой слова анализирующими правилами» понимается анализ форм французского слова и его положения во фразе среди других слов в целях определения форм и места соответствующего русского слова для выражения соответствующих связей между словами. «Анализирующие правила» сгруппированы по частям речи. В рабочем участке «памяти» машины перед обработкой «анализирующими правилами» имеются: 1) французские слова, разделенные на словарные основы и на окончания, которые получены вычитанием словарных основ из переводимых слов; 2) по одной словарной статье для каждого из слов; 3) свод правил обработки очередной части речи; 4) таблица французских окончаний.

Последовательность обработки такова: глаголы — частицы — предлоги — существительные — местоимения — прилагательные и причастия, играющие роль прилагательных. Последовательность эта не случайна. Ведь и при обычном переводе французского текста часто начинают с глагола не только потому, что он может быть смысловым ключом фразы, но и потому, что глагол — наиболее «синтетическая» часть речи во французском языке, он сохранил наибольшее количество форм (многие из них существуют лишь графически, но для машины только это и нужно). Французский глагол в своих формах выражает лицо, число, время, наклонение, возвратность; во многих случаях глагол можно перевести, исходя только из его форм, не обращаясь к связям с другими словами. Французское же существительное вовсе не выражает падежа, и падеж переводящего русского существительного обычно зависит от перевода глагола, управляющего существительным непосредственно или посредством предлогов. Поэтому существительное удобнее обрабатывать после глаголов и предлогов, а прилагательные—после существительных, так как они относятся к существительным и согласуются с ними. В качестве примера «анализирующих правил» здесь рассматриваются «Правила обработки глагола».

Форма русского глагола определяется следующими морфологическими данными: 1) время, вид; 2) число; 3) лицо (в настоящем и будущем); 4) род (в прош. вр.); 5) возвратность; 6) наличие отрицания. Определение наклонения русского глагола для машины не имеет смысла, так как в русском языке глагол в своих грамматических формах наклонения не выражает: *Я сделал бы, если бы мог* — в этой фразе с точки зрения машинного перевода представлены глаголы прошедшего времени, совершенного и несовершенного вида, мужского рода, невозвратные и неотрицательные. «Бы» является для машины отдельным словом, которое ставится иногда после глагола, например при переводе: *Si je le faisais* «если я делал бы это». «Правила обработки глагола» служат для определения всех перечисленных выше данных и исходят при этом, во-первых, из морфологической характеристики французского глагола и, во-вторых, из его отношений с другими словами.

Для некоторых «особых» (для машины) глаголов, таких, как, например, *être, aller,* отдельные формы приведены в словаре в качестве самостоятельных слов. При этих формах, кроме обычной словарной статьи, указаны время, лицо, число и иногда еще помета «окончательности», которую поясним ниже.

Обработка глагола распадается на две операции: 1) работа с «таблицами окончаний» (получение предварительных данных) и 2) работа с правилами (уточнение предварительных данных). Если глагол «особый», то его предварительные данные (время, вид, лицо, число, «окончательность», вставка «бы») получают непосредственно из словаря. Если глагол не «особый», то сначала по таблицам окончаний определяют предварительные данные. Для этого окончание, выделенное путем вычитания основы, сверяется с соответствующей данному глаголу таблицей окончаний. Таких таблиц 12, по числу различных глагольных групп (I спряжение, II спряжение и 10 групп архаического спряжения). У каждого глагола в словаре указан номер его группы, т. е. номер нужной таблицы (см. стр. 114). Окончания в таблицах расположены не по алфавиту, а по частотности, сначала présent ind.— 3-е лицо ед. числа (в I группе 4-е лицо ед. числа), 3-е лицо мн. числа, 1-е лицо мн. числа, 1-е лицо ед. числа; затем — infinitif, participe passé, participe présent, futur, conditionnel, imparfait subjonctif (порядок приведения личных окончаний — как в présent ind.).

Проверяемое окончание сравнивается с окончаниями таблицы, пока не получим полного совпадения. При каждом окончании французского глагола в таблице дается указание на соответствующее время, вид, число, лицо (для личных форм) переводящего глагола. Это оказалось возможным потому, что в общем формы времени русского глагола обычно имеют соответствия в системе времен французского языка: présent

ind. переводится обычно настоящим временем, imparfait — прошедшим несовершенного вида, passé composé — прошедшим совершенного вида и т. д.

Кроме этих данных, в таблице есть еще помета «окончательности»— указание, что полученные данные в уточнении не нуждаются (т. е. вторая операция отпадает).

После того как получены предварительные данные (из таблицы, а для особых глаголов — прямо из словаря), они уточняются при помощи правил, которые приведены ниже. Сначала выясняется, какое грамматическое время получено по предварительным данным, и в зависимости от этого приводится в действие одно из правил №№ 1, 2, 4, 5, 6. В каждом из этих правил указано, к какому следует перейти после его выполнения.

Правило 1. Предположим, что по предварительным данным получено «настоящее время».

а) Если перед глаголом в 1-м лице мн. числа нет *nous* (которое может быть отделено от глагола наречиями и местоимениями), настоящее время следует заменить будущим совершенного вида. Здесь имеется в виду форма 1-го лица мн. числа в impératif: *considérons la série...*[1] «рассмотрим ряд...»

б) Если перед глаголом есть *si*, отделенное от него местоимением в именительном падеже или существительным без предлога и наречиями, а в пределах фразы есть другой глагол в *futur*, то настоящее время надо заменить на будущее совершенного вида. Здесь имеется в виду условное придаточное, вводимое *si*: *si l'on développe, suivant les puissances de Z l'expression..., on verra que le coefficient...* (стр. 86) «если мы разложим по степеням *Z* выражение..., мы увидим, что коэффициент...»

в) Если перед глаголом имеется *que*, отделенное местоимениями и наречиями, то уточнение следует отложить до перевода *que*; если *que* переводится как союз «чтобы», то настоящее время надо заменить прошедшим совершенного вида. Здесь имеется в виду совпадение subjonctif и indicatif в I группе. Так как машина не различает графически совпадающие формы, то для нее *parle* в (*nous savons*) *qu'il parle* и (*nous voulons*) *qu'il parle* оказывается одной и той же формой, поскольку *-e* помечено в таблице как окончание настоящего времени 4-го лица ед. числа. Признаком того, что форма с окончанием *-e* — subjonctif, является наличие в русском переводе союза «чтобы». Обычно subjonctif переводится прошедшим временем совершенного вида +«бы», причем при наличии слева союза «чтобы» снимается «бы».

Выбор совершенного вида в этом и в некоторых других случаях обусловлен причинами практического удобства. В подавляющем большинстве случаев перевод будет верным, искажения смысла не произойдет, а это основное, что нас интересует, так как некоторая корявость части фраз в первом варианте машинного перевода неизбежна.

г) При отсутствии условий, указанных в первых трех пунктах, следует оставить настоящее время. После правила 1 переходим к правилу 2.

Правило 2. Предположим что по предварительным данным получено «будущее время совершенного вида».

а) Если имеется помета окончательности, то уточнения не требуется. Помета окончательности ставится при окончаниях futur, так как futur всегда переводится будущим временем.

б) Если пометы окончательности нет и в пределах фразы имеется союз *si* «если», то будущее время следует заменить прошедшим временем несовершенного вида +«бы».

в) Если нет ни пометы окончательности, ни *si* «если», то следует оставить предварительные данные.

«Будущее время» без пометы окончательности стоит в таблицах при окончаниях conditionnel; случай (б) имеет в виду conditionnel в главном предложении условного периода, случай (в) имеет в виду модальное употребление Conditionnel в самостоятельных предложениях, где он будет переводиться будущим временем. Такой перевод оказался практически удобным. Например, *la démonstration s'appliquerait sans modification à une fonction telle que...* (стр. 89) «доказательство применится без изменения к такой функции, что...» После правила 2 переходим к правилу 3.

Правило 3. Определение лица. В случаях, когда окончания 1-го и 3-го лица французских глаголов совпадают, этим окончаниям соответствует в таблицах условное 4-е лицо. Русскому прошедшему времени и неопределенной форме, не нуждающимся в определении лица, в таблице дается условное «нулевое» лицо.

Правило уточнения лица состоит в следующем: 4-е лицо при наличии слева местоимения *je*, которое может быть отделено местоимениями и наречиями, следует переводить 1-м, а при отсутствии этого местоимения — 3-м лицом. Для остальных лиц оставить предварительные данные. После правила 3 переходим к правилу 7.

Правило 4. Предположим, что по предварительным данным получено «прошедшее время».

а) Если глагол — несовершенного вида и перед ним имеется *si* «если», то следует

---

[1] См. E. Borel, Méthodes et problèmes de théorie des fonctions, Paris, 1922, стр. 71. (В дальнейшем указания на страницы этой работы даются в тексте.)

заменить прошедшим временем совершенного вида и после союза «если» добавить частицу «бы». Если же *si* отсутствует, то оставить по предварительным данным. Прошедшее время несовершенного вида дается в таблицах для окончаний imparfait. Уточнение с *si* имеет в виду ирреальный условный период.

б) Если в переводимом тексте было «несовершенный вид + бы», а перед глаголом имелось *que*, то уточнение возможно только после перевода *que*; если *que* переводится как союз «чтобы», то следует снять частицу «бы». Если *que* отсутствует, то оставить по предварительным данным. «Прошедшее время несовершенного вида + бы» дается в таблицах в качестве соответствия для окончаний subjonctif в тех группах, где оно отличается от présent ind. После правила 4 переходим к правилу 7, определив предварительно род глагола.

Род глагола в прошедшем времени таков же, как у ближайшего слева существительного или местоимения в именительном падеже, с которым французский глагол согласуется в числе и лице, если между ними нет другого глагола; если имеется еще глагол, то следует искать существительное или местоимение в им. падеже дальше влево.

Правило 5. Случай, когда по предварительным данным получено participe.

Причастия (participe présent и participe passé) могут играть в предложении двоякую роль: они или функционируют как форма глагола (образуя сказуемое) и тогда должны обрабатываться вместе с глаголами в первую очередь, или функционируют как прилагательные и тогда должны обрабатываться после обработки существительных. Поэтому работа над причастиями начинается с выяснения их роли в переводимой фразе.

А. Participe passé

1. Если participe passé стоит после любой формы глаголов *avoir*, *s'être* и *être* (последний — для глаголов, имеющих специальное указание на то, что они спрягаются с *être*, например, *aller*, *venir*), причем вспомогательный глагол может быть отделен от причастия наречиями и выражением *le premier*, то participe passé считается глагольной формой, которая обрабатывается вместе с глаголами в первую очередь и переводится прошедшим временем совершенного вида. Показатель числа определяется по *avoir*, *s'être* или *être*, сами же формы вспомогательных глаголов при переводе отбрасываются.

2. Если отсутствуют вышеизложенные условия, participe passé считается прилагательным (Ар[1]) и обрабатывается после существительных.

Б. Participe présent

I. Если participe présent стоит: а) в начале фразы; б) после *en*; в) после подчинительного союза; г) после глагола (при этом может отделяться наречиями и местоимениями), то participe présent считается глагольной формой, обрабатывается вместе с глаголами и переводится деепричастиями настоящего времени.

II. Если отсутствуют указанные условия, participe présent обрабатывается после существительных.

а) Participe présent после существительного в именительном падеже.

1. При наличии справа от participe глагола в 3-м лице, согласующегося в числе с этим существительным, от которого он не отделен другим существительным или местоимением в том же числе и в именительном падеже, переводится действительным причастием настоящего времени именительного падежа. В роде и числе это причастие согласуется с предшествующим ему существительным.

2. При отсутствии вышеуказанных условий (нет глагола, или он отделен другим существительным, местоимением) participe présent переводится личной формой глагола в 3-м лице. В числе этот глагол согласуется с указанным существительным в именительном падеже,во времени— с ближайшим слева или справа глаголом. И в том случае, когда справа есть еще глагол, перед существительным в переводе ставится союз «когда», если же справа другого глагола нет, то ставится союз «причем», т. е. перевод осуществляется по схеме:

$$S_N + \text{part. prés.} + (\text{subst. adj.}) + \begin{matrix} S_N \\ Pr_N \end{matrix} + \begin{matrix} \text{наст. буд. пр.} \\ \text{verbe} \end{matrix} =$$

$$\begin{matrix} \textit{когда} \\ \textit{причем} \end{matrix} + \text{сущ.} + \begin{matrix} \text{наст. буд. пр.} \\ \text{глагол} \end{matrix} + (\text{сущ. прил.}) + \begin{matrix} \text{сущ.} \\ \text{местоим.} \end{matrix} + \begin{matrix} \text{наст. буд. пр.} \\ \text{глагол} \end{matrix}$$

В пункте II а1 речь идет о participe présent, которое является определением к существительному, а в пункте II а2 — об абсолютном причастном обороте типа: *nous*

[1] Ар — условное обозначение «прилагательных-причастий» в отличие от А — «настоящих» прилагательных.

voyons que l'ordre de F(z) étant ρ′, *celui de* $e^{h(z)}$ *ne peut dépasser* ρ′ (стр. 76). «Мы видим, что, когда порядок $F'z$) есть ρ′, порядок $e^{h(z)}$ не может превосходить ρ′».

б) Participe présent после существительного в косвенном падеже.

1. Если participe présent имеет окончание *-ant*, следует руководствоваться правилами 3, 4.

2. Если participe présent имеет окончания: *-ante* (ж. род, ед. число), *-ants* (м. род, мн. число), *-antes* (ж. род, мн. число),то выполнять правила 3 и 4 следует только тогда, когда этому не мешает согласование; в противном же случае относить к ближайшему существительному, которое согласуется с participe présent в роде и числе (в третьем случае следует искать его влево, в четвертом — выбрать substantif после *de*).

3. Если найденное существительное не является существительным с *de* без детерминатива, participe présent переводится, как в пункте II a1.

4. Participe présent в позиции после substantif + *de* + substantif относится к первому substantif и переводится, как в пункте II a1.

Participe présent после сочинительного союза переводится так же, как ближайшее слева participe présent; если таковое отсутствует, то переводится, как ближайшее слева participe passé или прилагательное. После правила 5 переходим к правилу 7.

Правило 6. Неопределенная форма совершенного вида.

Помета неопределенной формы совершенного вида ставится при окончаниях infinitif.

а) Если перед французским infinitif имеется предлог *sans*, который может быть отделен местоимениями и наречиями, то неопределенную форму следует заменить на «не + деепричастие несовершенного вида».

б) Если перед французским infinitif имеется одна из форм глагола *venir*, которая может быть отделена местоимениями и наречиями (имеется в виду passé immédiat), то неопределенную форму следует заменить личной — прошедшим временем совершенного вида в том числе, какое имеет *venir*. Перед личной формой ставится «только что», форма же *venir* опускается.

в) Если перед французским глаголом стоит одна из форм глагола *aller*, которая может быть отделена местоимениями и наречиями (имеется в виду futur immédiat), то неопределенную форму следует заменить личной — будущим временем совершенного вида, число и лицо такое, как у *aller*; форма *aller* опускается. После правила 6 переходим к правилу 7.

Правило 7. Определение возвратности. Глагол считается возвратным, если перед ним имеются местоимения *je me*, или *nous nous*, или *se* (между местоимениями может стоять отрицательная частица *ne*: *je ne me*, *nous ne nous*), или если в 1-м лице мн. числа местоимение *nous* находится только справа от глагола. После правила 7 переходим к правилу 8.

Правило 8. Определение наличия отрицания.

а) Если перед французским глаголом (за исключением *pouvoir*) имеется *ne* (которое может отделяться посредством *pas* от глагола в infinitif), а во фразе имеются *pas*, *point*, *guère*, *rien*, *jamais*, *personne*, *aucun*, *plus* (при их поиске не переходить через другое *ne* или *que* — частицу), то глагол считается отрицательным. Если эти условия отсутствуют, глагол считается утвердительным.

б) Если перед глаголом *pouvoir* имеется *ne*, а вправо от глагола нет частицы *que*, то он считается отрицательным. Если эти условия отсутствуют, он считается утвердительным.

«Синтез»

Под «обработкой слова синтезирующими правилами» понимается образование нужных форм русских слов и размещение их во фразе в соответствии с данными, которые получаются при помощи анализирующих правил.

В рабочем участке «памяти» машины перед началом синтеза имеются:

1. Переводящие (русские) основы для всех слов французской фразы, по одной или по несколько для каждого.

2. Указания, в какой форме должно быть то или иное переводящее слово и на какое место следует его поставить. Отсутствие этого последнего указания означает, что слово надо оставить на том же месте, которое занимало соответствующее французское слово.

3. Русская информация к переводящим основам (см. стр. 114).

4. Таблицы русских окончаний.

5. Группа синтезирующих правил.

Синтезирующие правила сравнительно с анализирующими правилами значительно меньше по объему и проще по содержанию. Работа синтезирующих правил сводится к двум операциям:

1. По «указанию о выборе основы», имеющемуся в русской информации, соответствующее правило устанавливает, какую из нескольких основ, переводящих одно

французское слово, следует выбрать для образования нужной нам формы. Например, для перевода слова *permutation* даны две русские основы: 1) «перестановок-» и 2) «перестанов-», а при них «указание о выборе основы» № 2. «Синтезирующее правило» № 2 гласит, что для слов, имеющих такое указание, вторая основа берется для родительного падежа множественного числа, а первая — для всех остальных форм.

Для глагола *considérer* даются основы: 1) «рассматрива-», 2) «рассмотр-» и «указание о выборе основы» № 5. «Синтезирующее правило» № 5 гласит, что для слов, имеющих такое указание, первая основа используется для образования несовершенного вида, а вторая — для образования совершенного вида.

2. По «указанию о выборе окончания» машина обращается к соответствующей таблице окончаний и, согласно данным анализирующих правил, выбирает нужное окончание и присоединяет его к основе. Для причастий выбирается суффикс, а окончание берется из таблиц падежных окончаний прилагательных. Полученные слова расставляются по указанию о порядке слов. Образовавшаяся фраза печатается печатающим устройством.

Так в общих чертах будет осуществляться машинный перевод с французского языка на русский.

Для простоты изложения здесь были опущены многочисленные технические подробности, но об одной из них, довольно существенной, следует упомянуть: это использование так называемых «особенностей». Все слова, имеющие какие бы то ни было индивидуальные особенности в их употреблении, в выборе их перевода, в их влиянии на другие слова и т. д., пронумерованы. Порядковый номер слова и называется его «номером особенности».

Например, «номер особенности» имеет глагол *aller*, поскольку, когда он стоит перед infinitif, то он не переводится, infinitif же переводится личной формой (см. выше стр. 120). Союз *si* также имеет «номер особенности», так как он требует замены настоящего времени будущим (см. стр. 118, правило 1б), а будущего времени — прошедшим несовершенного вида + «бы» (см. стр. 118, правило 2б). Слова, не имеющие никаких особенностей, имеют нулевой «номер особенности».

Подобная кодировка позволяет формулировать и проверять правила, касающиеся частных особенностей слов, в применении к номерам особенности, а не к самим словам. Таким образом, мы получаем возможность классифицировать и объединять особенности, т. е. если несколько слов имеют совершенно тождественные особенности, то им приписывается общий «номер особенности». Это значительно упрощает все проверки. Так, например, в «Правилах обработки существительных» есть такое правило: «существительное после глаголов *s'appeler, se nommer, devenir, paraître* ставится в творительном падеже». Если не пользоваться «номером особенности», машине придется сделать четыре проверки — сравнить стоящий перед существительным глагол с четырьмя вышеуказанными, чтобы установить, не является ли он одним из них. Мы же приписываем всем им общий «номер особенности», например 157, и формулируем правило для машины так: «Существительное после глагола с № 157 ставится в творительном падеже». Теперь машина должна делать только одну проверку — не имеет ли предшествующий глагол номера 157.

*

Вышеизложенные правила сформулированы на основе французских математических текстов[1].

Настоящая работа является первым опытом машинного перевода с французского языка на русский и не претендует на полноту и окончательность результатов.

О. С. Кулагина и И. А. Мельчук

ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ МАШИННОГО ПЕРЕВОДА

Машинный перевод, т. е. возможность перевести посредством машины текст с одного языка на другой, в настоящее время является реальностью. Разумеется, это не значит, что человека-переводчика можно или нужно заменить машиной. Машинный перевод будет целесообразен только в известной ограниченной области переводческой работы, и языковеды должны точно уяснить себе, в какой именно области и для

---

[1] P. Appel, Traité de mécanique rationnelle, tt. I, II, IV, Paris, 1926 — 1937; E. Borel, указ. соч.; его же, Leçons sur les fonctions entières, Paris, 1921; H. Lebesgue, Leçons sur l'intégration et la recherche des fonctions primitives, Paris, 1928; É. Picard, Traité d'Analyse, tt. I — III, Paris, 1922—1928.

каких целей, а также в чем могут заключаться его полезные и выгодные в практической работе особенности.

Секция общего и сравнительно-исторического языкознания Ученого совета Института языкознания Академии наук СССР на заседании 28 февраля 1956 г. заслушала сообщение О. С. Кулагиной и И. А. Мельчука, которые доложили о лингвистической стороне машинного перевода математического текста с французского языка на русский[1]. Выгодной стороной этого сообщения явилась его конкретность и достаточная для понимания широкой аудитории детальность.

Сообщение О. С. Кулагиной и И. А. Мельчука было особенно интересно для тех, кто знает и помнит предисторию этого технического изобретения, которая восходит еще к 1939 г. В 1939 г. изобретатель-техник П. П. Смирнов-Троянский явился в учреждения АН СССР и сообщил о том, что он разработал способ машинного перевода с одного языка на другой; изобретатель просил консультировать это его изобретение с лингвистической стороны. Надо сказать, что в то время изобретение П. П. Смирнова-Троянского было встречено языковедами с глубоким скептицизмом; оно считалось неосуществимым и совершенно ненужным. Возможность машинного перевода допускали лишь немногие. В ходе последовательных консультаций, в которых принял участие и я, постепенно выяснилось, что П. П. Смирнов-Троянский не связывал разработанный им способ машинного перевода с идеей электронных счетных машин, но этот способ создавал возможность перевода, допустим, русского текста в Москве и выдачи его в переводе на французский язык, допустим, в Париже. А если бы была возможность машинного перевода на языки народов Советского Союза, то мы могли бы какой-либо документ, так сказать, «циркулярно» получать сразу на нескольких языках. Дело тянулось довольно долго и кончилось тем, что 31 июля 1944 г. в Институте автоматики и телемеханики АН СССР состоялось авторитетное совещание с участием специалистов в области механики и электротехники и лингвистов. Надо сказать, что специалисты по механике и технике выступали на совещании больше с доказательствами «невозможности» машинного перевода и, вторгаясь в область чуждой им лингвистики, говорили о синонимах, о тонкости их смысловых оттенков, словом — говорили о том, что не имело отношения к их специальности. В результате опытная модель переводной машины (со словарным табулятором на 1000 слов) так и не была построена. Вскоре сам изобретатель П. П. Смирнов-Троянский, насколько мне известно, из Москвы уехал; а ныне, по полученным мною сведениям, П. П. Смирнов-Троянский уже скончался.

Как можно было видеть из доклада О. С. Кулагиной и И. А. Мельчука, применение счетных машин для целей машинного перевода дает ряд преимуществ по сравнению с первоначальной схемой, предложенной П. П. Смирновым-Троянским, и дальнейшее продолжение подобных опытных работ следует признать вполне целесообразным и нужным. В то же время осуществление языкового перевода имеет некоторые особенности по сравнению с программой даже очень сложного математического вычисления, которое машины выполняют ныне без затруднений. В деле перевода ряд моментов машина может исполнить лучше и легче, чем человек, например поиски слова в словаре. В то же время другие детали невыгодно передавать или передоверять машине, например подыскание синонимов, выбор морфологических окончаний (во многих случаях) или целостное оформление фразы, где вопросы синтаксиса соприкасаются с вопросами стилистики.

Существует граница между тем, что выгоднее всецело передать машине, и тем, что выгоднее оставить за мыслящим человеком, и эта граница должна быть вполне осознана при конструировании машины и при составлении для нее лингвистических программ.

Программы, намеченные в докладе О. С. Кулагиной и И. А. Мельчука, приспособлены к тому, чтобы машина выдавала результат перевода на нужном языке, причем машина сама должна определить всю лексику перевода, все его грамматическое оформление, орфографическое написание вплоть до последней буквы текста и т. д., и хотя редактор переведенного текста вообще предусматривается, но его роль намечена не особенно точно. В противоположность этому при проведении опытов в 1944 г. предполагалось, что переводная машина лишь подготовит перевод примерно в том виде, как подготовляются прозаические подстрочники, а редактор, выполняя указания подстрочника, придаст тексту правильный грамматический и стилистический вид. Поскольку программа всех грамматических указаний была организована так, что синтаксическая функция каждого слова сразу становилась ясной, от редактора не требовалось никакой специальной высокой квалификации, а лишь знание грамматического разбора фразы на родном языке. По схеме 1944 г. надо было знаками особого кода указать синтаксическую функцию (подлежащее, определение, сказуемое и т. п.) после каждого слова в переводимом тексте. Дальше машина выполняла свою работу

[1] См. напечатанную в этом номере ВЯ статью О. С. Кулагиной и И. А. Мельчука «Машинный перевод с французского языка на русский».

и выдавала результат на телеграфной ленте в виде текста уже на другом языке, причем после каждого слова кодированными знаками указывалась роль и форма этого слова во фразе. Работник, который передавал в машину текст для перевода, должен был знать свой язык, но мог и не знать языка, на который данный текст требовалось перевести. Редактор, принимающий из машины выполненный перевод и редактирующий его, должен был знать язык, на который производился перевод, но мог и не знать того языка, с которого текст переводился. Таким образом, процесс машинного перевода устранял участие переводчика, который был бы обязан знать оба языка.

Как десять лет назад, когда опыты машинного перевода только что начинались, так и сейчас языковедов интересует вопрос, может ли машина перевести текст Бальзака, Пушкина, Маяковского и др. На этот вопрос нужно ответить ясно, и прежде всего ответить встречным вопросом: кому нужен машинный перевод текста Бальзака, какая и где существует реальная практическая потребность в этом? А затем можно уверенно сказать, что прозаический перевод любого текста посредством машины всегда возможен, в том числе и текста художественного. Возможен машинный перевод всякого делового прозаического текста, всякого научного текста, всякой статьи политического и общественного содержания, всякого юридического текста (как известно, требующего при переводе особой точности). Может машина выполнить и перевод прозой текста Бальзака, как и прозаический перевод, например, стихотворения Лермонтова. Но стихотворного перевода машина дать не может, и было бы чистейшей утопией требовать, чтобы машина выдала нам стихотворение, написанное ею на заданную тему; машина в таком случае ответила бы нам по-латыни: est modus in rebus! «есть же смысл во всех вещах!».

Современное состояние техники машинного перевода требует дальнейшей работы. При этом, нам кажется, серьезно должен быть обдуман вопрос о том, во всех ли операциях перевода следует добиваться полного устранения разумной оценки мыслящим живым человеком тех результатов, которые в ходе процесса дала машина. Из доклада О. С. Кулагиной и И. А. Мельчука видно, что при последовательном переходе от одной операции, намеченной программой, к другой машина должна была обычно выбрать одно из двух возможных решений: или да, или нет. Но иногда (что по природе языка вполне естественно), очевидно, требовалось от машины более тонкое оценочное решение, которого машина могла достигнуть только сложным путем очень длинной цепи последовательных дихотомических решений. Яснее всего это можно было заметить в вопросе о выборе синонимов, когда от машины требовалась оценка таких тонких оттенков понятия, которые в мысли человека (а следовательно, и в тексте перевода) существуют не как числа в ряду натуральных чисел и, таким образом, не могут быть непосредственно как данные введены в вычисление (ибо в машине перевод осуществляется как вычисление). Таков, например, выбор между синонимами *лиловый — фиолетовый* или между обусловленными исторически и стилистически терминами *стачка — забастовка*, *аэроплан — самолет* и т. п. Не будем здесь говорить о том, что в языках определенного грамматического типа при обилии и многотипности форм словоизменения, при наличии многих супплетивно построенных парадигм подобные оценочные суждения в процессе перевода потребуются от машины, и она сможет их осуществить, правда, очень сложным обходным путем. Но не лучше ли в таких случаях допустить в известных границах как бы «кооперацию» с живым человеческим разумом, не требуя от этого разума, чтобы он предварительно изучил другой, незнакомый ему язык? Некоторое расширение роли редактора, нам кажется, было бы здесь целесообразным, причем само выполнение перевода оставалось бы машинным.

Кроме того, как только станет вопрос о действительном практическом применении переводной машины, так придется вспомнить, что для каждого языка требуется разработка подробной программы тех лингвистических условий и задач, по которым необходимо будет от машины получать ответы. Это далеко не простое дело, тем более, что выполнить его придется лингвистам. Лингвистические программы надо составить так, как это требуется по условиям работы машины, а в этой области лингвисты не имели до сих пор никакого опыта. Нечего скрывать, что дело это для них будет исключительно трудным.

Однако для таких языков, как русский, французский, немецкий, английский и др., как мы думаем, программы машинного перевода составить удастся, и лингвисты, которые их могут составить, найдутся. Но ведь для указанных языков машинный перевод как раз является практически менее всего нужным. Для этих языков мы располагаем обширными кадрами высококвалифицированных «немашинных» переводчиков.

Иное положение со многими языками народов Востока, например с многочисленными языками Индии или с языками народов Советского Союза. Вопрос о создании для этих языков возможности машинного перевода может стать действительно практической необходимостью. Но здесь мы встретимся с затруднениями. Прежде всего строй многих языков Востока теоретически изучен еще недостаточно или изучен хотя и очень точно, но на основе схоластической, средневековой теории, в связи с чем его будет

трудно превратить в программы для машинного перевода, для чего нужна особая специфическая разработка языковых данных. История в дальнейшем, конечно, покажет, как люди выйдут из этого затруднения, но сейчас следует это затруднение предвидеть.

Опыта по машинному переводу накоплено пока мало (отдельные фразы), и мне кажется, что полезно будет в заключение привести здесь ту фразу, которая переводилась в опытах 1944 г.

Переводилась с русского языка фраза: «Решающие опыты механического перевода, которых мы ожидали в течение двух месяцев, осуществились в Москве сегодня в 4 ч. 30 м.»

Тот, кто передавал текст для перевода в машину, сделал пометки в русском тексте посредством кодированных знаков: «решающие 51 опыты 1-5 механического 551-6 перевода 51-6...» и т. д. по всему тексту после каждого слова. Дальше работала «машина», т. е. «модель» ее, воплощенная в данном случае человеком. Машина выдала в результате перевода на телеграфной ленте: «expériment 1-5 décisif 51 traduction 51-6 mécanique 551-6 que 091 nous 01 avons 02-1 attendus 02-1* pendant 090 2-1 deux 068 mois 050 68 ont 2-1 eu 2-1* lieu 2-1** à 67 m-o-s-c-o-u- 67* aujourd'hui 68 à 67 quatre 68 heure 568 trente 68 minute 568 stop».

Редактор принял этот перевод с машины и проредактировал его, диктуя непосредственно машинистке: «Les expériments décisifs de la traduction mécanique que nous avons attendus pendant deux mois ont eu lieu à Moscou aujourd'hui à quatre heures trente minutes».

Приводя здесь знаки специального кода, мы не расшифровываем их значения, так как это потребовало бы слишком много места. Общий принцип построения такого кода мы старались объяснить в нашей статье и, вероятно, читатель в общих чертах уже может его себе представить. Обратим внимание на передачу собственного имени Москва — Moscou: оно передано по буквам.

Судя по докладу О. С. Кулагиной и И. А. Мельчука, в наши дни вопрос о машинном переводе сравнительно с такими примитивными пробами, как только что приведенная, сильно двинулся вперед, и это дает нам надежду на то, что машинный перевод, может быть уже в недалеком будущем, окажется практически возможным.

Л. И. Жирков

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Исследования по грамматике русского литературного языка. Сб. статей.—М., Изд-во АН СССР, 1955. 356 стр. (Ин-т языкознания АН СССР).

При всех различиях между статьями рецензируемого сборника как в объеме и глубине исследования, так и в тематике и общей направленности их объединяет то, что все они «представляют собой результат изучения и обработки новых материалов» (стр. 3). Большой новый и интересный материал — это положительная сторона книги. Тематика сборника разнообразна. Он открывается группой статей, посвященных вопросам словообразования.

Статья Е. А. Земской «Типы одновидовых приставочных глаголов в современном русском языке» (стр. 5—41) исследует явление видовой непарности глаголов в связи с особенностями префиксации в них. В статье дается перечень и анализ словообразовательных групп одновидовых глаголов совершенного и несовершенного видов. Отсутствие параллельной формы другого вида у этих глаголов автор объясняет «несовместимостью лексического значения глагола со значением одного из видов» и убедительно доказывает, что это свойство глаголов создается спецификой тех смысловых оттенков, какие вносят в них приставки — одни или в сочетании с суффиксами.

Наблюдения автора над устной речью представлены записями многочисленных индивидуальных неологизмов, непринужденно и легко создаваемых в процессе бытового общения по образцу продуктивных словообразовательных моделей. Эти записи иллюстрируют мысль автора о том, что «категория одновидовых глаголов в русском языке является обширной и живой» (стр. 5). Они значительно ярче, чем литературные примеры, показывают и те значения, которые связаны с той или иной словообразовательной моделью.

Но исследование Е. А. Земской не лишено недостатков, в известной степени снижающих ценность работы. Автор недостаточно учитывает случаи двувидовости глаголов в тех словообразовательных разрядах, каким обычно или часто свойственна одновидовость. Вследствие этого в статье без всяких оговорок зачисляются в одновидовые глаголы таких словообразовательных моделей, в рамках которых есть и некоторое (иногда значительное) количество двувидовых. Ср. глаголы с приставками *вы-*, *от-*, имеющие значение тщательности и интенсивности действия: *выписывать тщательно каждую букву — выписать тщательно каждую букву*; *вырисовываться — вырисоваться*; *откалывать шутки — отколоть шутку*. Согласиться с Е. А. Земской в том, что слова *выписать*, *отколоть* и подобные не могут иметь данного значения, нельзя, так как это противоречит их естественному осмыслению и частой употребляемости.

В работе указывается одна причина создания двувидовых образований — осложнение глагола «какими-либо дополнительными семантическими оттенками, совмещающимися со значением несовершенного вида» (стр. 33). Но уже из содержащегося в работе материала очевидно, что эта причина не единственная. Так, например, для случаев типа *выкидывать — выкинуть(номер)*, *откалывать — отколоть (шутку)* можно предположить, что причиной появления параллельной формы является выветривание и затемнение значения приставки. Эти примеры показывают, что степень отчетливости значения приставки существенна для видообразования глагола. К сожалению, в работе нет наблюдений над этим явлением. В одном ряду, без расчленения по степени выделяемости и значимости приставки, даются все слова с той или иной приставкой, например слова с начинательным значением приставки — *заволноваться*, *загордиться*, *задремать*, *замлеть*.

В статье Н. С. Авиловой «Глаголы с суффиксом *-ова-* и его вариантами *-нрова-*, *-изирова-*, *-изова-* в русском языке» (стр. 42—72) рассматриваются продуктивные модели суффиксального глагольного образования, распространенные в кругу иноязычных по происхождению, преимущественно интернациональных слов. В работе прослежено значение глаголов, образованных при помощи названных суффиксов, и их соотношение с непроизводными и производными однокоренными именами существительными. В статье автор показывает, что глаголы, образованные от иноязычных основ, приспо-

сабливаясь к системе русского языка, не только получают оформление одного из продуктивных классов, но и входят в определенные семантические разряды, связанные с указанными суффиксами.

Гораздо менее убедительно доказывается в работе наличие разграничения функций между отдельными суффиксами в исследуемом материале. Только для суффиксов *-ивова-*, *-изирова-* это освещено с необходимой полнотой и доказательностью. Поэтому кажется не вполне аргументированным положение автора о том, что «целесообразность существования в русском языке глаголов с суффиксом *-ова-* и его вариантами доказывается разграничением их функций и развитием на их основе новых словообразовательных глагольных типов, наметившихся среди русских глаголов с суффиксом *-ова-*» (стр. 72). Можно возразить и против употребляемого в статье выражения «суффикс *-ова-* и его варианты». Что такое «варианты суффикса»? Как видно из содержания статьи, Н. С. Авилова называет так ряд суффиксов, образовавшихся вследствие морфологических процессов на базе одного суффикса и до некоторой степени сохраняющих единство общего значения, хотя и развивающих известную специализацию функций. Но при таком понимании уместен ли этот термин?

Выделение тех или иных разрядов не всегда оправдано. Так, в глаголах *вульгаризировать*, *иммунизировать*, *модернизировать* и под., с одной стороны, и *деморализовать*, *реализовать*, с другой, трудно увидеть разные по значению словообразовательные типы: при суффиксе *-изирова-* — со значением «превращать в то или делать тем (таким), что означает производящая основа» (стр. 72), при *-ивова-* — со значением «подвергать воздействию того, что означает производящая основа или соотносительное имя» (стр. 72). Соотносительные имена существительные на *-ция* имеются при глаголах обоих разрядов, и их значение и семантическая связь с глаголами совершенно одинаковы (ср. *вульгаризировать — вульгаризация*, *реализовать — реализация*).

К рассмотренным двум статьям примыкает работа Е. Т. Черкасовой «К изучению образования русских отыменных предлогов» (стр. 73—139), в которой показан один из путей пополнения класса предлогов в русском языке. Материалом для наблюдений здесь служат памятники деловой и художественной литературы XVII—XIX вв. Е. Т. Черкасова выделяет два разряда отыменных предлогов — предлоги, восходящие к существительным, «лексические значения которых указывают на грамматические значения, выражаемые предлогами» (*во время*, *по причине*, *вследствие*, *в отношении* и т. п.), и предлоги, восходящие к существительным, «лексические значения которых не указывают на грамматические значения, выражаемые предлогами» (*в течение*, *в силу*, *насчет*). Исследование убедительно показывает, что при образовании предлогов обоих этих разрядов происходят большие изменения в значении бывших имен существительных, становящихся предлогами, но они не одинаковы: в словах второго разряда этот процесс начинается с метафорического переосмысления существительного, вследствие чего оно получает необходимое для образования предлога релятивное значение. Изменения в значении ведут за собой изменения способности слова сочетаться с другими словами, поэтому в статье тщательно прослеживаются сдвиги в кругу тех существительных, которые употребляются при том или ином из складывающихся предлогов.

В результате анализа, проведенного на большом материале, автору удается достаточно полно осветить историю образования отдельных предлогов (особенно удачно изложена история возникновения предлога *ввиду*) и сделать некоторые общие выводы о существе и характере данного процесса. Работа отличается большой обстоятельностью и тщательностью в подборе и изучении материала. В то же время нельзя не признать, что статья, которую автор сам называет «предварительным экскурсом в еще мало изученную область грамматики», не дает полного решения вопроса. В значительной степени это объясняется неразработанностью ряда теоретических положений, которые являются необходимыми или существенными для данного исследования.

Таков прежде всего вопрос о соотношении лексического и грамматического в значении предлогов. Как справедливо указывает автор, ясности в нашей науке по этому вопросу нет. Нет ее и в данной статье. Позиция автора не отличается ни четкостью, ни последовательностью. В работе ясно не сформулировано, в чем автор видит основное различие между предлогами и существительными в отношении их значения. Поэтому некоторые суждения о том, что то или иное сочетание не является предлогом (*на предмет*, *во имя*, *в ходе*) или является им (*в пользу*, *в лице*), воспринимаются как субъективные, не имеющие достаточных оснований, так как изменение значения в сторону большей абстрактности — критерий, которым пользуется автор — можно обнаружить во всех этих сочетаниях. Отсутствие ясности в вопросе о характере значения предлогов проявляется и в таком очевидном противоречии: усматривая отличие отыменных предлогов от простых в том, что первые сохраняют лексические значения (см. стр. 73), автор работы вместе с тем говорит о лексических значениях и для простых предлогов (см., например, стр. 74).

Исследование закономерностей образования отыменных предлогов могло бы быть

полнее, если бы в нем более широко применялось сопоставление близких по функции предлогов — как складывающихся отыменных, так и первообразных, вместо которых начинают употребляться отыменные. Это дало бы возможность более тонко и точно определить те отношения, которые передаются разными предлогами, и раскрыть характер изменений в семантической системе русского языка, происходящих в связи с появлением новых предлогов.

*

Вторая группа статей посвящена вопросам учения о словосочетании. Обе помещенные здесь работы объединяют одинаковое понимание словосочетания как номинативной единицы, выдвинутое в ряде трудов акад. В. В. Виноградова.

Статья Н. Н. Прокоповича «К вопросу о роли словообразовательных связей частей речи в построении словосочетаний» (стр. 140—158)[1] стройна по композиции, немногословна и очень четка по изложению. В ней прослеживается влияние словообразовательных связей слов на построение словосочетаний, приводящее к тому, что словосочетания производных слов полностью повторяют модели словосочетаний производящих слов (*торговля хлебом*), или, получая собственную конструкцию, повторяют характер отношений, свойственный словосочетаниям производящих слов (*покупка хлеба*). Совершенно правильно выделяются в работе семантические разряды отглагольных существительных, которым свойственно повторять модели и характер отношений производящих слов: слова со значением действия-процесса и названия лиц по действию. Влияние словообразовательных связей автор справедливо видит и в однотипности словосочетаний, главные слова которых связаны общностью основ, но не находятся между собой в ясных отношениях производного и производящего слова (ср. *взмах рукой — взмахнуть рукой*).

Решительное возражение вызывает только утверждение Н. Н. Прокоповича о том, что однотипность словосочетаний типа *калитка в сад, скамья у реки, лужайка перед домом, коричневый от загара*, с одной стороны, и *идти в сад, сидеть у реки, ходить перед домом, покраснеть от смущения* — с другой, объясняется опосредствованным, косвенным влиянием словообразовательных связей имен с глаголами (см. стр. 142, 157—158).

Несомненно, что в современном языке этот чрезвычайно продуктивный тип словосочетаний (особенно в именах существительных) существует совершенно самостоятельно. Однотипность именных и глагольных словосочетаний в этом случае объясняется тем, что сам автор называет «обобщением слабоуправляемых связей», т. е. тем, что для выражения ряда обстоятельственных отношений словосочетания, образованные словами, относящимися к разным частям речи, строятся по одной и той же модели, с одним и тем же предлогом и падежом зависимого слова. Иными словами, в этом типе словосочетаний структуру определяет характер отношений между компонентами. Между тем Н. Н. Прокопович рассматривает обобщение слабоуправляемых связей как второстепенное явление, которое только поддерживает влияние словообразовательных связей.

Думается, что Н. Н. Прокопович неправомерно расширяет понимание словообразовательных связей и их влияния и не различает с необходимой последовательностью изучение фактов современной системы словосочетаний русского языка и истории ее.

Работа В. М. Филипповой «Глагольно-именные словосочетания с временным значением в современном русском языке» (стр. 159—205) содержит описание одного из интереснейших видов словосочетаний. Основное внимание в статье уделяется преимущественно глагольным словосочетаниям, но имеются некоторые замечания и относительно именных словосочетаний. При описании материала автор стремится «выявить соотношения лексических и синтаксических значений между членами таких словосочетаний, а также проследить некоторые явления, связанные с функционированием изучаемого типа словосочетаний в предложении» (стр. 159.)

Заключительная обобщающая часть статьи менее интересна и полна, чем можно было ожидать, читая описание отдельных конструкций. Так, если сравнивать словосочетания временного значения с другими, выражающими иные виды обстоятельственных отношений, то нельзя не заметить, что правила образования первых имеют очень своеобразный и сложный характер, в то время как правила образования словосочетаний пространственного, причинного, целевого значения более типизированы.

В словосочетаниях, выражающих временные отношения, наблюдаются разные виды связанности, ограниченности зависимой, определяющей части: а) в ряде конструкций (например, винительный падеж с предлогом *в*) многие существительные употребляются только при наличии у них какого-либо определения (самого разнообразного характера): *гулять в лунную (ясную, морозную* и т. д.) *ночь, уехать в весеннее (дождливое, солнечное* и т. д.) *утро*; б) в ряде конструкций многие существительные употребляются только при наличии у них строго ограниченных определений: *вспоминать*

[1] Печатается повторно (см. ВЯ, 1953, № 6). Различие между двумя редакциями совершенно незначительно.

всю (целую) жизнь, рассказывать весь (целый, каждый) вечер, размышлять по целым часам. Связанность второго типа — лексико-синтаксическая, сочетания существительных с ограниченным, очень узким кругом определений приближаются к фразеологическим оборотам. Связанность же первого типа — чисто синтаксическая, поэтому застывания, стандартизации сочетания существительного с определением там не происходит. Эти два различных вида связанности не разграничиваются В. М. Филипповой. Не отмечается в выводах также типичная для данного вида словосочетаний частая фразеологизация и превращение падежных форм существительных с предлогами в наречия. Недостаточно внимания уделяется при описании отдельных конструкций тому, какой круг существительных употребляется в той или иной из них. Делаются только указания общего характера на семантический разряд существительных.

Интересны наблюдения над тем, как вид и время глагола определяют границы его возможности образовывать словосочетания с временным значением. Однако к этим наблюдениям нужно сделать одну поправку. В работе недостаточно учитывается семантическое разнообразие глаголов совершенного вида, в частности особенности той их группы, в которую входят глаголы, обозначающие действие как известную длительность. Детерминативные глаголы могут употребляться в некоторых таких конструкциях, в которых другие глаголы совершенного вида невозможны: *погулять с часок, проболтать около часу, помолчать минуту.* Автор отмечает эту особенность только у глаголов с приставкой *про-*, в отношении конструкций с беспредложным винительным, связывая ее с переходностью глаголов, а не со специфическим видовым оттенком (см. стр. 166—167, 200—201).

К сожалению, не рассматривается в работе вопрос о смысловых соотношениях разных конструкций. Каждая из них описывается в своем значении отдельно от других, поэтому место ее в общей системе словосочетаний с временным значением остается неясным. Эта сторона вопроса в исследовании совершенно не разработана.

Достоинством работы является то, что от словосочетаний отделяются такие конструкции, которые возникают (в соответствии с моделями словосочетаний или строясь по особым моделям) в предложении. В. М. Филиппова в своей статье одна из первых начала конкретное рассмотрение вопроса о взаимодействии словосочетания и предложения; однако эта часть работы осталась неразвернутой.

Характеризуя ту или иную конструкцию как свойственную строю предложения, а не словосочетания, автор никак не доказывает этого. Справедливо считая, что конструкции типа *мальчиком я был в этих местах* возникают при построении предложения, В. М. Филиппова не рассматривает как однородные с ними конструкции *он до восемнадцати лет жил в деревне, к двадцати годам я поумнел.* А между тем во всех этих случаях обстоятельство времени одинаково связано не только с глаголом-сказуемым, но и с подлежащим: время определяется по возрасту лица.

Очень интересны замечания автора о характере синтаксических связей между компонентами в словосочетаниях с временным значением. Характеризуя их в большинстве случаев как слабое управление, В. М. Филиппова выделяет некоторые конструкции, отмечая, что отношения в них нельзя подвести под понятия управления (даже слабого) или примыкания. Так углубленное изучение словосочетаний настоятельно требует пересмотра традиционных понятий о видах подчинительной связи и накапливает для этого материал.

•

Третью группу образуют статьи, посвященные некоторым вопросам учения о предложении. Самая обширная по объему и содержащемуся в ней фактическому материалу из этого цикла — работа Н. Ю. Шведовой «Некоторые виды значений сказуемого в современном русском языке (Наблюдения и материалы)» (стр. 247—341). Автор исходит из следующих основных теоретических положений. Сказуемое — член предложения, который «сосредоточивает в себе комплекс специфических, возникающих только в предложении, временных, модальных, экспрессивных значений» (стр. 247). Такие значения образуют два слоя. Первый слой составляют заложенные в самой форме глагола-сказуемого временные и модальные значения, связанные с глагольными категориями наклонения и времени; второй слой образован разнообразными оттенками, наслаивающимися на эти значения в предложении. Значения второго слоя и средства их выражения и составляют предмет статьи. При отборе материала для наблюдения автор опирался на положение о том, что между модальными типами предложений в книжной и разговорной речи существует большое различие. Н. Ю. Шведова считает разговорную и письменную речь двумя основными функциональными разновидностями языка (стр. 249), существенно различающимися в области синтаксиса. Отбор материала ведется так, чтобы он давал возможность судить об особенностях значений глагольного сказуемого и форм выражения их именно в разговорной речи. В основу классификации и описания материала положен семантический принцип: деление проводится по характеру выражаемых разными конструкциями смысловых оттенков сказуемого.

В работе немало спорных положений, вызывающих замечания и возражения. Вряд ли, например, целесообразно объединять (как это сделано автором) наблюдения над простыми предложениями, с одной стороны, и сложными предложениями и предложениями, имеющими несколько сказуемых,— с другой. В сложных предложениях и очень близких к ним предложениях с несколькими сказуемыми при одном подлежащем функции модальных слов и частиц очень отличны от их функций в простом предложении. В предложениях этого типа они обычно являются необходимым структурным элементом. На «полусоюзный» характер их вынуждена указывать и Н. Ю. Шведова. Некоторые значения, которые в статье приписываются сказуемым, в действительности являются важнейшим элементом значения всего сложного предложения или предложения с однородными членами (см. стр. 267, 270, 280, 299—310).

В работе слишком широко понимаются границы класса частиц. Частицами нередко называются знаменательные слова, являющиеся членами предложения, например слова *совсем, ни за что, больше* в предложениях: *Она совсем не ест мясного*? (стр. 275); *Ни за что не заплачу* (стр. 305); *Говорил мало. Больше слушал, что говорили другие* (стр. 310). Очевидно, не только частицы, но и знаменательные слова могут образовывать с глаголами-сказуемыми соединения, в которых на значение глагола наслаиваются дополнительные временные, модальные и экспрессивные оттенки.

Спорно отнесение некоторых конструкций в тот или иной семантический разряд, иногда неубедительно описание отдельных значений; оно кажется основанным на лексической стороне глаголов-сказуемых [см., например, указание на значение нежелательного, неодобряемого действия в предложениях типа *Вот и науправлял* (стр. 301)].

В целом, однако, работа оставляет впечатление очень интересной по новизне материала и проблематики.

Статья Т. Г. Винокур «О некоторых синтаксических особенностях диалогической речи» (стр. 342—355) перекликается со статьей Н. Ю. Шведовой в своем исходном тезисе. Для Т. Г. Винокур разговорная речь —«функционально-стилистическая разновидность общенародного языка», имеющая целый ряд синтаксических особенностей. В статье названы и показаны на материале некоторые специфические особенности диалогической речи: синтаксическое продолжение первой реплики второй репликой (*—Я прав.— Только наполовину*), эллиптическое построение ответной реплики, включающей только один член предложения (*—Где ты купил цветы? — На рынке*), общий параллелизм синтаксического строения связанных по смыслу соседних реплик (*— Я мне сказали, что тебя вызвали куда-то.— Соврали*).

Т. Г. Винокур поддерживает новое понимание «неполных» предложений, выдвинутое И. А. Поповой. Так, из наблюдений над диалогической речью автор делает следующий вывод: «Условия непосредственного диалогического общения приводят к тому, что большинство синтаксических единиц диалога представляет собой особые структуры, типичные только для разговорной речи в определенной ситуации, всегда достаточные для взаимопонимания говорящих и, следовательно, п о л н ы е, так как они удовлетворяют требованиям основной функции языка — коммуникативной» (стр. 350).

Но эта правильная мысль несколько затемняется высказанным автором неверным предположением о том, что вопросные и ответные реплики объединяются «как бы в одно распространенное предложение». При этом указывается на конструкции такого типа: *— Ты масло переложила?— В большую банку*. Если считать модальность обязательной чертой предложения, то нельзя согласиться с объединением двух совершенно различных по модальности реплик в структуре одного предложения. Подобная же ошибка делается и при анализе связанных вопросно-ответных реплик, повторяющих (с разрывом) структуру сложного предложения (*А если я вам скажу, что от дружбы со Скакунцовым я очень далек? — То я вам скажу о себе то же самое*). Возможность разных модальных планов частей, как в приведенном здесь примере, говорит о том, что нельзя объединить их в одном сложном предложении.

Таким образом, обе рассмотренные работы данной группы на разном материале и с разных сторон показывают своеобразие строя предложения в разговорной речи.

Статья Н. С. П о с п е л о в а «Прямое и относительное употребление форм настоящего и будущего времени глагола в современном русском языке» (стр. 206—246) по характеру освещенных в ней вопросов также в известной мере связана с синтаксисом предложения. Вводная часть статьи представляет попытку раскрытия и конкретизации известного положения о предикативности как комплексе грамматических категорий модальности, времени и лица, характеризующих предложение. В этом плане очень интересны наблюдения, показывающие тесную связь модальных значений с временными (Н. С. Поспелов считает возможным говорить о единой синтаксической категории времени-наклонения) и с категорией лица. Такие наблюдения встречаются на протяжении всей работы.

Но центральную задачу статьи составляет разграничение прямого и относительного употребления форм времени и описание того и другого по отношению к формам настоящего и будущего времени. В этой работе с большей определенностью и более развернуто, чем в опубликованных ранее работах Н. С. Поспелова, формулируется понимание прямого и относительного употребления форм времени. В основу их разли-

чения кладется понятие объективного «настоящего» — «широкого временного синтеза, в котором непосредственно реализуется объективная действительность и глагольное действие прикрепляется к субъекту действия» (стр. 245). С этой точки зрения как прямое употребление форм времени рассматриваются все случаи, когда значение форм времени «сводится к простому указанию на непосредственное отражение в высказываемом реализуемой, реализованной или подлежащей реализации объективной действительности» (стр. 212). Относительное же употребление рассматривается как большее или меньшее поглощение собственно-временных значений синтаксическими значениями одновременности или неодновременности по отношению к тому временному плану в прошлом и будущем, который рассматривается как фокус отражения действительности в языке» (стр. 245).

Исходя из этого понимания, автор рассматривает значение и употребление форм настоящего и будущего времени, отделяя прямое употребление от относительного. Эта часть работы содержит много новых интересных наблюдений (особенно в характеристике настоящего времени), снабженных большим количеством иллюстраций.

Однако не всегда разграничение употребления форм времени, выдвигаемое автором, вполне убедительно. Так, недостаточно ясно определены границы между теми явлениями, которые Н. С. Поспелов называет «настоящее изобразительное» и «настоящее описательное». Примеры, иллюстрирующие эти значения формы настоящего времени, в некоторой своей части совершенно однородны (ср. стр. 220 и 227). Не раскрыто в работе с достаточной ясностью соотношение между значением формы времени и ее многообразным применением в различных контекстах.

Термином «значение формы времени» (настоящего или будущего) обозначаются очень различные явления (ср. значение «раскрытого» или «нераскрытого» настоящего и значение «описательного» или «повествовательного» настоящего).

Статья Н. С. Поспелова занимает особое место в книге. Она гораздо более теоретична, чем все другие работы, входящие в сборник. Поэтому в ней иное соотношение между описательной и обобщающей частью: в статье преобладает теоретическое рассуждение, сопровождающееся широким критическим обзором литературы вопроса. Автор строит свои выводы не только на основе собственных наблюдений, но и привлекает исследования других языковедов, в том числе кандидатские диссертации, материал которых, с сожалению, все еще очень мало используется в научных работах обобщающего характера.

В целом сборник должен быть оценен как очень полезная и удачная книга, обогащающая науку новыми фактами и наблюдениями в области мало изученных вопросов, актуальность которых была подчеркнута в последних по времени дискуссиях общетеоретического характера и обсуждениях очередных задач советского языкознания.

В. А. Белошапкова

Max Vasmer. **Russisches etymologisches Wörterbuch,** I, II, III (2 Lief.). — Heidelberg, 1950—1955.

Еще лет тридцать назад школьные грамматики обычно состояли из «этимологии» и «синтаксиса». Этимология обозначала учение о звуках, частях речи и формах слов, и среди русской интеллигенции господствовало представление, что «этимологическим» называется словарь, в котором слова расположены не по алфавиту, а по «корням» или «гнездам». Такими «корнесловами» являются, в сущности, и все три издания «Толкового словаря» В. Даля.

Однако специалисты-языковеды уже давно понимают под «этимологическим словарем» алфавитный перечень по возможности всех — как коренных, так и производных — слов данного языка с указанием их первого появления в письменности, изменения их форм и значений, их происхождения и истории и т. д. на основании данных исторической грамматики и сравнительного языкознания. Из старых русских словарей под это определение подходят только словари Н. В. Горяева и А. Г. Преображенского[1], но они, конечно, очень далеки от идеала.

Рецензируемый словарь М. Фасмера принципиально мало чем отличается от словаря Преображенского. Он также основан на сравнительно-историческом методе, реконструирующем формы индоевропейского, праславянского и других праязыков. Однако М. Фасмер пользуется этим методом гораздо более последовательно и с несрав-

[1] См. М. Н. Петерсон, О составлении этимологического словаря русского языка, ВЯ, 1952, № 5.

ненно большим успехом, чем А. Преображенский. М. Фасмер неукоснительно следует установленному еще Я. Гриммом правилу: прежде чем приступать к сравнению какого-либо слова с соответствующими ему словами родственных языков, необходимо проследить по письменным источникам его звуковое и семантическое развитие как можно с более раннего периода. Конечно, ввиду отсутствия исторического словаря русского языка и явной неудовлетворительности древнерусских словарей Срезневского, Дювернуа и Кочина (последний, впрочем, не упоминается в списке источников), Фасмеру иногда не удается установить с точностью, когда то или иное слово впервые появилось в русской письменности, что особенно важно для сравнительно новых заимствований. Так, например, *какао́* (с ударением на окончании) записано уже в Космографии 1670 г. (Спб., 1878—1881); у Фасмера же вообще не указывается, когда было заимствовано это слово, и можно подумать, что он считает его совсем недавним заимствованием. *Инженер*, *поручик* и *ланспасад* «капрал, унтерофицер» встречаются задолго до петровской эпохи, к которой их относит Фасмер, а именно в «Ученіи и хитрости ратнаго строенія пѣхотныхъ людей» 1647 г.: дат. п. мн. числа *ижи́неромъ*, род. п. ед. числа *пороу́тчика*, *ланспосатъ*, *ланспасатъ*. Такие неточности (правда, только в очень редких случаях) влияют на этимологию слова, т. е. заставляют нас искать его источник не там, где его ищет Фасмер. Например, вышеупомянутое *ижи́неромъ*, по всей вероятности, заимствовано не непосредственно из нем. *Ingenieur* «инженер», как думает Фасмер, а через польск. *inżynier*, *indzinger*. Встречаются также, особенно в первом томе словаря, пробелы в определении старого ударения (которые иногда влияют на этимологию). Так, например, Фасмер производит *а́рест* «wegen der Betonung» (из-за ударения) из польск. *área̜st*, *áreszt* «арест», не замечая того, что русское ударение на предпоследнем слоге является сравнительно новым, просторечным, а старое *аре́ст* (так уже в «Лексиконе вокабулам новым...» петровской эпохи) указывает на непосредственное заимствование из нем. *Arrêst* «арест». Наоборот, *ко́мната* на основании показаний начального русского ударения выводится Фасмером из др.-в.-нем. **khaminā̀ta*, *chemināta* «комната, отапливаемая камином». Если бы Фасмер располагал хорошим историческим словарем, то заметил бы, что еще в XVIII в., например у В. Майкова в «Елисее» (II, стр. 192; III, стр. 67), встречалось русское ударение *комна́та*, вполне соответствующее польск. *komnàta* «зал, большая комната во дворце», а стало быть, заимствование слова *комната* из польского более вероятно, чем из немецкого. В обоих этих случаях перенос ударения совершился безусловно уже на русской почве.

Идеалом этимологического словаря является комбинированный этимологическо-исторический словарь, представляющий собой собрание статей-монографий по истории отдельных слов с указанием в с е х попыток их объяснения, но этот идеал на практике недостижим. Во-первых, издать такой словарь невозможно по чисто экономическим причинам: он оказался бы слишком объемистым и потому дорогим. Во-вторых, составление такого словаря было бы едва ли под силу одному или даже двумтрем лицам и затянулось бы, во всяком случае, на десятилетия, так что начало словаря успело бы уже устареть к моменту его окончания. Поэтому, как каждый современный составитель этимологического словаря, Фасмер стремился к максимальной сжатости и достиг ее обильным употреблением сокращений, условных обозначений и чрезвычайной «сухостью» изложения. Редкие статьи (например, *невеста*, *Перун*, *пёс*, *Русь*, *славянин*, *собака*, *соловей*, *соха*) занимают около целой страницы, в большинстве же случаев объем статьи — от пяти до десяти строк. При такой экономии места нельзя, конечно, подробно разбирать все старые этимологии или обстоятельно развивать новые объяснения, особенно если они связаны с соображениями семантическими, требующими для своего обоснования большого количества примеров употребления слова в различных контекстах. Понятно, что Фасмер был принужден часто ограничиваться краткой ссылкой на автора этимологии, если она бесспорна, или на главных представителей различных мнений, если таковые имеются. В пределах возможного он, однако, стремится дать самую подробную библиографию.

Принимая во внимание, что слависты всего мира за последние сто лет проделали громадную работу по объяснению русских слов, мы, конечно, не вправе ожидать от самого Фасмера большого количества совершенно новых этимологий. Слова, не имеющие удовлетворительной, по мнению Фасмера, этимологии, снабжаются пометами «unklar» (неясно) или «dunkel» (темно), но и они сопровождаются ссылками на пытавшихся объяснить их авторов. Это имеет большое значение, поскольку чрезвычайно важно, чтобы молодые этимологи знакомились не только с достижениями, но и с ошибками своих предшественников. Интересно, что «неясными» или «неудовлетворительно объясненными» оказываются зачастую слова совершенно обыденные, которые, казалось бы, должны были входить в состав древнейшего так называемого «основного словарного фонда», как, например, *двигать* или *купать*. Очень много этимологически неясных слов и среди названий растений и животных, что отчасти объясняется отсутствием специальных лингвистическо-ботанических и лингвистическо-зоологических исследований по русскому языку.

Относящиеся к более позднему времени заимствования и новообразования русского языка объясняются сравнительно легко и уже довольно хорошо изучены. Самим Фасмером были в 1909 г. тщательно исследованы греческие заимствования (например, *известь*, *кит*, *кулич*, *фонарь* и др.)[1]. Несколько лет спустя вышло подробное исследование финского ученого Я. Калимы о русских словах прибалтийско-финского происхождения (например, др.-русск. *арбуй* «колдун», *вейка*, *камбала*, *корюшка*, *мыла*, *пахтать* и др.)[2]. Наконец, недавно появилась книга шведской славистки К. Тэрнквист о скандинавских заимствованиях [например, *берковец* «10 пудов», *гридница* «помещение в княжеском дворце», *краги* (это слово почему-то не включено в словарь Фасмера), *крюк*, *пуд*, *сельдь* и др.][3]. Все еще плохо изучены, к сожалению, польские заимствования XV — XVII вв., нет исчерпывающего исследования о тюркизмах и совершенно устарела работа Н. А. Смирнова «Западное влияние на русский язык в петровскую эпоху»[4].

Естественно, что бóльшая часть таких заимствований — редкие, областные или совершенно устарелые слова. Они, однако, чрезвычайно важны для истории языка и материальной культуры и поэтому включение их в словарь безусловно следует приветствовать. Правда, благодаря их сравнительно большому количеству словарь приобретает для русского читателя несколько чуждый облик, который еще усугубляется наличием в словаре слов древнерусских, былинных, областных, редких технических терминов и др. Например, из находящихся на первой странице заглавий только пять понятны каждому образованному русскому: *а*, *аба жур*, *аббат*, *аббатиса*, *абзац*; остальные же десять (*аангич*, *аба*, *абабок*, *абаз*, *абас*, *абаза*, *абака*, *абатур*, *абдал*, *абие*) требуют толкования. Но так как каждое русское слово снабжено переводом на немецкий язык, то обилие малоупотребительных слов не затрудняет пользование словарем; наоборот, помимо своего прямого назначения, он делается своего рода «тезаурусом» русского языка. Разумеется, им нельзя пользоваться как толковым или обыкновенным двуязычным словарем в стилистических целях. Одним из главных достоинств рецензируемого словаря является то, что Фасмер включает в него некоторые личные имена и фамилии, географические названия вплоть до улиц (например, *Арбат*, *Гороховая*), фольклорные названия (например, *Дюк*, *Сартак*, *Сафат-река*), а также некоторые идиоматизмы (например, *кронштадтский чай*, *троичная икра* и др.), объяснения которых нельзя было найти ни в одном другом словаре.

Самым существенным недостатком словаря нужно признать отсутствие ясно выраженного критерия при подборе слов. Поясним примерами. В словарь включен термин *горловщина*, встречающийся в пьесе А. Корнейчука «Фронт» (1942 г.), но почему-то не включены гораздо более распространенные и, с точки зрения истории русской культуры, более значительные термины *аракчеевщина* и *обломовщина*. Из так называемых «зашифрованных» новообразований советской эпохи включены, например, *викжель*, *втуз*, *вуз*, *комсомол*, *рация*, *сберкасса*, но отсутствуют *жакт*, *загс*, *колхоз*, *собес*, *совдеп*, *совнарком*, *совхоз* и др. Включены такие, например, шуточные образования, как встречающееся у Мельникова-Печерского *поведенция* (II, стр. 381) и *растеряция* вместо *реставрация* (II, стр. 515), но не включено такое же шуточное *вероляция*, употребляемое Лесковым в «Левше» вместо *вариация*. Созданное С. Михалковым шуточное *Путеводиус* упоминается как отдельное заглавие, хотя гораздо более известные шуточные создания Корнея Чуковского *Айболит* и *Мойдодыр* не упоминаются вообще. Из собственных имен есть, например, *Андрей*, но нет *Анны*; есть, например, *Селиван*, *Селифан* (у Гоголя)<*Сильван*< лат. *Silvanus*, но отсутствует *Селиверст* (у Маяковского)<*Сильвестр*< лат. *Silvestris*. Почему-то отсутствуют «два железные близнеца» *паровоз* и *пароход* и их младший брат *самолет*, получивший старое фольклорное название, хотя и включены новообразования приблизительно той же эпохи *водород* и *кислород* и знаменитое полуфольклорное *самовар*. Почему включены устарелое *прокуратор* и разговорное *прокурат*, но нет *прокурора*? Почему есть областное *пóтоп* «топанье», но нет обыкновенного *потóпа*? Почему под заглавием *картофель* приводятся областные *картоф*, *картоха*, *картохля*, *картопля*, *картосы*, *картыши*, *картофка*, *гартохля*, но не упоминается самая обыкновенная *картошка*?

Перечень подобных необъяснимых противоречий можно было бы еще значительно продолжить. То, что составитель, руководствуясь субъективным интересом, включил в словарь и, таким образом, спас для науки много слов-однодневок, и то, что он заметно отдает предпочтение архаическому словоупотреблению (особенно Мельникова-Печерского), конечно, не может рассматриваться как недостаток словаря. Труднее, однако, извинить отсутствие в нем многих слов, без которых вообще невозможно себе представить современный русский литературный язык, хотя бы они и казались,

[1] М. Р. Фасмер, Греко-славянские этюды, Сб. ОРЯС, т. 86, СПб., 1909.
[2] J. Kalima, Die ostseefinnischen Lehnwörter im Russischen, Helsinki, 1919.
[3] C. Thörnqvist, Studien über die nordischen Lehnwörter im Russischen, Uppsala, 1948.
[4] Сб. ОРЯС, т. 88, СПб., 1910.

с точки зрения лингвиста, совершенно «прозрачными» и потому мало интересными, как, например, вышеупомянутые *паровоз* и *прокурор*.

По технике этимологии Фасмер стоит неизмеримо выше всех своих предшественников, не исключая даже А. Брюкнера и Э. Бернекера. Родившись в Петербурге и получив превосходное филологическое образование под руководством И. А. Бодуэна де Куртенэ, А. И. Соболевского и А. А. Шахматова, Фасмер с университетских лет посвятил себя изучению заимствований в русском языке. Владея в совершенстве, кроме русского, немецким, польским и новогреческим языками, хорошо зная албанский, английский, шведский и эстонский, а также будучи знаком с иранистикой и тюркологией, Фасмер имеет все необходимые предпосылки для успешного окончания своей работы. Он выгодно отличается от многих других этимологов своей уравновешенностью, столь же далекой от фантазии Г. Хирта и А. Брюкнера, как и от скептицизма А. Мейе. Поэтому в большинстве случаев, когда Фасмер определенно высказывается за то или иное объяснение данного слова, его трудно опровергнуть, если нет совсем новых данных (см. выше о словах *инженер*, *арест*, *комната*). Зато многие этимологии, которые он из осторожности оставляет под сомнением, можно со спокойной совестью считать окончательно выясненными. Будучи хорошо знаком с русской литературой и с историей русской культуры, Фасмер, конечно, принимает во внимание стилистику, семантику и реалии, но в нем иногда все-таки перевешивает лингвист-младограмматик. Это заметно, например, в тех случаях, когда при полном совпадении значений он все же ищет более точного звукового соответствия (например, в слове *росомаха*), хотя в других случаях и признает, что социально мало значимые слова, особенно названия малоизвестных растений и животных, очень легко распадаются на целый ряд фонетически сильно отличающихся друг от друга вариантов (см., например, в словах *каргаль*, *кархаль* и *крохаль*). При разборе интересного спора о том, является ли первичной форма *яльчь* или *жяльчь* «*жёлчь*», Фасмер исходит исключительно из древности обоих написаний и из вероятности аналогического воздействия со стороны прилагательных *зелёный* и *жёлтый*, совершенно не затрагивая вопроса о том, какого цвета *жёлчь* на самом деле, хотя, казалось бы, следует начинать именно с этого. Типично младограмматическим построением, блестящим по замыслу, но совершенно умозрительным и не находящим поддержки в истории реалий, является также попытка восстановить префикс *ка-*, который Фасмер, следуя примеру Ф. Миклошича, усматривает в словах *каблук*, *каверза*, *каверзни*, *кавляа*, *кадолб(ь)*, *калуга*, *калужа*, *кацап*, но почему-то не в слове *каворон* «грач», хотя именно здесь наличие названий птиц того же корня с другими префиксами (*гайворон*, *жаворонок*, *сковоронок*, *щеврóнок*, чеш. *havran* «ворон») делает выделение префикса *ка-* весьма вероятным.

*

После этих замечаний общего характера перейдем к разбору этимологий некоторых слов.

Бурундук — «зверек из отряда грызунов», слово, являющееся, по мнению Фасмера, «неясным», заимствовано, как я указал еще в 1954 г., из мар. *uromdok* того же значения[1].

Бурун во всех трех значениях, которые Фасмер приводит как отдельные слова, 1) (шуточное) «нос», 2) «волнообразный песчаный бугор, нанос» и 3) «волна с пенистыми гребнями у прибрежных и подводных скал и мелей; прибой» восходит, по всей вероятности, к одному и тому же слову в значении «нос», заимствованному из татар. *burun* «нос». Развитие значения шло, вероятно, таким путем: «нос» > «мыс» > «подводный риф как продолжение мыса» > «волны, разбивающиеся об этот риф» (см. выше сноску у слова *бурундук*).

Название реки *Волма* Фасмер совершенно правильно сопоставляет с древнепольским *welm* «морская пучина; волнение». Сюда же относится, конечно, и др.-русск. *волмина*, встречающееся в так называемой Хутынской грамоте 1192 г. и обозначавшее, повидимому, какое-то угодье на острове на р. Волхов. В Хрестоматии С. П. Обнорского и С. Г. Бархударова[2] это слово оставлено без объяснения. Весьма возможно, что оно обозначало какой-нибудь затон или омут, где ловилась рыба.

Устарелое *гевальдигер* «офицер, заведывающий военною полициею, полицейскою частию при войсках» (Даль, т.I, стр.357) было заимствовано не из нем. *Gewaltiger* «могучий, мощный», но из швед. *gevaldiger* «полицейский офицер; конвоир при арестованных».

---

[1] См. V. Kiparsky, Russisch *burun* und *burunduk*, «Veröffentlichungen der Abteilung für slavische Sprachen und Literaturen des Osteuropa-Instituts (Slavisches Seminar) an der Freien Universität», t. 6, Berlin, 1954, стр. 144.

[2] См. С. П. Обнорский и С. Г. Бархударов, Хрестоматия по истории русского языка, ч. 1-я, 2-е изд., М., 1952, стр. 36, прим. 3.

Так называемое «протетическое *и*» в слове *исполин*, на объяснение которого учеными было потрачено много труда и остроумия, на самом деле, как указал А. Вайан в своем учебнике древнецерковнославянского языка,— просто результат неправильного чтения текста *ѣко и сполинъ* (Псалт. XVIII, 6)[1].

Колодец, устар. *колодязь* < праслав. **koldęd'z'ь* рассматривается Фасмером, как и большинством других этимологов, как заимствование из др.-герм. **kalding-* от **kaldaz* «холодный» (ср. нем. *kalt*, англ. *cold*, швед. *kall*, *kallt* «холодный, холодно»). Как я уже неоднократно указывал[2], это объяснение мало вероятно, так как, во-первых, такого германского слова пока не найдено, а во-вторых, совершенно не доказано, что местные названия вроде швед. *källinge*, *käldinge* обозначали именно «колодец», т. е. «оправленное в дерево или камень углубление, в котором медленно накопляется вода». Эти названия могли обозначать первоначально «бьющий или вытекающий из земли источник, ключ» (ср. швед. *källa*), которому свойственна как раз свежесть и низкая температура воды. Для колодца же характерной является именно его оправа. В лесистой прародине славян камня было сравнительно мало и оправа состояла, вероятно, из дерева — «колоды», от которой и произошло название *колодец*. Что суффикс *-ed'z'ь* не обязательно указывает на германское происхождение слова, общеизвестно.

Трудно объяснить, каким образом из франц. *couvert* «покрышка, укрытие; столовый прибор; пакет, конверт» или нем. *kuvert* «конверт; столовый прибор» получилось *конверт*. В 1953 г. я предполагал влияние лат. *convertere* «обернуть», так как еще в XVIII в. *конверт* обозначал «обёртку, бумагу, в которую завертывали письмо»[3]. Б. О. Унбегаун предполагает совершенно другое объяснение: ввиду чрезвычайной схожести начертаний латинских букв *u* и *n* в письме, франц. *couvert* читалось русскими ошибочно **convert*, и это ошибочное произношение возобладало — сперва, конечно, в менее образованных кругах[4].

Крыжовник едва ли возможно фонетически вывести из немецкого диалектного *Krisdohre*, *Kristolbeere* «крыжовник». Гораздо вероятнее, что нижне-нем. *krusbere* (откуда нем. *Krausbeere*, швед. *krusbär* «крыжовник») было частью прямо заимствовано в форме, бытующей еще и теперь в говорах,— *кружовник*, частью же понято как **krыz(e)bere* «крестовая ягода» и переведено по созвучию с *крыж* «католический крест».

Былинный разбойник *Кудеяр*, имя которого представляется Фасмеру неясным, носит персидское имя, состоящее из *xūdā* «бог» и *yār* «друг», буквально «божий друг», семантически соответствующее греческому θεόφιλος.

Название города *Либава*, бывшее в употреблении до 1918 г., заимствовано, конечно, из нем. *Libau* (так же, как *Митава* < *Mitau*, *Виндава* < *Windau*). Немецкое название не является, однако, как думает Фасмер, переделкой латыш. *Liepāja* (от латыш. *liepa* «липа»), но, как указывает средневековое название этого города в латинских и немецких документах *Lyva*, восходит к прибалтийско-финскому названию местности; ср. фин. *liiva* «тина, ил» или эстон. *liiv* «песок». Как известно, местность в окрестностях этого города еще и теперь изобилует тинистыми болотами и песчаными дюнами. Латышское название *Liepāja* появляется только в XVI в., в связи с исчезновением прибалтийско-финского населения и появлением латышей-куронов. Немецкое *Libau* появляется в первый раз в 1384 г. и становится общеупотребительным только с XVI в. в связи с заменой нижненемецкого языка в Прибалтике верхненемецким, в котором нижненемецкому *-v-* часто соответствует *-b-*, например, *leve* — *leben* «жить»[5].

Совершенно неправдоподобно объяснение названия выделанной шкурки молодой овцы *мерлу́ха*, *мерлу́шка* как заимствование из рум. *mieluș* «ягненочек» или из франц. *merlut* «высушенная шкура», так как эти шкурки были уже в средние века предметом вывоза из Новгорода. Древнерусское *мерлица* было даже заимствовано ганзейскими купцами в форме *merlitze*[6]. Первоначальное значение было, вероятно, «шкурка с выпоротка или мертворожденного ягненка» (от *мёрлый* «мертвый, дохлый»). Так как такие шкурки отличались особой тонкостью и мягкостью руна, то их название было из коммерческих соображений распространено на шкурки ягнят вообще. Нет оснований, как делает Фасмер вслед за Преображенским, сомневаться в этой этимологии.

Мотыль «бабочка» образовано, конечно, от *мотать* совершенно так же, как, например, *ковыль* «твердая, жесткая трава» — от *ковать*. В семантическом отношении ср., например, нем. *Falter* «бабочка» — греч. πάλλω «трясу, мотаю» (от корня **pel-*)

---

[1] A. Vaillant, Manuel du vieux slave, t. I, Paris, 1948, стр. 52.

[2] Например, в «Neuphilologische Mitteilungen», LIV, Helsinki, 1953, стр. 378—379.

[3] См. там же.

[4] B. O. Unbegaun, [Рец. на кн.:] Max Vasmer. — Russisches etymologisches Wörterbuch, Lief. 5 — 9..., «Bull. de la Société de linguistique de Paris», L, fasc. 2, 1954.

[5] Подробный разбор этого вопроса дан в моей книге «Die Kurenfrage» (Helsinki, 1939, стр. 219—220).

[6] См. V. Kiparsky, Fremdes im Baltendeutsch, Helsinki, 1936, стр. 167.

и нем. *Heu* «сено» — *hauen* «бить». Не следует, однако, как делает Фасмер, исходить при этом из др.-русск. *мотыла, мотыло* «навоз» и рассматривать бабочку как «навозника». Как известно, только очень немногие, сравнительно редкие виды бабочек (например, ленточница тополевая, Limenitis populi L.) действительно встречаются чаще всего около навозных луж. Для дневных бабочек вообще (ночницы, бражники и сумеречницы не привлекают особого внимания) характерен их неровный, «мотающийся» полет. Непосредственно от *мотать* образовано также и другое, устарелое слово *мотыль* «кривошип», т. е. качающийся, «мотающийся» рычаг. Это последнее не включено в словарь.

Мундир, в просторечии *мундёр* заимствовано не из франц. *monture* «оправа; выкладка; верховая лошадь; форменная одежда», не из нем. *Mundierung, Montierung, Montur* в тех же значениях и не из польск. *mundur* «форменная одежда». Лучше всего русск. *мундир* < *мундёр* фонетически и семантически объясняется из швед. *mundéra* «обмундировать», *mundéring* «обмундировка, форменная одежда».

Неизвестно, почему Фасмер обозначает *нансук* «род бельевой ткани» как «неясное» (unklar). Правильное объяснение этого слова как заимствования из франц. *nansouk* «бумажная ткань», засвидетельствованного в 1872 г. и в свою очередь заимствованного из языка хинди, дано уже Ушаковым в его «Толковом словаре русского языка» (т. II, стр. 389), где, впрочем, указывается только наконечное ударение *нансу́к*. Однако Р. И. Аванесов и С. И. Ожегов в их книге о литературном ударении и произношении указывают только *на́нсук*[1].

Нет необходимости выводить древнерусское *ногата* «денежная единица, 1/20 гривны» из арабского *nak̟d* «деньги» через тюркское посредничество, как делает Фасмер, так как оно легко объясняется как русское образование от *нога*, т. е. «шкурка с ногами (с четырьмя лапками)», особенно если принять во внимание существование другой древнерусской денежной единицы — *мордки*, которую сам Фасмер объясняет как «куничью мордочку».

Своеобразную двойственность в употреблении вариантов *ноль* и *нуль*, а также *номер* и *нумер* Фасмер даже не пытается исследовать. О первой паре имеется теперь интересное семасиологическое исследование Н. И. Тарабасовой[2], которая, к сожалению, не затрагивает вопроса о происхождении этих вариантов. Как я указал уже в 1950 г.[3], *ноль* заимствовано из швед. *noll* «ноль, нуль», а *нуль* —из нем. *null* «ноль, нуль». причем обе формы появились, вероятно, почти одновременно, в петровскую эпоху. *Номер* теперь определенно преобладает над устарелым *нумер*, но еще в первой половине XIX в. и та, и другая формы употреблялись приблизительно одинаково. Обе формы заимствованы в петровскую эпоху из голландского, где имеется такая же двойственность в употреблении *nommer* и *nummer* в совершенно одинаковом значении («номер»), с тою разницей, что форма с *-u-* начинает преобладать. В частности, *номера́*, устар. *нумера́* «отдельные помещения, сдаваемые в гостинице» заимствовано из голл. *nummerhuizen, nommerhuizen* в том же значении.

В связи с этимологически совершенно ясным *ночлег* следовало бы, по крайней мере, упомянуть загадочное *наслѣгъ*, встречающееся в том же значении в текстах XVI—XVIII вв. и в старших словарях.

При игре в орлянку говорят не *орел или орешек?*, как полагает Фасмер (II, стр. 277 и 278), а *орел или решка* (< *решётка*)? (см. в словаре Ушакова, т. II, ст. 848—849). Поэтому совершенно неосновательно усматривать в этой игре пережиток воспоминания о взятии Шлиссельбурга (= Орешка) русскими войсками в 1702 г. Это воспоминание сохранялось, повидимому, еще во второй половине XIX в. в Петербургской губернии в названии игры *орешек*, заключавшейся в том, что ребятишки брали приступом снеговую крепость (см. у Даля, т. II, стр. 1794). В начале XX в. мне уже не приходилось слышать этого названия.

Старое, данное самим Фасмером объяснение слова *офеня* «бродячий торговец-разносчик» из ново-греч. ἀφέντης<ἀύθέντης, из которого происходит также турецк. *efendi* «господин (как титул)», следует, мне кажется, предпочесть его новому объяснению из ново-греч. ἀθηνατος «афинский, афинянин» (из этого последнего получилось, как известно, *ахинея*).

Офице́р объясняется из швед. *officer* «офицер» (с ударением на последнем слоге) гораздо легче, чем из польск. *oficer* (с ударением на предпоследнем слоге) или из нем. *offizier* в том же значении.

Паять относится семантически к *поить* и *пить* совершенно так же, как фин. *juottaa*, эстон. *joota* 1) «поить», 2) «паять» относятся к фин. *juoda*, эстон. *juua* «пить».

---

[1] «Русское литературное ударение и произношение», под ред. Р. И. Аванесова и С. И. Ожегова, М., 1955.

[2] Н. И. Тарабасова, Ноль и нуль, сб. «Вопросы культуры речи», I, М., 1955, стр. 227—234.

[3] См. В. Кипарский, О колебаниях ударения в русском литературном языке. I, Хельсинки, 1950, стр. 81.

Данные индоевропейских и финно-угорских языков свидетельствуют о том, что первоначальное значение было именно «пить, поить»: ср., например, др.-индийск. *pāyáte* «он поит», *pāyáyati* «он напаивает» и, с другой стороны, коми *jun̮*, мадьярск. *inni* «пить». Изменение значения «пить, поить > паять» произошло совершенно самостоятельно в славянских и в прибалтийско-финских языках. Поводом к нему послужила, вероятно, примитивная техника паяния, заключавшаяся в том, что жидким металлом «поили», т. е. смачивали два куска твердого металла, которые требовалось соединить, «спаять»[1].

Английское *pea-jacket* «род куртки» было, как правильно отмечает Фасмер, заимствовано как *пиджа́к*, позднее переиначенное в *спинжа́к*. Это же английское слово, не имеющее ничего общего с английским *pea* «горошина», *peas* «горох», а происходящее из ср.-голл. *pîe* «куртка», было на русской почве переосмыслено: *гороховый пиджак*, *гороховая шинель*, *гороховое пальто*. Эти выражения до революции употреблялись для обозначения «полицейского сыщика, агента охранного отделения».

Кроме приведенных у Фасмера значений слова *пик* «карточная масть» (< франц. *pique* «пики») и «остроконечная гора» (< франц. *pic* в том же значении), имеется еще новое: *часы пик* — полузаимствование, полукалька с амер. *peak hours* в том же значении.

Полоснуть, которое Фасмер переводит *stechen*, т. е. «уколоть, ударить ножом», очевидно, то же самое слово, как и *полыснýть*, которое он переводит «e. Hieb versetzen», т. е. «нанести удар».

Следует отметить, что литовск. *pùndas* и (диалектич.) *pundùs* получили значение «пуд, 40 фунтов» только вследствие смешения с *pūdas* «пуд». Прежнее значение их было «гиря, фунт», и они заимствованы не из др.-русск. *пудъ* с еще сохранившейся носовой гласной, как думает Фасмер (II, стр. 460), а из нижне-нем. *pund* «фунт», как доказано литовским ученым К. Альминаускисом в его работе о германских заимствованиях в литовском языке[2].

Объясняя *рай* как заимствование из древнеиранского, Фасмер не принимает во внимание, что древнеиндийское и авестийское *rāy* «богатство, счастье», как и родственное им лат. *rēs* «вещь, дело и т. п.», обозначают именно «реальное имущество, богатство», в то время как у славян представление о рае связывается со счастьем отвлеченным, имеющимся где-то далеко, в «теплых краях», на «макарийских островах», в «стране Муравии» и т. п. Поэтому мне кажется более правдоподобным объяснение Калимы [3], который относит *рай* в первоначальном значении «(теплая) река» к *рой*, *ринуться*, *река*. Уменьшительное *раёк* «верхний ярус в театре; кукольный театр и т. п.» получило это свое значение под влиянием франц. *paradis*: 1) «рай», 2) «галерка».

Общеславянское *rakъ* «рак (животное)», по мнению Фасмера, не объяснено удовлетворительно. Из приведенных им объяснений мне кажется, однако, вполне удовлетворительным данное Г. И. Ильинским сопоставление с литовск. *rakti* «ковырять острым предметом в чем-нибудь твёрдом, прокалывать; прокалывать» и латыш. *rakt* «копать». Семантически оно так же ясно, как и сопоставление нем. *Krabbe*, англ. *crab* «краб», швед. *kräfta*, нем. *Krebs*, др.-в.-нем. *krebiz* «рак», ср. голл. *crevet* «рак, креветка» с нем. *krabbeln*, др.-сканд. *krafla*, *krafsa* «копошиться, скрести, царапать, ковырять». Хорошо известно, что раки выкапывают («выковыривают») себе норы в берегах населяемых ими водоемов, если не находят естественных углублений. Фонетически праславянское *rakъ* (<**rāk-* или **rōk-*) предполагает удлинение гласного (аблаут), так же как, например, литовск. *plōkis* «удар» и русск. *плач* по отношению к литовск. *plàkti* «хлестать, бить», первоначально «выражать этим скорбь». Для полного соответствия следовало бы ожидать праславянск. **račь* <* *rākis*.

Репту́х, *репту́к*, *хребту́г*, *хрепту́г*, *хребту́х*, *хребту́к* и др. «веретьё, вроде простыни, которое натягивается между оглоблями, образуя род корыта, в которое насыпают овес для лошадей», проникло в русские говоры из польского языка (польск. *reptuch*, *reptiuch*, *reptuz*, *kreptuch* с тем же значением засвидетельствовано уже в XVI в.). Объяснение, что оно — из нем. **Krippentuch* или **Reiftuch* не удовлетворяет ввиду отсутствия таких слов в немецком языке. Я еще в 1954 г. предложил исходить из первоначального **рендук*, польск. **чердук*, которое легко вывести из ср.-нижне-нем. *rêpdok(es)* «отрез, кусок материи»[4]. В русском произошло переосмысление под влиянием слова *хребет*.

---

[1] Подробнее этот вопрос исследован мною в «Journal de la Société Finno-ougrienne» (LVIII, Helsinki, 1956).

[2] См. К. Alminauskis, *Die germanismen des Litauischen*, Kaunas, 1934, стр. 106—107.

[3] См. J. Kalima, Zur Etymologie von slav. *rajь* «Paradies», «Slavia», ročn. XVII, seš. 1—2, 1939, стр. 33.

[4] См. V. Kiparsky, [Рец. на кн.:] J. Kalima, Slaavilaisperäinen sanastomme.., Helsinki, 1952, «Zeitschrift für slavische Philologie», Bd. XXII, Heft 2, 1954, стр. 433, сноска.

Северновеликорусские наречия *речáе* «дальше от берега, ближе к середине реки» и *бережее* «ближе к берегу» объясняются Фасмером как «старые сравнительные степени» от *река* и *берег*. Насколько мне известно, подобные образования (сравнительные степени от существительных в роли наречий) в других славянских языках не встречаются. Они, однако, весьма распространены в прибалтийско-финских языках, например, фин. *rannempana* «ближе к берегу»= собственно эссив сравнительной степени от фин. *ranta* «берег». Ввиду крайне ограниченной области распространения этих образований в русском, более чем вероятно, что мы имеем в этих случаях дело с калькированными финскими или карельскими выражениями.

Древнерусское собственное имя или прозвище *Рычагъ*, упоминаемое Фасмером в статье *рычаг*, конечно, не имеет ничего общего с этим словом, проникшим в русский язык из польского не ранее XVI в. Имя *Рычагъ* образовано от *рычать* (<*rykēti*), так же как, например, *Сипяга* (ср. фамилию *Сипягин*) от *сипеть* (<*sipeti*). Во всяком случае, следовало бы посвятить этим выражениям специальное исследование.

Свинка «слиток металла» упоминается, правда, уже в 1626 г. в выражении *свинцу свинья* в «Записной книге московского стола» («Русская историческая библиотека», IX, 1884, стр. 389, 442, 488), что говорит в пользу сопоставления с названием металла *свинец*, которое дает Фасмер. Однако появляющееся в том же значении *чушка* делает этимологическую связь между *свинцом* и *свинкой* менее вероятной. Повидимому, мы имеем здесь дело с калькированным английским выражением *pig of lead* «слиток свинца» (англ. *pig* «свинья»), также *iron pig* «слиток железа» и т. п. Именно во второй половине XVI в. начался усиленный экспорт металлов из Англии в Московию, который и мог вызвать появление вышеупомянутых калек.

При определении праславянской формы, к которой восходит южнорусск. *свита*, *свитка* «род верхней одежды», следует принять во внимание старое финское заимствование *viitta* «плащ», которое указывает на праславянское и древнерусское *свита*, не **съвита*. Последнее дало бы в финском **suviitta*;ср., например, фин. *suvalkko* «вал у ткацкого станка, на который навивается основа» <**съволкъ*, откуда русское обл. *сволок* в том же значении, и фин. *sukkula*, **sukkala* «челнок» <**съкала*, откуда русское обл. *скалá* «снаряд, на котором свивают цевки для утока».

Название *Сестрá*, обозначающее речку, по которой до 13 марта 1940 г. проходила граница между Финляндией и СССР,— финского происхождения. Старое финское название *Siestarjoki* от фин. *siestar* «черная смородина» и *joki* «река» было переосмыслено шведскими чиновниками как *Systerbäck*, буквально «Сестра-река». Так как эта река играла большую роль при определении новгородско-шведской границы, то она получила финское название *Rajajoki* «пограничная река», совершенно вытеснившее старое название: *река Сестрея* (в Ореховском договоре 1323 г.).

Устаревшее *сикурс* «помощь, поддержка» было заимствовано не из итальянского *soccorso* «помощь», как полагает Фасмер, а из бывшего в употреблении еще в XVII в. франц. *secource*, *secours* «помощь» с ясно слышимым *-s-* в окончании. Написание с *-и-* объясняется, вероятно, редукцией *-е-* в предударном слоге. Слово это рано вышло из употребления (уже у Пушкина оно является умышленным архаизмом) и поэтому, вероятно, его орфография не была исправлена грамматиками.

Из приведенных Фасмером объяснений слова *слон* следует, безусловно, отдать предпочтение теории заимствования из татарского *aslan* «лев». Изменение значения здесь так же мало удивительно, как и смешение слона с верблюдом[1], бегемота с носорогом, тура с зубром [2] и т. п. Сопоставление *слона* с глаголом *слонить* на основании средневековой басни, будто слон не может сгибать колен и спит, п р и с л о н я с ь к дереву, принимаемое многими серьезными учеными, следует отнести к области народной этимологии. Таким же образом многие западноевропейские натуралисты XVI—XVII вв. переосмысляли название «морж» частью как «кусака» (от лат. *morsus* «укус»), частью как «смертоносец» (от лат. *mors* «смерть»)[3].

Областные глаголы *стя́нуть*, *стя́пать*, *стя́шить* «стащить, украсть», которые почему-то отнесены к «неясным» (unklar), являются, без сомнения, разновидностями разговорного *стяну́ть* «украсть», так же как и *стя́брить* в том же значении, которое Фасмер именно так и объясняет. К этому последнему следует, вероятно, отнести и *стибрить*, *стибану́ть*, *сти́госить* «стащить, украсть», которые Фасмеру кажутся «неясными».

Тальмà «верхнее женское платье» едва ли тюркского происхождения, как предполагает Фасмер, хотя оно и записано в 1899 г. в Тобольске. По всей вероятности, это— уцелевшее в глухой провинции *тáльма* «женская длинная накидка без рукавов», названное так по имени французского артиста Ф. Тальма (François Joseph Talma, 1763—1826) и бывшее в общем употреблении в первой половине XIX в.

[1] См. V. K i p a r s k y, Die gemeinslavischen Lehnwörter aus dem germanischen, Helsinki, 1934, стр. 213.

[2] См. B. U n b e g a u n, указ. статья, стр. 169—174.

[3] Подробнее см. V. K i p a r s k y, L'histoire du morse, Helsinki, 1952, стр. 9 и 15.

Из приведенных у Фасмера различных объяснений слова *тарака̀н* мне представляется самым вероятным толкование его как заимствование из чувашского *taraqan* «бегун, беглец». Для этого насекомого характерен именно быстрый бег, который, как известно, неоднократно использовался устроителями азартных игр. «Тараканьи бега» описываются, например, у А. Н. Толстого в IV книге «Похождений Невзорова» и у английского писателя Грэхема Грина (Graham Greene) в романе «Главное дело».

Фасмер напрасно сомневается в том, что выражение *подпускать турусы* (*на колесах*) и т. п. происходит от названия двигавшейся на колесах осадной башни, называвшейся также *тара̀сы*; ср. у Даля: «устремишася къ монастырю... и съ *тарасы* рублеными на колесѣхъ». Это последнее заимствовано из польск. *taras* «насыпь, вал; укрытие, заграждение; терраса», которое, в свою очередь, заимствовано из нем. *Terrasse* или франц. *terrasse* в тех же значениях, первоначально «земляная насыпь», от лат. **terrāceа*.

В пользу старой этимологии южнорусского слова *тартак* «лесопильня»<польск. *tartak* в том же значении, от польск. *trzeć* «тереть», *tarty* «тертый», данной еще Ф. Миклошичем, говорит русское областное выражение *тереть до́ски* «пилить доски»; например, у Юрия Германа («Россия молодая»): «И доски тер — на продажу».

*

В заключение отметим еще несколько опечаток и мелких неточностей, которые легко могут быть исправлены в следующем издании.

Род. падеж ед. числа от *ко́поть* «сажа» не *ко́пти*, а *ко́поти*.

Библейское чудовище называется не *левиата́н*, а *левиафа́н*.

Метис не «сын европейца и мулатки» (это последнее обозначалось в XIX в. словом *квартеро́н*), а «сын белого и американской индианки или индейца и белой женщины», а также «гибрид вообще».

Вместо *неп* (II, стр. 212) следует читать *нэп*, вместо *не́топырь* (II, стр. 216) — *нетопы́рь*.

Очень неприятная опечатка в немецком тексте встречается на 266 странице II тома, где заглавие статьи *олядь* переведено *Art Brot*, т. е. «род хлеба», что оставляет читателя в совершенном недоумении, так как трудно догадаться, что следует читать *Art Boot* «род лодки».

Под заглавием *праск* «хлопо́к, щелканье кнута» (II, стр. 425) приводится чеш. *praskati* со значением «knallen», т. е. «хлопать». Это неточно: чеш. *praskati* значит «трещать» (например, о дровах в печке) или «лопаться». В значении «хлопать, шлепать» употребляется *práskati* (с долгим *-á-*).

Вместо *орангута́н* следует читать *орангута́нг*, вместо *пагбда* — *па́года*, вместо *пе́нька* — *пенька́*, вместо *сантиме́тр* — *сантиме́тр*.

Пестун не «медведь, сопровождающий своего детеныша», а «медвежонок 2—3 лет, оставшийся при матери», который якобы принимает участие в воспитании («нестовании») своих младших братьев и сестер.

При *полоскать* следовало бы указать литературное *полощу*, а не только разговорное *полоскаю*.

Русское слово *рутина* имеет значение неодобрительное («рабское следование заведенному шаблону»), соответствующее приблизительно нем. *Schlendrian*. Его нельзя переводить нем. *Routine*, которое имеет значение похвальное: «сноровка, опыт, натолелость».

Тара — не «чистый вес товара без упаковки», а именно «вес упаковки», в новейшее время — «упаковка вообще».

*

Принимая во внимание объем словаря (до сих пор вышло более ста печатных листов убористого шрифта), надо признать, что все критические замечания не в состоянии серьезно уменьшить значение этого капитального труда. Всю огромную работу над своим словарем, от выписывания фишек до правки корректур, Фасмер проделал совершенно один и, конечно, не мог при этом избежать некоторых промахов. Его единственными «сотрудниками» являются рецензенты, которые видят словарь уже в готовом виде и могут только пожалеть, что не могли во-время указать автору на мелкие неточности. Зато его словарь отличается той оригинальностью мысли и той монолитностью, которых очень трудно достигнуть в коллективных работах. В этом труде выдающегося ученого с пятидесятилетним научным стажем сконцентрированы все достигнутые до сих пор результаты исследований по русской этимологии и указано также то, чего мы еще не знаем в этой области. Словарь Фасмера послужит солидным фундаментом для тех ученых, которые возьмутся за составление этимологического словаря русского языка для русских читателей и которые будут иметь возможность осуществить более обстоятельные семантические комментарии.

В. Р. Кипарский

О НЕКОТОРЫХ НЕДОСТАТКАХ В ОПИСАНИИ И ИЗУЧЕНИИ РУССКИХ ГОВОРОВ

(Обзор работ по русской диалектологии, опубликованных в «Ученых записках» и «Трудах» институтов и университетов в 1953—1955 гг.)

В послевоенные годы диалектологическая работа в нашей стране получила значительное развитие, что выразилось прежде всего в сборе новых материалов о языковых особенностях русских народных говоров с целью их последующего картографирования в диалектологических атласах. В ряде обобщающих теоретических статей, построенных на новых материалах, удается пересмотреть традиционные точки зрения, основанные на недостаточных сведениях о русских говорах в прошлом [1].

В течение 1953—1955 гг. в различных «Ученых записках» и «Трудах» институтов и университетов нашей страны появилось много статей описательного характера по диалектологии русского языка. Эти работы основаны на материалах послевоенных диалектологических экспедиций и содержат большое количество интересных наблюдений над разными русскими говорами.

Вышедшие в свет за последние годы работы чаще всего посвящены описанию фонетических явлений; в ряде работ имеется описание и фонетики, и морфологии, нередко сопровождаемое замечаниями по синтаксису и лексике, носящими, правда, в большинстве случаев схематический характер. Имеются также работы, специально посвященные синтаксическим явлениям в русских говорах.

Наиболее многочисленной является первая группа работ, среди которых можно указать статьи А. И. Ивановой «Фонетика говоров Слободского района Смоленской области» [2], В. Д. Бондалетова «Особенности яканья говора дер. Самовольно-Ивановки Алексеевского района Куйбышевской области» [3], В.А. Сенкевича «Заметки о говоре Парабельского района Томской области» [4], И. С. Делюсиной «Фонетика гласных (говор дер. Галкино, Норского сельсовета, Кинешемского района, Ивановской области)» [5], М. В. Кривовой «Заметки о говорах Белорецкого района Башкирской АССР» [6], С. Б. Тошьяна «Говоры русских переселенцев в Армянской ССР (фонетическая система говоров переселенцев-молокан Степанаванского района)» [7].

Из работ второго типа назовем статьи А. И. Ивановой «О говорах Демидовского района Смоленской области» [8], В. И. Чагишевой «К изучению курско-орловских говоров. (Наблюдения над говорами Суземского района, Брянской области)» [9], В. И. Собинниковой «Говор села Петина Гремяченского района Воронежской области» [10].

Наконец, к работам третьей группы относятся статьи В. И. Собинниковой «Повторение предлога в говорах Гремяченского района Воронежской области» [11] и «Родительный и винительный падежи прямого объекта при отрицании в народных говорах (По материалам говоров Гремяченского района Воронежской области)» [12], В. В. Палагиной «Синтаксические особенности говора западной части Томского района» [13], Р. С. Овчинниковой «Синтаксические особенности говора деревни Большой Кугунур Кировской области» [14].

В силу определенных особенностей развития науки о русских диалектах, а также в зависимости от характера диалектных различий русского языка наиболее разработанными являются фонетика и морфология. Здесь, с одной стороны, достаточно определились основные принципы исследования и описания материала, и, с другой сто-

---

[1] См., например: Р. И. Аванесов, Вопросы лингвистической географии русских говоров центральных областей, ИАН ОЛЯ, 1952, вып. 2; его же, Лингвистическая география и история русского языка, ВЯ, 1952, № 6; Р. И. Аванесов и В. Г. Орлова, Вопросы изучения диалектов языков народов СССР, ВЯ, 1953, № 5; Т. Г. Строганова, Одна из особенностей южнорусского вокализма, ВЯ, 1955, № 4; В. Г. Орлова, Классификация южновеликорусских говоров в свете современных диалектных данных, ВЯ, 1955, № 6 и др.

[2] «Ученые записки Смоленск. гос. пед. ин-та», вып. 2, 1953.

[3] «Ученые записки Пенз. гос. пед. ин-та им. В. Г. Белинского», вып. 1, 1953.

[4] «Ученые записки [Томск. гос. ун-та им. В. В. Куйбышева]», № 19, 1954.

[5] «Ученые записки Иванов. гос. пед. ин-та», т. VI, 1954.

[6] «Ученые записки Магнитогор. гос. пед. ин-та», вып. 3, 1955.

[7] «Ученые записки Ереван. гос. русск. пед. ин-та им. А. А. Жданова», т. IV, 1955.

[8] «Ученые записки Смоленск. гос. пед. ин-та», вып. 2, 1953.

[9] «Ученые записки Ленингр. гос. пед. ин-та им. А. И. Герцена», т. 92, 1954.

[10] «Труды Воронеж. гос. ун-та», т. 25, Л., 1954.

[11] «Там же, т. 29, Харьков, 1954.

[12] Там же, т. 38, 1955.

[13] «Ученые записки [Томск. гос. ун-та им. В. В. Куйбышева]», № 19, 1954.

[14] Там же.

роны, наметились наиболее типичные ошибки, связанные с построением всех описаний по единому шаблону.

Поэтому в дальнейшем обзоре мы остановимся только на диалектологических работах первых двух групп из числа намеченных выше, не затрагивая совершенно работ, посвященных описанию синтаксических явлений.

В описаниях фонетического и морфологического строя говоров авторы ставят перед собой чаще всего одни и те же задачи, формулировка которых дается наиболее отчетливо, пожалуй, в статье В. И. Собинниковой о говоре с. Петина: эти задачи заключаются в том, чтобы выделить в говоре местные особенности речи, показать их подчиненный характер по отношению к общенациональным нормам языка и представить говор в его развитии (стр. 72) [1]. В целом подобное определение задач исследования и описания фонетики и морфологии говоров, при всей его подробности, едва ли все же можно признать достаточным. Если в работе описывается целый ряд фонетических явлений или морфологических особенностей, то она тем самым приближается к монографическому описанию, которое должно полностью охватывать систему взаимосвязанных явлений хотя бы одной из сторон языковой структуры местного говора. Именно такое описание взаимообусловленных явлений языковой структуры, описание с и с т е м ы диалекта и надо считать основной задачей работ рецензируемого типа. К сожалению, рассматриваемые работы чаще всего почти не дают представления о системе говора в целом.

При описании фонетики в этих статьях большей частью лишь приводятся отдельные факты (причем нередко и очень интересные), устанавливаются типичные для говоров изменения звуков и так или иначе истолковываются причины появления этих изменений. Ср. в работе И. С. Делюсиной [2] подробное описание гласных звуков изучаемого говора, рассмотренных во всех существенных фонетических позициях. Привлечение фактов, характеризующих речь не только старшего поколения — носителей традиционного говора, но и речь молодежи, помогает уяснить те процессы, которые происходят в изучаемых говорах в наши дни.

Определенный интерес представляют наблюдения В. А. Сенкевича над вокализмом 1-го и 2-го предударных слогов в изученных им говорах, где распространено диссимилятивное аканье, но где в то же время выделяются две «манеры говорения». Одна — при которой в первом предударном слоге произносится *а*, менее открытое по образованию, а во втором — широкое открытое с большей долготой, что создает впечатление напевности произношения,— другая — при которой и в первом, и во втором предударных слогах *а* звучит приблизительно одинаково, что напоминает скандирование слогов. Автор указывает, что первый тип — более архаичен, а второй появляется под влиянием литературного языка; именно он и представляет переход к литературному произношению с редукцией гласных во 2 предударном слоге (стр. 63—64).

В. И. Собинникова устанавливает при анализе произношения гласных систему яканья, переходного от диссимилятивного щигровского типа к ассимилятивно-диссимилятивному. Автор стремится осмыслить явления первого предударного слога после мягких согласных и об ъ яснить все отклонения в произношении гласных в этом положении, исходя из общих тенденций развития системы вокализма в изучаемом говоре (стр. 74—76).

В статье В. Д. Бондалетова об особенностях яканья в говоре одной из деревень Куйбышевской области рассматривается сложная разновидность ассимилятивно-диссимилятивного яканья, образовавшаяся в результате переплетения закономерностей фонетического и морфологического характера. При наличии ассимилятивно-диссимилятивного яканья кидусовского типа в говоре наблюдаются определенные отступления от него, которые и являются объектом исследования. Статья привлекает внимание наличием в ней большого материала, в целом точным лингвистическим описанием и стремлением показать факты в их взаимосвязанности и обусловленности.

Вместе с тем в указанных работах можно отметить некоторые характерные недостатки. Один из этих недостатков связан с тем, что авторы пользуются при описании преимущественно лишь фактами, собранными по «Программе собирания сведений для составления диалектологического атласа русского языка», хотя эта программа построена главным образом в соответствии с задачей составления атласа, а не с задачами, стоящими перед диалектологическими работами описательного характера, указанными выше.

Весьма существен и другой недостаток, сказывающийся, например, в описаниях гласных звуков. Подробное, расчлененное описание произношения гласных звуков не

[1] Здесь и далее в скобках указываются страницы в соответствующем выпуске или томе «Ученых записок» и «Трудов», где опубликована данная работа.

[2] Название как этой работы, так и других дано выше. В дальнейшем заглавие той или иной статьи будет приводиться лишь в случае необходимости, например тогда, когда данному автору принадлежит не одна, а несколько из рассматриваемых работ.

сопровождается в рецензируемых работах сопоставлением фактов и выявлением связей между ними, т. е. не заключается установлением системы фонем данного говора. Не установив же системы фонем, нельзя, конечно, правильно представить себе и характерные особенности того или иного диалекта по сравнению с другими диалектами и литературным языком. Наличие некоторых спорных положений в вопросах теории фонем не должно приводить к отказу от ее использования в диалектологических исследованиях.

В рецензируемых работах, правда, можно встретить неоднократно повторяющиеся формулировки, которые с первого взгляда как будто бы характеризуют систему гласных фонем говоров. Рассмотрим некоторые из этих формулировок. Так, С. Б. Тошьян указывает, что «в изучаемых говорах, как и в русском литературном языке, шесть ударяемых гласных: *и, е, а, о, у, ы*, которые различаются лишь в подударном положении» (стр. 230—231). Подобная формулировка вызывает недоуменные вопросы. Почему в русском литературном языке «шесть ударяемых гласных»? И почему они «различаются лишь в подударном положении»? Если говорить о звуках под ударением, то их, конечно, в русском языке больше, чем 6 (ср. *мат, м'ат, м'ат'* и т. д.); точно так же если речь идет просто о различении звуков, то оно есть и в безударных слогах (ср. *сырбк, сурбк, сапбк*). Поэтому точнее следовало бы говорить о наличии под ударением 5 или 6 гласных фонем в литературном языке, которые выступают в своем основном виде (в фонетически наименее обусловленном положении) или в своих разновидностях (в иных положениях); и также вернее было бы говорить о том, что в безударных слогах в литературном языке и в акающих говорах различается меньшее количество гласных фонем, чем под ударением, но что они все-таки различаются и играют фонематическую роль.

А. И. Иванова пишет, что «в демидовских говорах состав ударяемых гласных имеет общерусский характер» (стр. 87). Эта формулировка оставляет вопрос неясным по существу. Что понимается под «общерусским» — только состав фонем литературного языка или то, что свойственно всем его разновидностям? На эти вопросы автор не отвечает, хотя известно, что ряд русских диалектов и ныне имеет своеобразный состав гласных фонем, в частности, благодаря наличию в них *ê* и *ô* (или дифтонгов).

Подчеркиваем при этом, что дальше общих указаний на соответствие состава гласных фонем говора составу гласных фонем литературного языка в рецензируемых работах дело не идет. А ведь необходимо было поставить вопрос о степени распространенности и употребительности каждой отдельной фонемы в данном говоре по сравнению с иными диалектами и литературным языком. При полном совпадении состава ударенных гласных фонем говора и литературного языка степень употребительности отдельных фонем может быть различной, что связано с наличием или отсутствием перехода *е в о* и с изменением или отсутствием изменения *а в е*, а также с судьбой звука *ĕ* в разных фонетических позициях под ударением (ср., например, факты перехода *а в е* в говорах, описываемых С. Б. Тошьяном, В. А. Сенкевичем, А. И. Ивановой, явление *отсутствия перехода е в о* в говорах Демидовского района Смоленской области и Суземского района Брянской области и т. п.).

В. И. Собинникова, отметив, что система ударенных гласных фонем говора совпала с системой гласных фонем литературного языка, замечает: «Это не случайно. Звуковые особенности говора говорят (стиль! — *Вал. И.*) о южнорусской основе его. Система же гласных литературного языка базируется на южнорусской основе» (стр. 79). Между тем система ударенных гласных фонем литературного языка в такой же мере южновеликорусская, как и северновеликорусская: в том и другом наречии преобладают говоры, в которых состав и соотношение гласных фонем в указанном положении будут такими же, что и в литературном языке.

Переходя к описанию безударного вокализма, авторы рецензируемых работ вообще как бы забывают о том, что и здесь выступают звуки, которые играют разную фонематическую роль и находятся в определенных и закономерных отношениях как между собой, так и с системой фонем под ударением. Поэтому если, например, И. С. Делюсина пишет (стр. 58), что в изучаемом ею говоре, кроме 6 гласных фонем, наличествует еще и звук ъ, промежуточный между *а* и *ы* (он произносится, как утверждает автор, на месте *а* во втором предударном слоге), то совершенно естественно возникает вопрос о фонематическом значении этого звука, которое в работе не выясняется. В работе В. И. Чагишевой слово «фонема» встречается только в заголовках (ср. «Гласные фонемы в заударных слогах», стр. 163), в самом же изложении фактов речь идет о звуках, отношение которых друг к другу и место в системе фонем данного говора остается неизвестным.

При описании системы согласных фонем большинство авторов также идет путем комментирования лишь тех явлений, которые предусмотрены в упомянутой выше «Программе». Так, например, С. Б. Тошьян останавливается в своей работе только на характеристике отдельных фактов в области согласных (произношение *г*, качество шипящих *ш, ж* и *ш', ж'*, различение *ц* и *ч'*, соотношения *ф — хв, х*; *в — ф*; *р—р'* и смягчение согласных в разных фонетических позициях). Точно так же поступают

В. А. Сенкевич, М. В. Кривова и А. И. Иванова. Авторы, таким образом, и здесь забывают, что понять особенности говоров можно лишь в том случае, если будут представлены закономерные отношения между звуками, т. е. если будет показана система согласных фонем диалекта. Было бы, например, интересно установить, в каком отношении к согласным фонемам говора, описанного В. А. Сенкевичем, стоит аффриката *д͡ж'*, отмеченная автором в таких словах, как *пбн'д͡ж'а* (разновидность заболоченной местности), *нъд͡жа* (разновидность снежного покрова), *под͡ж'а* (особое металлическое сито), *Ка́л'д͡ж'а* (приток Оби) (стр. 74—75).

Правда, среди рецензируемых работ есть и такие, в которых делаются определенные попытки описать систему согласных фонем того или иного говора. Так, А. И. Иванова в статье о говорах Слободского района Смоленской области указывает на наличие в их системе 26 парных по твердости-мягкости фонем. Однако в дальнейшем изложении автора интересуют опять-таки лишь диалектные особенности консонантизма: изменение *а — ў* и *л —ў*, произношение *т'* и *д'* как *т'с'* и *д'з'* и т. д. К анализу системы согласных фонем он более не возвращается.

Известно, что система согласных фонем как русского литературного языка, так и местных говоров характеризуется наличием двух рядов: ряда согласных, парных по твердости-мягкости и ряда согласных, парных по глухости-звонкости, при существовании одиночных фонем как по признаку твердости-мягкости, так и по признаку глухости-звонкости. Но А. И. Иванова почему-то забыла о втором ряде, в результате чего оказалось, что система фонем охарактеризована не полностью. Да и в описании системы твердых-мягких согласных в работе А. И. Ивановой остаются неясные моменты: фонемы *к*, *г*, *х* автор считает такими же парными по твердости-мягкости, как, скажем, *т*, *д*, *с*, *з*; неясно, существуют ли в говоре одиночные мягкие фонемы, например *ш̄'*, *ж̄'*, *j*, ибо в характеристике состава согласных фонем, имеющейся в работе, о наличии этих звуков в говоре ничего не сказано, хотя далее в работе о них можно найти некоторые сведения (стр. 133).

Аналогичные замечания можно сделать и по работе В. П. Собинниковой, где имеется общий перечень твердых-мягких согласных фонем, но почему-то отсутствуют *γ*, *ш*, *ж*, *ш̄*, *ж̄*, хотя о том, что они есть в говоре, можно узнать при дальнейшем чтении работы. Последующее же изложение построено на рассмотрении отдельных явлений в области произношения согласных (*γ*, *ц—ч'*, отсутствие *ф* и оглушение *в – ф*, качество *ш̄* и *ж̄* и т. д.). Поэтому трудно согласиться и с заключением автора о том, что «в целом звуковая система говора говорит (опять стиль!— *Вал. И.*) о подчиненности ее общенациональным нормам, выраженным наиболее полно в литературном языке» (стр. 82—83). Этот тезис в работе не доказывается, так как в описании имеются данные лишь о составе, а не о системе согласных фонем.

Наиболее отчетливо недостатки в описании системы согласных проявились в работе В. И. Чагишевой, которая пишет: «Состав согласных фонем в говорах Суземского района тот же, что и в литературном русском языке. Отличие касается некоторых частностей, придающих описываемому говору своеобразную диалектную окраску» (стр. 166). Но так как общий состав согласных фонем в работе не описан, то читателю предоставлено право восстановить эту систему самому. Что же касается «частностей», которые автор считает нужным описать, то к ним, как видно, надо отнести такие факты, как наличие *γ*, оглушающегося в *х* (т. е. существование в системе согласных говора парных по глухости - звонкости фонем *γ — х* при непарном *к*), отсутствие фонемы *ф* (т. е. тем самым отсутствие парных отношений *в—ф*, *в'—ф'*), наличие перехода *в* в *ў* и отсутствие противопоставления губных по твердости-мягкости на конце слова (в говоре в этом положении произносятся только твердые губные). Если сравнить все это с фактами русского литературного языка, то окажется, что описываемые говоры отличаются не только по составу фонем (ср. хотя бы отсутствие *ф*, *ф'*, наличие *γ*), но и по их системе, ибо соотношения между фонемами в говоре в ряде случаев принципиально иные по сравнению с литературным языком.

Рецензируемые работы имеют ряд существенных недостатков и в лингвистической интерпретации самих языковых фактов. Особенно ярко это выражается в неразграничении явлений собственно фонетических и явлений в той или иной степени лексикализованных или морфологизованных. Например, в статье В. А. Сенкевича читаем: в области гласных под ударением «отклонение от литературной нормы наблюдается только в п р о и з н о ш е н и и (разрядка моя.— *Вал. И.*) гласных переднего ряда *'а* (вероятно, точнее *ӓ*. — *Вал. И.*) и *и*, которые в очень небольшой группе слов совпадают по качеству с *е*» (стр. 63). Примеры: *гавар'ёла*, *бат'ёнач'к'и*, *ап'ёт'*, *вз'ёт'*, *п'ёт'*, *гр'ес'*, *зач'ёл'и*, *пастуч'ёл'и*. Автор совершенно неправомерно соединяет здесь две группы явлений, наблюдаемых в разных фонетических условиях: с одной стороны, факты произношения *е*, а не *а* под ударением между мягкими; с другой — факты произношения *е* вместо *и* под ударением перед твердыми. Неоднородны рассматриваемые явления и по своему характеру. Необходимо всегда различать, имеем ли мы дело с фонетическим и з м е н е н и е м качества звука, или с фактом з а м е н ы

одного звука другим, когда речь не может идти о чисто фонетическом явлении. Произношение *а* как *е* в определенной фонетической позиции — это изменение качества звука, полностью объяснимое с артикуляционной точки зрения как результат сильного продвижения артикуляции *а* вперед и вверх в положении между мягкими согласными[1]. Что же касается замены *и* на *е* (*бат'ёначки*, *γавар'ёла*), то это явление едва ли объяснимо фонетическим изменением звуков. В статье В. И. Чагишевой указано, что «этимологическое *а* в корнях и приставках произносится как *о* в следующих словах: *со́д'иш*, *со́д'им*, *со́д'ут*, *бро́п'ит'*, *запло́т'им*, *пло́т'ут'*, *зо́брън...*» (стр. 157). Но и в этом случае нет «произношения» *а* как *о*, а наблюдается появление звука *о*, вместо этимологического *а*, не по фонетическим причинам.

В статье В. А. Сенкевича под одной рубрикой «Замечания о произношении отдельных слов» объединяются такие разнородные примеры, как *аржана́*, *пашено́*, где появление *а* в начале слова и между согласными связано с историей редуцированных в древнерусском языке, и *пал'ьто́*, где звук *ь* между согласными появляется в результате неправильного усвоения иноязычного слова (стр. 69).

В статье о говорах Демидовского района А. И. Иванова недостаточно ясно освещает вопрос о переходе *е* в *о* в этих говорах. Она указывает лишь, что в положении перед мягкими и отвердевшими согласными это явление в изучаемых диалектах отсутствует, и в то же время совершенно не освещает вопроса о том, наблюдается ли такой переход перед исконно твердыми согласными, и если да, то насколько он последователен? Между тем если перехода нет и перед исконно твердыми согласными, то говоры вообще, повидимому, не знали в своей истории данного явления; если он наблюдается лишь в определенных формах (например, в суффиксах и окончаниях перед твердыми согласными), но не наблюдается в корнях слов, то общая картина меняется; если же, наконец, переход *е* в *о* отмечается в положении перед твердыми, то, следовательно, надо было поставить вопрос о причинах отсутствия этого перехода только в определенных условиях.

При анализе согласных примеры неточной лингвистической интерпретации фактов можно найти при комментировании явлений, связанных с произношением *ц* и *ч*. В статье о говорах Демидовского района А. И. Иванова утверждает наличие в них как цоканья, так и чоканья. Факты, которые она приводит (стр. 90), свидетельствуют о смешении в описываемых говорах звуков *ц* и *ч* (*питацо́к*, *цаго́* и *че́лый*, *канёч*)[2]. Вместе с тем известно, что цоканье — это неразличение *ц* и *ч* и произношение на месте двух аффрикат одного какого-либо звука — или *ц*, или *ч*. Поэтому факт смешения *ц* и *ч* едва ли можно называть цоканьем: такие говоры лучше считать переходными от цокающих к говорам, различающим аффрикаты *ц* и *ч*[3]. Как и почему возникло смешение *ц* и *ч* — это уже иной вопрос, который можно решить лишь при углубленном изучении данных диалектов.

В заключение разбора приемов описания фонетических явлений укажем факты небрежности, имеющие место при характеристике частных явлений изучаемых говоров. Так, в статье М. В. Кривовой утверждается, что в говоре с. Верхний Авзян Башкирской АССР в первом предударном слоге после мягких согласных наличествуют одновременно еканье и иканье, доказательством чего служат всего три примера: *умерла*, *весной*, *везут* (стр. 16), совсем не обосновывающие выдвинутое положение. Автор допускает смешение звука и буквы: «Звук *я* произносится в первом предударном слоге как *а* с мягкостью предшествующего согласного» (стр. 48); фактически в данном случае следовало говорить о сохранении звуком *а* своего качества в данном фонетическом положении.

В работах о говорах Слободского района А. И. Иванова ошибочно утверждает, что в слове *л'о́хка* наблюдается оглушение звонкого *г* перед *к* (стр. 134). При правильном объяснении этого явления следовало бы указать на две ступени в его развитии: оглушение *г* в *к* и диссимиляция в группе *кк>хк*, т. е. *гк>кк>хк*. В. И. Собинникова в качестве диалектных форм приводит также *со́вьснъ*, *низве́снъ*, *на со́нцу*.

Недочетами такого рода особенно сильно страдает работа С. Б. Тошьяна, написанная вообще крайне неряшливо. Автор утверждает, например, что мягкость *р* в словах типа *вер'х*, *читве́р'х* объясняется «сохранением прежней мягкости перед утратившимся ь» (стр. 255). Известно, что в действительности этого так называемого утратившегося *ь* здесь никогда не было и смягчение *р* в подобных словах объясняется воздействием предшествующего редуцированного переднего ряда. На стр. 235 С. Б. Тошьян пишет, что произношение *и*, а не *а* при умеренном яканье в слове *л'ихко́* (а не *л'ахко́*) объясняется влиянием мягкого *х* в *л'ёхче* (?!) и переносом этого *х* в *л'ихко́*. Такое утверждение граничит с фантастикой и не нуждается в комментариях. На стр. 255—256 автор приписывает русскому языку наличие придыхательных *т* и *к* (*тh*, *кh*), ничем по существу не обосновывая это свое «открытие».

---

[1] См. Р. И. Аванесов. Очерки русской диалектологии, ч. I, М., 1949, стр. 55—56.

[2] В говоре *ц* при цоканье твердое, а о качестве *ч* автор ничего не говорит.

[3] См. В. Г. Орлова, Цоканье в русских говорах, «Ученые записки МГУ», вып. 128, Труды кафедры русского языка, кн. 1, 1948, стр. 99—103.

Вопросам морфологии в указанных статьях уделено значительно меньше внимания; довольно подробно они рассматриваются лишь в работах В. И. Чагишевой и В. И. Собинниковой. Кроме того, отрывочные замечания содержатся в статьях А. И. Ивановой и М. В. Кривовой.

Описание морфологии говоров представлено во всех описываемых работах в виде обзоров разрозненных диалектных явлений, наблюдаемых в разных частях речи. Подобные обзоры сопровождаются отдельными соображениями по истории явлений и изредка сопоставлением материала различных говоров.

Особенно типична в этом отношении работа В. И. Чагишевой. В ней нет ни характеристики типов склонения, ни системы форм существительных. Описание ограничивается только теми формами, которые, так сказать, бросаются в глаза. Такая тенденция характерна для многих авторов работ подобного рода, ограничивающих объем своего исследования вопросами «Программы». Впрочем В. И. Чагишева приводит при описании существительных даже меньше фактов, чем это можно было установить по достаточно полным ответам на вопросы «Программы».

Все это полностью относится и к описанию прилагательных, где автор останавливается лишь на их отдельных падежных формах. При описании числительных лишь несколько слов сказано о числительном *два* (здесь интересна форма *дв'ох д'ёўк*, *дв'ох д'ит'ёj*, к сожалению, не интерпретированная автором,— стр. 178). Только в разделе о местоимениях даются полные парадигмы склонения слов *я* и *ты*, *он — она*. Здесь правильными представляются замечания автора об отсутствии эпентетического *н* и о форме множественного числа *оны*. Точно так же полно даются формы указательных местоимений и местоимений *ихний* и *jejная* (стр. 180). Но данные о глаголе опять-таки имеют отрывочный характер: несколько слов сказано о глаголах с основой на переднеязычные и заднеязычные, о формах 3-го лица с окончанием *т'* и без *т*, о возвратных глаголах с *ся* и *си*, о формах повелительного наклонения, инфинитиве и о спряжении некоторых отдельных глаголов.

Совсем схематичны сведения о морфологии в работе М. В. Кривовой, где указаны лишь некоторые морфологические явления одного из трех описанных автором говоров.

Таким образом, при описании морфологии говоров не дается даже подробного и исчерпывающего описания форм изменения различных слов, не говоря уже об отсутствии попыток выявить морфологическую систему. В связи с этим рецензируемые работы чаще всего не дают представления об истинных соотношениях между различными диалектами и литературным языком, а также и об общих закономерностях развития диалектов русского языка.

Авторы рецензируемых работ не останавливаются и на вопросе о том, какой характер *в целом имеют морфологические различия русского языка*. Нередко, отмечая ряд диалектных особенностей и в то же время говоря об общности морфологической структуры изучаемого говора со структурой литературного языка (ср., например, статью В. И. Собинниковой), они не пытаются доказать эту общность, в связи с чем соответствующие положения остаются общей фразой. Доказать же их можно было бы лишь в том случае, если бы удалось выявить х а р а к т е р диалектных различий в области морфологии. Большинство описываемых диалектных особенностей (ср. формы родительного падежа единственного числа женского рода на *-а* с окончанием *-е*, предложного падежа мужского и среднего рода на *-у*, родительного падежа множественного числа на *-ов*, родительного падежа прилагательных на *-ого*, родительного-винительного падежа местоимений на *-е*, формы на *-т* и без окончания в 3-м лице глаголов и т. п.) таково, что их наличие не затрагивает существа морфологической системы говоров, а касается лишь звукового оформления общих для всего русского языка грамматических категорий, состав же самих категорий остается общим для всего русского языка. Более редкими являются такие диалектные особенности, как утрата среднего рода и разрушение особого склонения слов среднего рода на *-мя*: здесь действительно можно говорить о том, что диалектными различиями затрагивается сама морфологическая структура, так как в говоре оказываются утраченными те грамматические категории, которые есть в литературном языке и в иных диалектах. Однако эти факты, как известно, не связаны с последовательно развивающимися явлениями: развитие диалектных различий в целом резко заторможено под все возрастающим воздействием литературного языка.

*

Таковы положительные стороны рецензируемых работ и таковы их основные недостатки, проявившиеся при описании фонетического и морфологического строя русских народных говоров. Преодоление этих недостатков, улучшение качества научного описания, углубление обобщений и более последовательная систематизация наблюдаемых фактов являются условиями успешного развития диалектологической науки в нашей стране.

Вал. Вас. Иванов

Althochdeutsches Wörterbuch. Auf Grund der von Elias v. Steinmeyer hinterlassenen Sammlungen im Auftrag der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Bearb. und hrsg. von Elisabeth Karg-Gasterstädt und Theodor Frings. Lief. 1—2, 3, 4—5, 6.— Berlin, Akademie-Verlag, 1952—1956.

Из многочисленных публикаций по вопросам немецкого языкознания, вышедших в свет за последние годы в Германской Демократической Республике, особого внимания заслуживает «Древневерхненемецкий словарь», издаваемый Саксонской Академией наук в Лейпциге под редакцией акад. Т. Фрингса в сотрудничестве с проф. Е. Карг-Гастерштедт.

Древневерхненемецкий период истории немецкого языка (с VIII до середины XI в.) представлен, за единичными исключениями, памятниками церковной письменности, созданными в монастырских школах для целей преподавания и поучения: это — собрания глосс, объясняющих латинские слова, подстрочные и связные переводы молитв, книг священного писания, богословских и философских трактатов, наконец, стихотворные опыты переложения евангелия и религиозной дидактики, подчиненные практической цели пропаганды новой христианской веры. Светская художественная литература в течение всего этого периода бытует среди народа в устных формах и проникает в клерикальную письменность лишь как своего рода идеологическая контрабанда. Так, например, небольшой отрывок «Песни о Хильдебранте», единственный дошедший до нас письменный памятник древнегерманского героического эпоса, сохранился в случайной записи двух неизвестных клириков на страницах латинского богословского трактата.

Таким образом, древнегерманская письменность мало дает для историко-литературного изучения, но зато она является незаменимым материалом для ранней истории немецкого языка. Язык этот в древний период своей истории обнаруживает значительную диалектную дифференциацию в фонетическом, грамматическом и лексическом отношении. При этом различия фонетические усугублялись непоследовательностями орфографии, вызванными трудностью и кустарным характером приспособления чужого латинского письма к фонетической системе немецких диалектов, а также одновременным наличием конкурирующих орфографических традиций в различных центрах клерикального просвещения. Древние расхождения западногерманских письменных наречий, из которых в эту эпоху складывался язык немецкой народности, частично сглаживались их взаимодействием в рамках франкского государства Меровингов и Каролингов, частично усугублялись в условиях феодального дробления. Процессы эти послужили причиной не только местных, но и хронологических различий между письменными памятниками, особенно отчетливо выступающих в последовательных рукописных редакциях одного и того же произведения письменности.

При таких условиях лингвистическая проблема занимает первое место в вопросах издания немногочисленных древневерхненемецких текстов, которые полностью опубликованы и печатались неоднократно, по разным рукописям. Поскольку число этих рукописей даже для наиболее известных древненемецких памятников очень невелико, научные издания, основанные на лучшей и наиболее достоверной рукописи или на критическом восстановлении оригинального текста, обычно воспроизводят в примечаниях и разночтения других рукописей, каждое из которых является драгоценным языковым свидетельством независимо от того, принадлежит ли оно языку оригинала или привнесено одним из позднейших переписчиков.

В связи с этим большинство ставших классическими изданий важнейших древневерхненемецких текстов, опубликованных с начала 1870-х годов, снабжаются полными словарями, которые дают при каждом слове указания на все случаи, где оно встречается в данном тексте. Первые образцы такого рода полных словарей, установившие их тип, дал Э. Сиверс в своих изданиях древненемецкого евангелия Татиана (1872), Мурбахских гимнов (1874) и древнесаксонской (нижненемецкой) поэмы «Гелианд» (1878)[1]. За ними последовали: «Песнь песней» Виллирама в издании Зеемюллера (1888), стихотворное евангелие Отфрида Вейссенбургского — в издании Келле (1881), фрагменты из Монзее (1891) и Исидор Севильский (1893) — Хенча[2]. Словарь к сочинениям Нот-

[1] E. Sievers, Tatian. Lateinisch und altdeutsch mit ausführlichem Glossar. Paderborn, 1872 (2-e Aufl.—1892); его же, Die Murbacher Hymnen, Halle, 1874; его же, Der Heliand, Halle, 1875. Полный словарь к «Гелианду» с исчерпывающими примерами дал еще раньше М. Гейне (этим изданием пользовался Энгельс в «Франкском диалекте»): см. «Hêliand», mit ausführlichem Glossar, hrsg. v. M. Heyne, Paderborn, 1865 (2-e Aufl.—1873). Ср. последние издания: E. H. Sehrt, Vollständiges Wörterbuch zum Heliand und zur altsächsischen Genesis, Göttingen, 1925; краткий словарь с германскими этимологиями: F. Holthausen, Altsächsisches Wörterbuch, Münster—Köln, 1954.

[2] J. Seemüller, Willirams deutsche Paraphrase des Hohen Liedes. Mit Einleitung und Glossar, Strassburg, 1878 («Quellen und Forschungen...», XXVIII); J. Kelle

кера, крупнейшему памятнику древневерхненемецкой прозы (конец X в.), опубликован недавно в Германской Демократической Республике Зертом и Легнером, на основе выпущенного Зертом нового издания Ноткера[1].

Словари, построенные по тому же типу, обычно сопровождают научные издания и других крупнейших памятников древнегерманской письменности, в особенности поэзии: из них наиболее известны словарь Штрейтберга к его изданию готской библии Вульфилы [2], Геринга к древнеисландской «Эдде» [3], Грейна-Кёлера — к своду англосаксонских поэтических памятников[4]. Они не ограничиваются ссылками на все случаи употребления данного слова, но сопровождают их примерами, дающими контекст употребления с исчерпывающей или почти исчерпывающей полнотой. Именно благодаря обилию примеров и полноте ссылок подобные словари давно уже сделались незаменимой опорой не только для специально лексикологических, но и для грамматико-синтаксических и в особенности для стилистических исследований древних памятников.

Письменные тексты средневерхненемецкого периода коренным образом отличаются по своему содержанию от древневерхненемецких: в большинстве своем это памятники светской поэтической литературы — народного героического эпоса («Нибелунги» и др.), рыцарской любовной лирики (миннезанг) и куртуазного романа. Здесь задачи историко-литературные главенствуют над лингвистическими; при текучести текста средневековой поэтической литературы (в особенности — литературы повествовательной) последовательные редакции одного произведения нередко представляют самостоятельные, более или менее творческие версии — как по своему содержанию, так и по поэтическому стилю. Разумеется, и здесь всестороннее филологическое изучение поэтического текста облегчается более или менее исчерпывающими словарными пособиями монографического характера, которые дают полную картину лексики и словоупотребления данного поэта или поэтического памятника. Такие словари издавна существуют для «Нибелунгов» (Бартш), для лирики Вальтера фон дер Фогельвейде (Хорниг), для рыцарских романов Гартмана фон Ауэ (Бенекэ) и др. [5]. Необходимо отметить как выдающийся по своему качеству недавно изданный в Германской Демократической Республике словарь Э. Висснера к песням миннезингера Нейдхарта [6]. Лексика Нейдхарта представляет особый интерес для исследователя средневекового немецкого языка и поэзии, поскольку по темам и стилю своей лирики, соприкасающейся с народной жизнью и народным песенным творчеством, этот поэт выходит из узкого круга поэтических образов и формул, характерных для традиции рыцарского миннезанга. Словарь основан на новом издании стихотворений Нейдхарта, ранее опубликованном составителем, включает разночтения рукописей и дает исчерпывающие примеры для всех случаев употребления каждого слова. Объяснения значений и спорных мест сопровождаются многочисленными ссылками на научную литературу.

При таком объеме специальных словарей монографического характера до последнего времени отсутствовал словарь, который охватывал бы древненемецкую лексику в целом и отвечал бы научным требованиям современной исторической лексикографии.

---

l e, Otfrids von Weissenburg Evangelienbuch, Bd. I—III, Regensburg, 1856—1881 (Bd. III — Glossar — с исчерпывающими комментированными примерами); G. A. H e n c h, The Monsee fragments, with an exhaustive Glossary, Strassburg, 1890; e r o ж e, Der althochdeutsche Isidor, Strassburg, 1893 («Quellen und Forschungen...», LXXII).

[1] E. H. S e h r t und W. K. L e g n e r, Notker-Wortschatz, Halle, 1955. Ср. «Notkers des Deutschen Werke, nach den Handschriften», neu hrsg. v. E. H. S e h r t und T. S t a r c k, Halle, 1933—1954.

[2] «Die gotische Bibel», hrsg. v. W. S t r e i t b e r g, Heidelberg, 1908—1910 (3-e Aufl.— 1950), (Bd. II—Gotisch-griechisch-deutsches Wörterbuch).

[3] «Die Lieder der Edda», hrsg. v. B. S i j m o n s und H. G e r i n g, Halle, 1903—1906 (Bd. II — H. G e r i n g, Vollständiges Wörterbuch zu den Liedern der Edda). Более позднее авторитетное издание Неккеля дает сокращенный по количеству ссылок, но научно-комментированный словарь. См. «Edda. Die Lieder des Codex Regius nebst verwandten Denkmälern», hrsg. v. G. N e c k e l, Heidelberg: T. I— Text — 1927; T. II — Kommentierendes Glossar — 1936.

[4] C. W. M. G r e i n, Sprachschatz der angelsächsischen Dichter, Heidelberg, 1864 (2-e Aufl., neu hrsg. v. J. J. K ö h l e r — 1912).

[5] «Der Nibelunge Nôt», hrsg. V. K. B a r t s c h, Leipzig, 1880 (Bd. II, 2 — Wörterbuch); C. A. H o r n i g, Glossarium zu den Gedichten Walthers von der Vogelweide, nebst einem Reimverzeichnis, Quedlinburg, 1844; G. F. B e n e c k e, Wörterbuch zu Hartmannes Iwein, Göttingen, 1833. Словарь Бенеке послужил образцом для лексикографической работы по средневерхненемецкой поэзии и переиздавался неоднократно (3-е изд. К. Борхлинга — 1901).

[6] E. W i e s s n e r, Vollständiges Wörterbuch zu Neidharts Liedern, Leipzig, 1954.

Оба больших древненемецких словаря[1] совершенно устарели по материалу и не могут претендовать на необходимую полноту. Шеститомный «Древневерхненемецкий словарь» Графа, опубликованный более столетия назад, несмотря на обилие примеров ограничен объемом известного в то время материала и опирается на недостоверные и устаревшие издания древних текстов, которыми автор вынужден был пользоваться. Более новый двухтомный «Древненемецкий словарь» Шаде, вышедший в свет вторым расширенным изданием в 1872—1882 гг., также был составлен до появления классических изданий древненемецких текстов и словарей к ним. Кроме того, он не содержит ссылок и примеров, в нем приводятся только древневерхненемецкая и средневерхненемецкая формы слова, с указанием его основных значений и краткими этимологическими соответствиями из других древнегерманских языков с некоторыми индоевропейскими параллелями.

Существенная неполнота обоих древневерхненемецких словарей определяется в особенности тем, что они вышли в свет до публикации пятитомного полного собрания латинско-немецких глосс, предпринятого Штейнмейером и Сиверсом еще в конце 1870-х годов и полностью завершенного (с рядом последующих дополнений, рассеянных по специальным журналам) лишь в первой четверти XX в.[2]. По своему лексическому охвату эти словарики значительно шире, чем классические древненемецкие тексты; они являются самыми ранними памятниками немецкой письменности и в своих многочисленных более поздних редакциях связаны со всем ходом развития древненемецкой письменной культуры в ее различных центрах.

Именно рукописная словарная картотека, составленная Штейнмейером к его глоссам и перешедшая вскоре после его смерти в распоряжение Саксонской Академии наук в Лейпциге, и послужила первой основой для издаваемого в настоящее время «Древневерхненемецкого словаря». Таким образом, подготовительная работа по собиранию и первоначальной обработке материала в общей сложности продолжалась более 50 лет. Это обычный срок для словарных работ большого масштаба, осуществлявшихся в старое время в Германии по частной инициативе, без достаточной материальной поддержки государства, силами самого составителя и крайне ограниченного числа добровольных сотрудников[3]. С 1934 г. работу возглавили акад. Т. Фрингс и его ближайший сотрудник по словарю проф. Е. Карг-Гастерштедт — редакторы издания. За это время они опубликовали в периодической печати ряд статей и заметок (под общим заглавием «Из мастерской древневерхненемецкого словаря»), в которых освещался ход подготовительной работы и приводились материалы по отдельным словарным статьям, представляющим интерес с точки зрения культурно-исторической, лингвистической или специально лексикографической[4]. «Древневерхненемецкий словарь» ставит перед собой задачу — полностью охватить древневерхненемецкую лексику, давая ссылки и примеры на все встречающиеся в текстах случаи употребления данного слова.

Каждая словарная статья состоит из трех частей. В первой даются этимологические параллели к данному слову в древнегерманских языках и его позднейшие отражения в средневерхненемецком и новонемецком; для заимствованных слов указываются их иноязычные источники. В ряде случаев, в особенности там, где древнее слово не сохранилось в словарном составе новонемецкого литературного языка, как, например, др.-в.-нем. *aha* «вода» (ср. гот. *ahwa*, лат. *aqua* и др.), сообщаются его соответствия в современных немецких диалектах по основным диалектологическим словарям (баварскому, швейцарскому, швабскому, рейнскому, гессенскому и др.). Вторая часть содержит полный обзор фонетических вариантов слова и его грамматических форм (включая их местные различия), охватывающий все без исключения случаи употребления каждой формы. Третья, наиболее обширная часть представляет собой классификацию значений слова, иллюстрированную примерами употребления слова в контексте. Для произведений переводных и для латинско-немецких глосс при этом указывается латинский оригинал.

Таким образом, каждая ссылка повторяется в словарной статье два раза: один раз без контекста — в фонетико-грамматической части, другой раз в контексте примера — в разделе значений. Этим объясняется обширный размер словарных статей для сколь-

---

[1] E. G. Graff, Althochdeutscher Sprachschatz oder Wörterbuch der althochdeutschen Sprache, Teil I—VI, Berlin, 1834—1842; см. также: «Vollständiger alphabetischer Index...», ausgearb. v. H. F. Massmann, Berlin, 1846; O. Schade, Altdeutsches Wörterbuch, Halle, 1866 (2-изд.: 1872—1882).

[2] «Die althochdeutschen Glossen», gesammelt und bearbeitet von E. v. Steinmeyer und E. Sievers, Teil I—V, Berlin, 1879—1922.

[3] См. В. М. Жирмунский, Деятельность Института немецкого языка и литературы Германской Академии наук, ВЯ, 1955, № 3, стр. 149—150.

[4] См. E. Karg-Gasterstädt und T. Frings, Aus der Werkstatt des Althochdeutschen Wörterbuchs, «Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur», Bd. 60, Heft 1, Halle, 1936 и след.; см. также E. Karg-Gasterstädt, Das Althochdeutsche Wörterbuch. Geschichte und Bericht, «Jahrbuch der deutschen Sprache», II, 1944.

ко-нибудь употребительных слов. Статья *alt* «старый» занимает более 7 столбцов мелкого шрифта и содержит более 300 ссылок и примеров; в статье *ahtôn* «achten» («обращать внимание») также 7 столбцов и 220 ссылок; в статье *ackar* «поле» — 60 примеров. Статья о наречии и предлоге *an(a)* является обширным лексико-грамматическим исследованием с исчерпывающей дифференциацией всех различий в значении и синтаксическом употреблении (она занимает 82 столбца). Только по отношению к часто повторяющимся служебным словам, не обнаруживающим особо существенных различий фонетико-грамматического характера (в предисловии названы предлог *in*, несклоняемое *al*, артикли и некоторые местоимения) словарь допускает замену части примеров простыми ссылками на страницы источников. Тем не менее в рецензируемых выпусках частица *al* занимает 80 столбцов, наречие *also* «так» — 51 столбец и т. п. Здесь принцип исчерпывающей полноты материала несомненно привел к перегрузке словаря излишним балластом.

В конце каждой словарной статьи делаются отсылки к производным словам, а также к сложным, в которые данное слово входит вторым элементом. Ср. от прилагательного *alt* сложные слова: *eban-alt*, *ubar-alt*, *unmez-alt*, *ur-alt*; производные: *alt-îg*, *alt-isc*, *alt-lîh* «старый»; *alt-ida*, *alt-tuom* «старость»; *alt-ên*, *alt-ôn*, *alt-inôn* «стареть» и др. Слова эти рассматриваются в дальнейшем на своих местах по алфавиту. Это позволяет объединить принцип раздельного рассмотрения каждого слова с семантическим «гнездованием», широко распространенным в немецкой лексикографии со времен «Баварского словаря» А. Шмеллера (1827—1837). Вообще словарь обильно пользуется перекрестными ссылками — в особенности для обычных в древненемецком языке диалектных вариантов слова. Варианты грамматические (словообразовательные), также очень многочисленные в древненемецком, рассматриваются в отдельных словарных статьях. Например: *abgrunt* муж. род (осн. *a*) «Abgrund» («пропасть») — *abgrunti* ср. род (осн. *j*); *ablâz* муж. род. «Ablass» («отпущение») — *ablâzi* ср. род (то же самое); *alrûn* муж. род (осн. *a*), форма, сохранившаяся в современном баварском диалекте (*alraun* муж. род.), *alrûna* жен. род (осн. *n*), в литературном языке как *Alraune* («мандрагора») и мн. др.

Грамматической унификации потребовало размещение имен и глаголов с префиксами, представляющих в немецком языке в разных грамматических категориях различную степень лексического объединения. Имена с приставками рассматриваются в словаре в алфавитном порядке приставок, если приставка несет на себе ударение (*ána-gin*, *fóra-sago*), и в алфавитном порядке именных корней, если префикс не имеет ударений (*gi-bírgi*, *fir-téilunga*). Глаголы с приставками объединяются под соответствующим глаголом и следуют за ним (например, *aba-gangan* после *gangan*, *aba-geban* после *geban*), но в то же время они перечисляются в алфавитном порядке после приставки (*abagân*, *abagangan*, *abageban*, *abagineman* и т. д.), с отсылкой к статьям, относящимся к соответствующим глаголам.

Четыре тетради словаря (вып. 1—6), вышедшие с 1952 до начала 1956 г., содержат 432 столбца и заканчиваются словом *analîhhî*, т. е. примерно первой половиной буквы *a*. Следует пожалеть о медленности темпов печатания издания, представляющего благодаря своему исчерпывающему характеру огромный научный интерес. Уже сейчас намечается ряд конкретных вопросов истории немецкого языка, которые могут получить разрешение только в свете обширных материалов, собранных и сопоставленных в словаре: диалектное (географическое) распределение древненемецких словарных синонимов, устойчивые и неустойчивые элементы древненемецкого словаря, относительная употребительность слов, их возникновение и исчезновение (в границах письменной литературы определенного жанра), конкуренция синонимических словообразовательных типов (примеры приводились выше), связанная с интенсивными процессами лексических новообразований в период формирования письменного языка, словарные омонимы и их устранение и т. п.

Менее разработаны в словаре вопросы семантической теории: дифференциации и развития значений слов. Составители, как и большинство зарубежных лексикографов, следуют здесь традиции, недостаточно четко различая значение и употребление, многозначность слова и развившуюся на ее основе семантическую омонимию.

«Древневерхненемецкий словарь», издаваемый учеными Германской Демократической Республики, представляет значительный интерес не только для специалистов по германскому языкознанию. По своей высокой научной технике он заслуживает также внимания лексикографов, работающих над словарями русского языка (и языков других народов Советского Союза), в особенности в связи с очередными задачами подготовки академического словаря древнерусского письменного языка.

В. М. Жирмунский

Johannes Friedrich. **Entzifferung verschollener Schriften und Sprachen.**— Berlin — Göttingen—Heidelberg, Springer-Verlag, 1954. VI+147 стр., с илл. и картой.

Уже более полутора веков ученые занимаются дешифровкой забытых письменностей и исчезнувших языков древнего мира и в особенности Древнего Востока. В этой области делались и делаются открытия, которые волнуют не одних только филологов и историков.

Существует немало книг, в том числе и научно-популярных, полностью или частично посвященных раскрытию той или иной письменности. Однако работы, охватывающей историю всего проделанного в области дешифровки древних письменностей и языков, до сих пор не было. Книга И. Фридриха представляет собой первый труд такого рода. Она написана исследователем, сделавшим немалый вклад в изучение древних языков и письменностей Передней Азии.

И. Фридрих уже давно уделяет внимание не только практике, но также истории и методике дешифровки[1]. В рассматриваемой работе он задался целью осветить эти вопросы в краткой и общедоступной форме. Автору вполне удался его замысел: небольшая по объему книга несомненно должна быть понятна и интересна самому широкому читателю. Для специалистов она также представляет немалую ценность: ведь не каждому удается пристально следить за дешифровкой разнообразных письменностей и интерпретацией фиксированных ими языков, так как работы на эту тему публикуются в самых различных периодических изданиях. Здесь же все материалы собраны воедино — и не компилятором, а ученым, известным широкой осведомленностью, глубоким знанием ряда языков Древнего Востока, осторожностью и осмотрительностью своих суждений.

Книга содержит четыре раздела: I. «Важнейшие дешифровки письменностей и языков Древнего Востока». II. «Другие дешифровки и интерпретации письменностей и языков древнего мира». III. «О методике раскрытия забытых письменностей и языков». IV. «Несколько примеров недешифрованных письменностей».

Разделы, кроме третьего, разбиты на главы. В первом разделе имеются главы: 1) «Египетские иероглифы», 2) «Клинопись», 3) «Хеттская иероглифическая письменность». Во втором разделе: 1) «Дальнейшая дешифровка неизвестных письменностей и языков», 2) «Дальнейшая дешифровка неизвестных письменностей», 3) «Дальнейшая интерпретация неизвестных языков». В четвертом разделе: 1) «Синайская письменность»[2], 2) «Крито-микенская письменность», 3) «Карийская письменность», 4) «Протоиндийская письменность».

Главы, в свою очередь, разделены на параграфы. Так, например, глава «Клинопись» содержит как параграфы, посвященные характеристике аккадской клинописи и описанию ее дешифровки, так и параграфы, в которых идет речь о дешифровке алфавитных систем письма, возникших на клинописной основе. Кроме того, здесь рассматривается процесс интерпретации языков, написанных клинописью — прежде всего шумерского, носителями которого и была создана клинопись, затем хеттского (несит-ского) и других языков древней Малой Азии, а также хурритского, урартского и древнеэламского.

В отдельных параграфах глав второго раздела рассказывается, какими путями идет дешифровка сидетской, нумидийской, кипрской и протобиблской письменности и как осуществляется интерпретация ликийского и лидийского языка, а также ряда языков древней Италии — этрусского, венетского, мессапского и др.

Главы, посвященные египетским иероглифам и клинописи, содержат, кроме того, очень сжатые обзоры древней истории Египта и Месопотамии и заметки по истории хурритов и хеттов. В остальных случаях автор ограничивается лишь кратким указанием на то, где, когда и каким народом созданы письменные памятники, о которых идет речь.

Мне кажется, что эти экскурсы нарушают последовательность изложения вопросов дешифровки и интерпретации. В то же время они недостаточны, чтобы дать широкому читателю необходимую историческую ориентировку. Именно об истории Египта и Месопотамии у читателя еще со школьных лет могут сохраниться некоторые представления, в книге же И. Фридриха он сталкивается также с письменностями и языками целого ряда других народов древности, сведениями о которых читатель не располагает.

[1] Ср.: J. Friedrich, Hethitisch und kleinasiatische Sprachen, Berlin und Leipzig, 1931; его же, Kleinasiatische Sprachdenkmäler, Berlin, 1932; его же, Schriftgeschichtliche Betrachtungen, «Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft», Bd. 91, Heft 2, Leipzig, 1937; его же, Entzifferungsgeschichte der hethitischen Hieroglyphenschrift, Stuttgart, 1939; его же, Schriftsysteme und Schrifterfindungen im Alten Orient und bei modernen Naturvölkern, «Archiv Orientální», vol. XIX, № 1—2, Praha, 1951 и др.

[2] Синайское письмо, которое некоторые ученые уже считают дешифрованным, справедливо отнесено И. Фридрихом к числу пока еще не дешифрованных письменностей.

Пожалуй, было бы лучше, если бы автор выделил вопросы истории в небольшое специальное введение и здесь бы рассказал о том, где и когда жили те народы, раскрытию языков и письменностей которых посвящена книга; к какому времени относится расцвет и упадок их государства; какие наиболее интересные памятники их культуры дошли до нас; что мы знаем о политических связях этих народов между собой, а также о взаимодействии их культур (в той мере, в которой это важно, чтобы показать преемственность таких графических систем, как, например, клинопись) и т. д.

«Предисловие» к книге очень удачно вводит читателя в круг вопросов, о которых пойдет речь, и вызывает живой интерес к открытиям, сделавшим забытые письменные памятники достоянием современной языковедческой и исторической науки. И в композиционном отношении книга сделана очень хорошо: правильно и то, что сначала речь идет о классических письменностях Древнего Востока — египетской иероглифике и клинописи, и то, что вопросы методики обсуждаются после описания дешифровки и интерпретации письменных памятников, и, наконец, то, что автор прежде разъясняет систему каждой письменности, показывает пути ее развития и разные ее виды, приводит и разбирает иллюстративный материал (примеры графики и языковые примеры) и только затем переходит к описанию самого хода дешифровки и интерпретации. Таким порядком изложения одновременно достигается насыщенность фактическим материалом, краткость и понятность.

Вообще остается только удивляться тому, как И. Фридрих сумел на каких-нибудь полутораста страницах маленькой по формату книжечки не только в основном исчерпать такую обширную тему, но и проиллюстрировать ее языковыми примерами в автографии и в транскрипции, рисунками, схемами и фотографиями письменных памятников, а также снабдить картой, краткой библиографией и предметным указателем.

Думается, что книга выиграла бы еще больше, если бы наблюдения автора над древними письменными системами были обобщены в небольшом заключении. Здесь очень полезно было бы показать, что при всем разнообразии конкретного графического проявления древние письменности могут быть сведены в несколько групп[1].

*

Рассматриваемая книга имеет также достоинство, которое будет отмечено каждым, кто более пристально интересуется кругом затронутых в ней вопросов. Это — продуманность всего того, что касается как методов дешифровки письменности, так и методов интерпретации языка. Все изложение опирается на стройную систему методических воззрений автора, готовящего читателя к осознанному восприятию этих воззрений, систематизации которых посвящен специальный раздел книги.

И. Фридрих различает три вида работы над памятниками забытых письменностей и соответственно три степени трудности (см. стр. 59, 86, 124). Первый вид: письменность известна, а язык неизвестен (например, неситский, или хеттский клинописный язык, хаттский, хурритский, древнеэламский, этрусский и др. языки) — необходима интерпретация языка (Deutung). Второй вид: язык известен, а письменность неизвестна (например, греческий язык Кипра) — необходима дешифровка письменности (Entzifferung). Третий вид: неизвестны как письменность, так и язык (например, египетская иероглифика, аккадская клинопись, хеттская иероглифика, угаритская алфавитная клинопись и т. п. и соответственно фиксируемые ими языки) — необходимо раскрытие того и другого (Erschließung)[2].

Разумеется, последний случай — наиболее трудный. И, конечно, И. Фридрих совершенно прав, когда говорит о том, что интерпретацию хеттского клинописного языка нельзя ставить на одну доску с дешифровкой египетских иероглифов или клинописи. Он также указывает, что после дешифровки аккадской клинописи интерпретаторы других, зафиксированных клинописью же языков, в частности хеттского клинописного, оказываются в особенно выгодных условиях, так как большое количество известных из аккадского идеограмм, детерминативов, а также гетерограмм[3] позволяет сразу

[1] См. об этом: БСЭ [2], т. 33, стр. 99—109.

[2] Автор неоднократно настаивает на строгой дифференциации понятий «дешифровка» и «интерпретация». Он указывает (стр. 59), что выражение «дешифровка» следует сохранить для восстановления понимания забытых письменностей; там же, где письменность ясна, а язык неизвестен, нужно избегать выражения «дешифровка» и говорить только об «интерпретации». И. Фридрих вводит, кроме того, выражение «раскрытие» (Erschließung), которым (на стр. 86) обозначена работа, охватывающая как дешифровку письменности, так и интерпретацию языка. К сожалению, на протяжении всей книги этот термин употребляется недостаточно последовательно (ср. стр. 59, 95, 123).

[3] Гетерограммы — это шумерские или аккадские слова с грамматическими показателями или же словосочетания, употребленные в качестве обозначения хеттских (неситских) слов. Гетерограммы применялись и в алфавитных письменностях, например в иранских письменностях на арамейской основе. И. Фридрих этот термин не употребляет.

выделить мужские и женские имена собственные, имена богов, этно- и топонимические названия, определенные группы понятий и т. д. Наличие идеограмм и гетерограмм, кроме того, дает возможность отчасти проникнуть в содержание текста и в ряде случаев различить окончания написанных идеографически имен существительных и глаголов и тем самым получить примерное предварительное представление о характере именной и глагольной флексии. Такого рода предпосылки представляют собой надежную опору для дальнейшего исследования.

Работа интерпретатора, имеющего дело с клинописью, лишенной или почти лишенной идеограмм и детерминативов, более трудна. Это касается вообще языков, фиксированных чисто слоговой или алфавитной письменностью. Конечно, интерпретация хаттского языка (письменность его — аккадская клинопись, но без идеограмм и почти без детерминативов) или, например, ликийского языка (алфавитное письмо, близкое греческому) шла бы гораздо успешнее, если бы могла опираться на идеограммы и детерминативы.

В свете дифференциации задач, возникающих при работе над памятниками неизвестных письменностей и языков, И. Фридрих характеризует в своей книге те трудности, с которыми приходится сталкиваться в каждом конкретном случае интерпретации, дешифровки или раскрытия этих памятников. Соответственно он оценивает, а иногда и заново переоценивает заслуги отдельных ученых в этой области.

Интересны также замечания И. Фридриха о разнице между дешифровщиком и интерпретатором по самому существу их подхода к материалу: «Дешифровщик, который гениально шагает через сомнения и трудности, и филолог, который, осторожно взвешивая, обобщает результаты наблюдений в общие правила, коренным образом отличаются друг от друга и их нельзя смешивать» (стр. 23). Не случайно первые удачные дешифровки как египетской иероглифики, так и персидской клинописи отделены от серьезных успехов их интерпретации периодом чуть ли не свыше тридцати лет (см. стр. 23—24 и 46—49).

Интерпретация и дешифровка должны — на этом особенно настаивает И. Фридрих — осуществляться комбинаторно, т. е. посредством логических умозаключений, имеющих опору в самом письменном памятнике. Автор подчеркивает, что «из ничего нельзя ничего дешифровать. Если не за что ухватиться, если опора пока еще не найдена, то остается лишь простор для беспочвенных фантазий дилетантов, а серьезные результаты получены быть не могут» (стр. 123—124).

Комбинаторный метод интерпретации основывается на наблюдениях над самим текстом. Он противопоставляется этимологическому методу. Последний основан на стремлении добиться понимания неизвестного языка путем его сопоставления с языком известным (стр. 115). Этимологические сопоставления опираются на звуковое сходство или звуковое совпадение слов сравниваемых языков. Подобные сопоставления допустимы только в тех случаях, когда есть основания предполагать близкое родство между неизвестным языком и тем языком, через посредство которого его пытаются интерпретировать, а также если есть возможность проследить закономерные звуковые соответствия между сравниваемыми языками. Этимологическим методом успешно пользовались, например, при интерпретации древнеперсидского языка, который оказался близко родственным авестийскому языку и санскриту, а также аккадского и угаритского языков, близко родственных древнееврейскому и арабскому. Однако попытка воспользоваться этим методом для интерпретации хеттского клинописного языка привела к многочисленным ошибкам (см. стр. 63) и показала, что указанный метод можно применять с очень большой осторожностью, постоянно проверяя полученные результаты путем комбинаторных наблюдений.

Между тем злоупотребление этимологическим методом чрезвычайно распространено. Особенно грешат произвольными сопоставлениями многие исследования этрусского, баскского и некоторых других языков, а зачастую также работы по топонимике и этногенезу, в том числе и наши, советские.

И. Фридрих предупреждает, что и при дешифровке письменности строгое соблюдение комбинаторной методики не менее существенно, чем при интерпретации языка. Подобно тому как недопустимо безоговорочное отождествление одинаково или сходно звучащих слов разных языков, так же недопустимо и отождествление сходно или одинаково выглядящих знаков разных письменностей. Принципиальная ошибка Б. Грозного в его опытах дешифровки крито-микенской и протоиндийской письменностей состояла как раз в пренебрежении к методической стороне дела и в привлечении для чтения этих письменностей внешне сходных знаков из самых разнообразных графических систем — хеттской иероглифической, южноарабской и др. Поэтому чтения отдельных знаков, а также имен богов и различных топонимических названий, установленных Б. Грозным на основе чисто внешних графических сопоставлений, разумеется, не выдерживают критики. То же самое следует сказать и об опирающихся на эти чтения более общих его построениях, таких, например, как выводы о родстве древнейшего населения Индии с «иероглифическими хеттами».

Напоминая о том, что для раскрытия любой неизвестной письменности или неизвестного языка необходима какая-либо опорная точка в самом тексте, И. Фридрих ука-

зывает, что прежде чем приступить к дешифровке, необходимо предварительно выяснить ряд основополагающих моментов: направление письма, наличие или отсутствие словоразделения, характер системы письменности и т. д. Количество различных письменных знаков большей частью позволяет определить, является ли письмо буквенным, чисто слоговым или словесным, либо представляет собой смешение слогового письма с буквенным или словесного со слоговым. По сравнению со словесной и словесно-слоговой письменностью чисто слоговая письменность и тем более алфавитная легче поддаются дешифровке, так как чем меньше знаков, тем меньше выбор их возможных значений. Зато, как говорилось выше, словесно-слоговое письмо представляет известные преимущества для интерпретации, тогда как слоговое и буквенное письмо ничем не облегчают труда интерпретатора.

Наличие двуязычных надписей ставит дешифровку в наиболее выгодные условия. Так, например, надпись на Розеттском камне позволила отождествить некоторые египетские имена собственные с греческими, что послужило опорой для дальнейших комбинаторных исследований египетской иероглифики.

Дешифровка неизвестной письменности при отсутствии билингвы очень трудна и в ряде случаев кажется невозможной. Неудача, постигшая ученых при дешифровке ряда письменностей, вызвана отсутствием билингв или каких-либо других вспомогательных средств или предпосылок. Однако возможность дешифровки письменности и при отсутствии двуязычной надписи доказана на опыте удавшейся дешифровки древнеперсидской клинописи и хеттских иероглифов.

При дешифровке персидской клинописи Гротефенд опирался на предположения о наличии в ней словоразделителя и о буквенном характере письменности (последнее, впрочем, не совсем точно). Он также предположил, что надписи должны принадлежать царям династии Ахеменидов, что начинаются они с царской титулатуры и что наиболее часто встречающееся в начале надписей сочетание знаков обозначает слово *царь*; далее имена царей, отец одного из которых не был царем, Гротефенд остроумно сопоставил с именами царей династии Ахеменидов, известными по Геродоту, и таким образом получил первые чтения персидских клинописных знаков.

Чтение хеттских иероглифов также было установлено путем различных комбинаторных сопоставлений, потребовавших от исследователей большой проницательности, находчивости и остроумия.

Первоначально, по изображению указывающего на себя человека, с которого начинаются надписи, по незаполненной части строк в конце некоторых надписей, а также по изменению поворота письменных знаков, представляющих собой рисунки, было установлено направление письма. Оказалось, что оно меняется от строки к строке (так называемое письмо «бустрофедон»).

Далее был выявлен словоразделитель и было подмечено, что часть знаков вырисована более тщательно и детально, другие же, встречающиеся чаще, проще по начертанию и зачастую написаны курсивно. Возникло предположение, что знаки первого рода идеографические, а знаки второго рода — слоговые.

Идеографические знаки в некоторых случаях могли быть поняты непосредственно, как рисунки. Главную трудность представляло собой установление чтения слоговых знаков.

В результате анализа оттисков печатей удалось установить, что три постоянно повторяющиеся в них знака обозначают соответственно «царь», «страна» и «город», причем пишутся они соответственно после имени царя, названия страны или города.

Древние названия мест, где найдены печати и надписи, были известны из клинописных источников. Это позволило предположительно отождествить некоторые группы иероглифических знаков, имеющих детерминатив «страна» или «город», с определенными топонимическими названиями. Исследование написания названий с повторяющимися одинаковыми слогами (например, ***Гургума***, ***Туванува***) и названий, в состав которых входят одинаковые слоги (например, ***Амату*** и ***Туванува***, ***Амату*** и ***Гургума***), подтвердило правильность предварительных отождествлений и позволило установить ряд слоговых значений хеттских иероглифов.

Некоторые имена царей северносирийских городов, также известные по данным клинописи, удалось отождествить с царскими именами, встречающимися в хеттских иероглифических надписях, датированных по археологическим данным. Так были прочитаны имена Муватали из Гургума, Ур[а]хилина из Амату и др., что позволило выяснить еще несколько значений хеттских иероглифических слоговых знаков. На эти первые чтения опирались дальнейшие работы по комбинаторной дешифровке хеттской иероглифики.

Двуязычная надпись из Каратепе, содержащая, наряду с финикийским, хеттский иероглифический текст, была найдена уже тогда, когда дешифровка хеттских иероглифов была в основном завершена. Эта билингва подтвердила правильность чтений, полученных комбинаторным методом.

Таким образом, как справедливо отмечает И. Фридрих, в принципе можно считать, что любая неизвестная письменность рано или поздно будет разгадана. Если же это до сих пор не удалось сделать, то лишь потому, что еще не найдена опора, необходимая

для комбинаторных сопоставлений. Такой оптимистический взгляд на перспективы дешифровки уже нашел свое подтверждение: Вентрис и Чадвик, работающие над крито-микенскими надписями, достигли настолько значительных успехов, что крито-микенское линейное письмо *B* можно считать в основном прочитанным (язык текстов оказался греческим, и они в общем понятны).

В книге И. Фридриха имеются и некоторые мелкие погрешности и опечатки. На стр. 28: вместо Саргон I следует читать просто Саргон, или Саргон Аккадский (Саргон I — ассирийский царь); там же: то, что сказано о Гудеа, нужно отнести к царям III династии Ура; там же: находка стелы с законами Хаммурапи должна быть датирована 1901 годом, а не 1903 (в 1902 г. эти законы уже были прочитаны Шейлем и опубликованы); на стр. 33: устаревшее чтение ^{d}*šar-ga-ni-šar-alim* надо заменить чтением *dšar-kà-li-šàr-rí*; на стр. 60: после идеограммы LÚ. ULÙ^{LU} пропущено окончание *-an*, о котором идет речь на стр. 61; на стр. 64: следует читать *aš-ka-aḫ-ḫi-ir* (*šir* — опечатка; должно быть *ir*).

К сожалению, слишком кратким получилось у И. Фридриха описание интерпретации урартского языка. Автор не отметил здесь ни собственных заслуг, ни вклада советских ученых. Напрасно также в параграфе, посвященном хурритскому языку, обойдены имена Гетце и Шпайзера[1].

Хорошо было бы также расширить библиографию. В настоящем своем объеме она может оказаться недостаточной для того, кто всерьез заинтересуется прочитанным материалом и захочет получить более обширные и детальные сведения. Между тем все, что связано с дешифровкой и интерпретацией, само по себе очень интересно, а в отличном изложении И. Фридриха может вызвать у читателя желание углубиться в эту область.

В заключение нельзя не сказать, что, как справедливо отметил автор одной из рецензий, книга И. Фридриха представляет собой именно такую научно-популярную книгу, какую специалисты бывают рады видеть в руках широкого читателя. Поэтому хочется пожелать, чтобы она была возможно скорее переведена на русский язык.

И. М. Дунаевская

H. Sten. **Les temps du verbe fini (indicatif) en français moderne.** («Historisk-filologiske Meddelelser af det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab», bd. 33, № 3).— København, 1952, 264 стр.

Среди работ, посвященных описанию временно́й системы современного французского языка, книга датского романиста Х. Стэна заслуживает особого внимания как с практической, так и с теоретической точки зрения. В отличие от облегченных, сугубо утилитарных пособий типа книги Сансина «Употребление времен во французском языке»[2], работа Стэна дает наиболее полное представление о функционировании временны́х форм индикатива, куда автор относит также формы conditionnel. Большой фактический материал укладывается в 12 главах, посвященных отдельным временным формам (в том числе сверхсложным) и перифразам с глаголами *aller* и *venir de*.

По форме это очень удачное описание, своего рода коллекция, где собраны как наблюдения самого автора над языком новейшей французской прозы, так и отдельные примеры, разбросанные в работах других языковедов, в первую очередь — французских.

В своем изложении Стэн исходит из того реального факта, что грамматическое время (tense) не совпадает с time, т. е. со временем, исчисляемым от момента речи говорящего. Для обозначения времени действия соотносительно с моментом своей речи говорящий использует не столько глагольные формы, сколько «слова вроде *hier*, *bientôt*, указания на дату и т. д. Как раз благодаря разного рода обстоятельственным словам возможна крайняя беззаботность в соблюдении соответствия между tense и time» (стр. 7).

---

[1] Что касается адресованных И. Фридриху упреков в том, что он не раскрывает полифонического характера аккадских клинописных знаков (см. Н. Jensen—«Orientalistische Literaturzeitung», Berlin, 1955, № 7) или, наоборот, преувеличивает их полифонический характер [см. Н. Paper — «Language», vol. 31, № 1 (part 1), 1955], то они кажутся мне необоснованными: на стр. 38 вполне понятно и точно разъяснено, что знаки аккадской клинописи могут иметь по нескольку идеографических и слоговых чтений, и приведены соответствующие примеры.

[2] H. Sensine, L'emploi des temps en français, Paris, 1935.

В своей рецензии на указанную книгу Р. Л. Вагнер к числу ее достоинств относит положение Стэна, согласно которому «временное значение чаще вытекает из столкновения лексического значения глагольного слова и вспомогательных средств [mots repères (*depuis, avant que* etc)] с глагольной формой, нежели из глагольной формы самой по себе»[1]. Благодаря этому положению автор не связан обычной схемой, в соответствии с которой составители учебников a priori зачисляют ту или иную форму в «прошедшие» или «настоящие» времена, так что дальнейшие усилия неминуемо оказываются направленными на перечисление многочисленных «исключений». Все это позволяет Стэну смелее указывать на так называемые «несобственные значения» форм: например, présent и futur очень часто употребляются для обозначения фактов прошлого [*Quand le virtuose s e r e n d en Russie, c'est sur la recommandation de Balzac. Imprudence dont Balzac s e r e p e n t i r a* (стр. 62)]; passé composé и imparfait, наоборот, могут указывать на действия в «будущем» [*Tu me casses les oreilles.— J'ai b i e n t ô t f i n i* (стр. 190); *L'enterrement a v a i t l i e u duns une heure* (стр. 136)].

Книга Стэна неоднократно заставляет читателя усомниться в правильности многих традиционных представлений. После ознакомления с фразой из Валери *s i t u s e r a s é t e r n e l, tu seras donc mortel* (стр. 67)—запрещение futur после *si* не выглядит уже таким категорическим.

Во многом соглашаясь с традиционными правилами «согласования времен», автор считает, однако, своим долгом указать на многочисленные примеры, где эти правила игнорируются. Тем самым подвергается сомнению синтаксический критерий установления значения времени, сформулированный в книге Дамурета и Пишона [2], и косвенно подкрепляется известное утверждение Ф. Брюно о том, что «согласование времен» можно изложить в одной строчке: такового нет.

Различные особенности контекста, окружающего глагольную форму, становятся у Стэна своеобразным опытным полем, в котором форма выявляет свои возможности. Автор учитывает при этом союзы, порядок следования глаголов, совместное употребление форм, синтаксис и, наконец, своеобразие содержания глагола. Автор не ограничивается теми случаями, где форма выступает только как средство обозначения времени. Большое место уделяется особым случаям стилистического и модального употребления временных форм. Сюда относятся, например, futur d'ordre [*T u t i r e r a s sur les avions* (стр. 57)], futur de supposition [*i l a u r a encore sa migraine* (стр. 61)], futur и imparfait de discrétion [*Je n e t e c a c h e r a i p a s que...* (стр. 61). *Je v o u l a i s vous demander, ... mais je ne sais comment le dire* (стр. 169)]; imparfait modal [*s'il venait ici, s'il était ici demain* (стр. 137)] и т. д.

Большое внимание автор уделяет тончайшим оттенкам значения, разного рода «курьезам» и «исключениям из правил» в употреблении временных форм. Случаи вроде *C'est Pitteaux qui vous e n v o i e... Oui, c'est Pitteaux qui m'a e n v o y é* (стр. 31); *J e n e m e t u e r a i plus* (стр. 60); *Secours aux n o y é s* (стр. 25) и т. п. встречаются очень редко и обычно остаются незамеченными. Снабженные в книге Стэна поясняющими комментариями, они обогащают представление читателя об употреблении глагольных форм, заставляют задуматься над их интерпретацией.

Толкование семантических связей между различными контекстными «эффектами» какой-либо формы в книге Стэна нельзя признать строго обоснованным, однако автору совершенно чуждо тенденциозное описание фактов. Во всем этом нельзя не видеть положительного момента концепции автора. Книга Стэна гораздо богаче материалом, чем, например, соответствующие главы «Мысли и языка» Ф. Брюно[3], где разнообразные случаи употребления форм времени рассматриваются только с точки зрения потребности «мысли» выразить отношение действия к моменту речи. Преимущество книги Стэна заключается в подробном анализе всех аспектов употребления каждой формы времени.

Однако различие между книгой Стэна и соответствующими главами книги Ф. Брюно является скорее практическим, чем теоретическим. Теоретически, т. е. в плане установления собственной природы глагольной формы времени, книга Стэна находится в общем русле работ, отправляющихся от потребности говорящего обозначать время действия соотносительно с моментом речи и стремящихся анализировать грамматические формы времени в совокупности с неизбежным при этом контекстом [который именуется у Ф. Брюно «внешними средствами» («moyens extrinsèques»), а у Бюффэна— «диссоциированными формами» («formes dissociées»)] [4].

---

[1] См. R. L. W a g n e r, [Рец. на кн.:] H. S t e n, Les temps du verbe fini (indicatif) en français moderne, Copenhague, 1952, «Bull. de la Société de linguistique de Paris», 1952, t. 48, fasc. 2, (№ 137), стр. 61.

[2] J. D a m o u r e t t e et E. P i c h o n, Essai de grammaire de la langue française, vol. V, Paris, 1911—1936.

[3] F. B r u n o t, La pensée et la langue, Paris, 1922.

[4] См. J. M. B u f f i n, Remarques sur les moyens d'expression de la durée et du temps en français, Paris, 1925.

Такой подход к проблеме вполне правомерен. Это, с одной стороны, побуждает изучать формирование понятия о времени[1] и длительности, а с другой стороны, позволяет ставить вопрос о сферах языкового общения, характеризующихся разным использованием системы времен[2]. Одно из возражений против подобного подхода заключается в том, что грамматические формы времени принижаются в этом случае до уровня прочих, окказиональных контекстных средств, перестают быть главным объектом исследования, и тем самым вопрос об их собственном грамматическом значении фактически снимается.

Стэн, как уже упоминалось, не претендует на постановку вопроса о собственных грамматических значениях временных форм. Заслуга автора состоит в том, что, исследуя обширный материал, он подробно раскрывает содержание таких семантических «категорий», как, например, présent scénique, présent и imparfait inclusifs, устанавливает сходство смысловых оттенков у présent, futur, imparfait и указывает на причины возникновения некоторых из них, как, например, оттенка «попытки» (Praesens, Futurum и Imperfectum de conatu): [*Il se pâme, Il rend l'âme, Il réclame un abbé* (стр. 26); *Je ne me tuerai plus* (стр. 60); *Il se noyait* (стр. 25)]. Объясняя это явление, Стэн использует распространенное в литературе деление глаголов на «перфективные» и «неперфективные». Возражение при этом вызывает не сам факт «взаимодействия» между формой времени и характером обозначаемого глаголом действия, а его истолкование. Многочисленные оговорки относительно условности деления глаголов на «перфективные» и «неперфективные» и частые ссылки на контекст заставляют предполагать, что Стэн имеет в виду не лексическое значение глагола, а те отдельные действия и состояния, которые глагол обозначает в контексте [ср.: *jouer au bridge* «играть в бридж» — неперфективное действие, но *jouer un tour* «сыграть шутку» — перфективное действие (см. стр. 9)]. Безразличность, с которой Стэн употребляет выражения «значение глагола» и «действие глагола», укрепляет в этом предположении. В данном случае, как и в некоторых других, ценность представляют не столько комментарии автора, сколько приведенные им любопытные факты, которые еще ждут своего истолкования.

Книга Стэна не претендует на разрешение проблемы значения грамматического времени. Тем не менее содержащийся в ней обширный языковой материал, при объективности его описания, является существенным вкладом в разрешение этой проблемы.

Ю. С. Мартемьянов

---

[1] См., например, E. Koschmieder, Zeitbezug und Sprache. Ein Beitrag zur Aspekt- und Tempusfrage («Wissenschaftliche Grundfragen», XI), Leipzig und Berlin, 1929.

[2] См.: J. M. Buffin, указ. соч.; F. Strohmeyer, Das Passé simple und das Passè composé im modernen Französischen, «Die Neueren Sprachen», N. F., Frankfurt a. M.—Berlin — Bonn, 1953, Heft 11.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ЗАСЕДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КОМИТЕТА СЛАВИСТОВ В МОСКВЕ

С 17 по 22 мая 1956 г. в Москве происходило Первое заседание Международного комитета славистов, созданного по решению состоявшегося в прошлом году в Белграде Международного совещания славистов.

Международный комитет славистов, избранный из числа участников Белградского совещания, принял на себя обязательства по координации работ, связанных со славяноведением, и по укреплению международных связей славистов всех стран. В Белграде же было установлено, что председателем Международного комитета славистов будет советский делегат акад. В. В. Виноградов и что следующий (IV) Международный съезд славистов состоится в Москве в 1958 г. Были также сформулированы основные проблемы славянской филологии, которые должны быть рассмотрены на предстоящем съезде[1]. Задачу дальнейшей, более детальной разработки этой проблематики и должно было разрешить Первое заседание Международного комитета славистов.

На заседание в Москву прибыли члены комитета — профессора А. Белич (Югославия), Б. Гавранек (Чехословакия), В. Георгиев (Болгария), Т. Лер-Сплавинский (Польша), А. Мазон (Франция), Э. Петрович (Румыния), А. Стендер-Петерсен (Дания), М. Фасмер (ФРГ), Э. Хилл (Великобритания), Р. Якобсон (США); заместители членов комитета — профессора Г. Гуннарсон (Швеция), И. Книежа (Венгрия), Э. Ло Гатто (Италия), Р. Ягодич (Австрия). Таким образом, на заседании присутствовали ученые из всех стран, представленных, наряду с СССР, в Международном комитете славистов.

Заседания, длившиеся с перерывами четыре дня (17, 18, 21 и 22 мая), были открытыми. На заседаниях присутствовали члены Советского комитета славистов, учрежденного постановлением Президиума АН СССР в январе 1956 г. (в составе: акад. В. В. Виноградов — председатель, доктор филол. наук В. И. Борковский — заместитель, члены-корр. АН СССР М. П. Алексеев, Л. А. Булаховский и Д. С. Лихачев, действ. член АН БССР К. К. Атрахович, доктора истор. наук П. Н. Третьяков и В. И. Чичеров, доктора филол. наук С. Б. Бернштейн, И. К. Белодед и Т. П. Ломтев, кандидаты филол. наук В. К. Зайцев и Н. И. Толстой — секретари), а также советские ученые-слависты из Москвы, Ленинграда, Киева и других городов.

Открывая первое заседание, акад. В. В. Виноградов сердечно приветствовал зарубежных славистов и поблагодарил их за внимание и активность, с которой они откликнулись на приглашение прибыть в Москву и заняться вопросами организации будущего съезда. В. В. Виноградов напомнил, что нашему отечественному славяноведению всегда было присуще стремление работать в тесном контакте со славяноведами других, в первую очередь славянских, стран. Он указал на такое начинание, как «Энциклопедия славянской филологии», и привел из ее первого (по времени) выпуска слова В. Ягича о необходимости научной солидарности в противовес «большой разрозненности, проистекающей отчасти от взаимного незнакомства... отчасти от натянутости в сношениях, проникающей даже в область науки». Нынешнее стремление всех народов к мирному культурному сообществу, отметил далее В. В. Виноградов, усиливает тягу ученых к взаимному дружескому сотрудничеству в области славяноведения. Основными задачами Московского заседания поэтому следует считать выяснение возможности мобилизации широкой научной общественности разных стран при подготовке съезда, выяснение вопросов организации и структуры съезда, уточнение его тематики.

В основу дискуссии был положен проект тематики, подготовленный и предложенный Советским комитетом славистов[2]. Проект был подвергнут всестороннему обсуж-

[1] См. Ю. С. Маслов, Международное совещание славяноведов в Белграде, ВЯ, 1956, № 1, стр. 157.

[2] См. «Материалы для заседания Международного комитета славистов в Москве 17—22 мая 1956 г.», М., 1956, стр. 9—12.

дению — в него были внесены значительные поправки и дополнения; тем не менее основные положения проекта, ставящего перед собой задачу — придать конгрессу целенаправленный характер, избежать излишней разноплановости поставленных вопросов и проблем, были приняты всеми участниками заседания. В проект не вошли общие проблемы славянской истории, этнографии, искусствознания и т. п.; все вопросы, связанные с указанными дисциплинами, подчинены прежде всего проблемам филологическим. Измененный в результате обсуждения проект тематики съезда предусматривает также известную конкретизацию и ограничение тематики в области филологической науки. Так, например, литературоведы решили отказаться от персоналий, поставив лишь общие темы в связи с развитием отдельных литературных направлений и литературных связей. Языковеды исключили ряд частных тем по грамматике отдельных славянских языков, сконцентрировав все внимание на сравнительной грамматике, лексикологии, сравнительной истории славянских литературных языков и лингвистической географии.

Согласно новому, принятому Международным комитетом славистов проекту, съезд будет разделяться на две секции — лингвистическую и литературоведческую. Лингвистическая секция объединяет подсекции: 1) славянских литературных языков, их истории и взаимодействия; 2) исторической и сравнительной грамматики и лексикологии славянских языков; 3) исторической диалектологии и лингвистической географии славянских языков; 4) происхождения славянских языков и народов, топонимики и ономастики; 5) связи и взаимодействия славянских языков с языками других народов. Литературоведческая секция также будет иметь пять подсекций.

Принятые на заседании лингвистические темы распределяются по подсекциям примерно следующим образом:

Славянские литературные языки, их история и взаимодействие.

1. Специфические задачи сравнительно-исторического изучения славянских литературных языков.
2. Соотношение и взаимодействие современных славянских литературных языков.
3. Роль церковнославянского языка как международного культурного (литературного) языка славянства.
4. Роль церковнославянского языка в истории формирования и развития разных славянских литературных языков.
5. Культурно-исторические условия и общественные функции двуязычия в истории славянских литературных языков.
6. О народно-диалектной базе славянских литературных языков.
7. Об общих закономерностях развития славянских литературных языков в ранний период их истории.
8. О диалектных вариантах разных славянских литературных языков в ранний период их истории.
9. Становление и развитие общенародных разговорных славянских языков в связи с развитием литературных языков.
10. Исторические перемещения славянских центров лексико-фразеологических влияний в истории славянских литературных языков.
11. Роль национальной художественной литературы в истории развития разных славянских литературных языков.
12. Влияние латинского и греческого языков на развитие синтаксического строя славянских литературных языков.
13. Пуристические тенденции в истории славянских литературных языков и влияние научных теорий на их развитие.
14. Славянские литературные языки Валахии и Молдавии (XIV — XVIII вв.).
15. Вопрос о международной славянской грамматической терминологии в ее современном состоянии и историческом развитии.
16. Принципы изучения языка писателей (на материале славянских художественных литератур).

Историческая и сравнительная грамматика и лексикология славянских языков.

1. Классификация славянских языков.
2. Основные задачи и проблемы типологии славянских языков.
3. Проблемы славянской акцентологии.
4. Фонологическая система праславянского языка и ее развитие.
5. Основные типы деривации славянских глагольных и именных основ.
6. Общие явления в историческом развитии числительных в славянских языках.
7. Закономерности образования новых предлогов в славянских языках.
8. Основные методы изучения и проблемы праславянского синтаксиса.
9. Развитие типов предикации в разных славянских языках.
10. Порядок слов и смежные явления в славянских языках.
11. Значение диалектных данных для построения исторического синтаксиса отдельных славянских языков.
12. Проблемы сравнительной лексикологии славянских языков.
13. Принципы построения этимологических словарей славянских языков.

14. Принципы составления двуязычных дифференциальных словарей славянских языков.

15. Проблемы изучения славянских элементов в неславянских языках.

Историческая диалектология и лингвистическая география славянских языков.

1. Славянский лингвистический атлас. Задачи атласа, его отношение к системам отдельных славянских языков. Принципы отбора материала.

2. Принципы составления программы-вопросника для славянских лингвистических атласов.

3. Теоретические основы «Атласа русских говоров».

4. Сравнительно-историческое изучение славянских языков и диалектов на основе лингвистической географии.

5. Принципы монографического описания отдельных славянских диалектов.

Происхождение славянских языков и народов, топонимика и ономастика.

1. Происхождение и развитие славянской языковой группы.

2. Состав и расселение славянских племен в свете лингвистических, археологических и этнографических данных.

3. Славянская топонимика неславянских стран.

4. Современное состояние вопроса о балто-славянских языковых и этнических отношениях.

Перечисленные темы были выработаны в результате оживленной и плодотворной дискуссии, в которой особенно деятельное участие, кроме председательствующего акад. В. В. Виноградова, приняли профессора А. Белич, Р. Якобсон, Б. Гавранек, Т. Лер-Сплавинский и др. Проф. А. Белич выступил за объединение ряда более мелких тем в широкие проблемы, признавая, однако, возможность постановки докладов и по относительно частным вопросам; в том же плане высказался и проф. Б. Гавранек. Так возникла проблема «Фонологическая система праславянского языка и ее развитие», объединившая первоначально предложенные темы о категории твердости и мягкости славянских согласных, о структуре слога, чередовании согласных и истории корреляции фонем в праславянском языке. Точно так же тема «Роль чехизмов в истории развития славянского состава польского литературного языка» была включена в тему «Соотношение и взаимодействие славянских литературных языков», а тема «О народно-диалектной базе польского литературного языка» расширена и превращена в более общую — «О народно-диалектной базе славянских литературных языков». Спорной оказалась тема о принципах составления двуязычных дифференциальных словарей славянских языков. Против внесения её в тематику съезда выступил проф. М. Фасмер, считая этот вопрос скорее практическим, чем строго научным. Ему возражал Б. Гавранек, указывая на то, что в Чехословакии и в ряде других стран эта тема включена в планы научных институтов. Проф. Т. Лер-Сплавинский и проф. В. Георгиев предложили свести ряд тем к формулировке «Проблема сравнительной лексикологии славянских языков». Также в общем плане поставлен вопрос о синтаксисе (по предложению проф. А. Белича и проф. Т. Лер-Сплавинского).

Единодушную поддержку встретили предложения проф. Э. Петровича о постановке проблемы «Значение славянских элементов в неславянских языках», проф. Н. Кнежа — «Славянская топонимика неславянских стран» и проф. Т. Лер-Сплавинского — «Происхождение и развитие славянской языковой группы». Были также включены темы об изучении языка писателей (предложение проф. Э. Хилл), о становлении общенародных языков, о монографическом описании диалектов (проф. Б. Гавранек) и по сравнительной грамматике — о порядке слов (проф. Р. Якобсон), о типах деривации основ, об образовании новых предлогов (проф. А. Белич), о типах предикации в славянских языках (проф. Б. Гавранек). Остальные темы были приняты, в основном, из предложенного Советским комитетом славистов проекта тематики.

Вниманию участников заседания был предложен также проект вопросов к IV съезду славистов. Советский комитет славистов предполагает издать перед съездом в течение 1957—1958 гг. ряд сборников по славянской филологии, принять участие в которых приглашаются ученые всех стран. Содержание статей в сборниках будет в общем соответствовать разработанной тематике. Один или два сборника будут отведены для кратких ответов (от 1000 до 5000 печатных знаков) на вопросы, подобно тому, как это было сделано перед III (несостоявшимся) конгрессом в Белграде в 1939 г.[1] Вопросы, подготовленные к IV съезду, близки к изложенной выше тематике, но отличаются большей конкретностью. Проект вопросника заключал 30 вопросов по языкознанию [2] и 40 по литературоведению.

Участники заседания внесли в проект некоторые изменения, и было решено, что

---

[1] См. «III Међународни конгрес слависта (словенских филолога) 18—25 IX 1939», Београд, [1939]: № 1 — «Збирка одговора на питања»; № 3 — «Одговори на питања... Допуне».

[2] См. «О некоторых актуальных задачах современного советского языкознания», ВЯ, 1956, № 4, стр. 11 и сл.

представители отдельных стран пришлют Советскому комитету славистов свои дополнительные примерные списки вопросов. Окончательный список должен быть установлен до следующего совещания в Праге в январе 1957 г., он будет разослан виднейшим славистам всех стран для получения ответов.

Наряду с лингвистической тематикой и вопросами обсуждались также литературоведческая и фольклорная тематика и вопросы, наконец, выяснялся целый ряд организационных моментов, связанных с дальнейшей деятельностью Международного комитета и подготовкой IV Международного съезда славистов.

В целях расширения и активизации деятельности Международного комитета славистов в его состав единогласным решением дополнительно были введены представители ряда стран, в которых славистика уже в достаточной мере развита: профессора Г. Г. Бильфельдт (ГДР), Ван Схонефельд (Голландия), Бакквист (Бельгия) и Э. Диккенман (Швейцария). Принято также решение о приглашении в состав комитета представителей стран, в которых славистика начинает развиваться — Китайской Народной Республики, Японии, Индии, Пакистана и Канады.

Решено также во всех странах, представленных в Международном комитете славистов, организовать в ближайшем будущем национальные комитеты славистов подобно тому, как это сделано в СССР. Национальные комитеты славистов будут проводить подготовку к съезду в пределах своей страны и выполнять те или иные обязательства, возлагаемые на отдельные страны Международным комитетом славистов. Национальные комитеты должны будут использовать все возможности для предварительного опубликования докладов, которые будут представлены на съезд учеными их стран.

Установлен срок проведения IV Международного съезда славистов — съезд будет созван в Москве в первой половине сентября 1958 г. и продлится не более 7—8 дней. Состав делегаций определяют национальные комитеты славистов. При Президиуме съезда будет создана комиссия по общим вопросам для разрешения задач, связанных с совместными публикациями, изданиями памятников, обменом информацией, библиографией и т. п. Во время съезда в Москве будет организована выставка трудов и изданий по славянской филологии, вышедших в разных странах за последние десять лет (1948—1958 гг.).

Международный комитет славистов принял решение об организации Секретариата комитета, члены которого войдут в его состав временно, до конца проведения предстоящего съезда. Секретариат установлено избирать из числа славяноведов той страны, где должен проходить очередной съезд. На срок до конца сентября 1958 г. в состав Секретариата Международного комитета славистов включаются проф. Р. И. Аванесов, кандидаты филол. наук А. Н. Робинсон и Н. И. Толстой.

Наконец, участники Московского совещания наметили примерную программу следующего, Второго пражского заседания Комитета, назначенного на январь 1957 г. Решено определить темы докладов на предстоящем съезде и распределить их среди будущих участников съезда и выяснить, в основном, какие доклады и в каких изданиях будут предварительно напечатаны, а также произвести приблизительное распределение докладов по секциям и подсекциям.

В перерывах между заседаниями иностранные ученые знакомились с научными учреждениями Москвы: посетили Институт языкознания, Институт славяноведения и Институт мировой литературы АН СССР. В новом здании Университета состоялась встреча с профессорами и преподавателями филологического факультета МГУ. Профессора А. Белич, А. Мазон, М. Фасмер и Р. Якобсон выступили перед преподавателями и студентами-филологами университета в старом здании на Моховой с сообщениями о состоянии славистики в их странах. Очень интересной была краткая встреча-беседа с проф. Р. Якобсоном в Институте языкознания АН СССР. Проф. Р. Якобсон живо интересовался работой над диалектологическим атласом русского языка и словарем языка А. С. Пушкина. Участники заседания посетили Кремль и рукописный отдел Исторического музея и ознакомились с древнеславянскими рукописными книгами, собранными в этом исключительном по своему богатству хранилище. 20 мая была совершена экскурсия в Ясную Поляну в музей-усадьбу Л. Н. Толстого. С большой теплотой и сердечностью прошел прием в Президиуме Академии наук, устроенный президентом А. Н. Несмеяновым. Атмосфера солидарности и желания сотрудничать для дальнейшего успешного развития славяноведения царила на прошедшем заседании; особенно ярко это проявлялось при личном контакте советских и зарубежных ученых. Надо надеяться, что эта атмосфера будет всегда сопутствовать членам Международного Комитета славистов в их дальнейшей совместной работе.

Н. И. Толстой

ПЯТОЕ ДИАЛЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ

С 7 по 10 мая 1956 г. в Москве, в Институте языкознания АН СССР состоялось V диалектологическое совещание, в котором приняли участие представители 30 вузов страны, а также представитель Болгарской Академии наук проф. С. И. Стойков. Совещание открыл заместитель директора Института языкознания АН СССР доктор филол. наук С. И. Котков, который в кратком вступительном слове охарактеризовал современное состояние и очередные задачи русской диалектологии.

В истекшем году Сектор истории русского языка и диалектологии Института языкознания АН СССР впервые провел работу по теоретическому обобщению принципов картографирования диалектного материала, результатом чего явилась постановка на совещании докладов О. Н. Мораховской «Картографирование диалектных различий в области фонетики», Л. Н. Булатовой «Картографирование диалектных различий в области морфологии» и Л. П. Жуковской «Картографирование диалектных различий в области лексики». Этим трем докладам было предпослано сообщение Р. И. Аванесова, отметившего, что теперь, когда накоплен опыт работы над составлением карт четырех томов атласов, можно говорить о теории картографирования.

Диалектология изучает язык как систему; объектом картографирования в принципе являются не отдельно выхваченные факты, а объективно существующие в языке различия. Диалектные явления могут относиться к разным сторонам языка, могут охватывать различные по объему факты, могут быть простыми или сложными, т. е. состоять из разных взаимозависимых компонентов (например, диссимилятивное яканье и т. п.). Но во всех случаях характер картографирования определяется характером самого диалектного явления, т. е. в конечном счете — системой языка в целом.

В докладах О. Н. Мораховской, Л. Н. Булатовой и Л. П. Жуковской были освещены выработанные в ходе работы над составлением карт приемы, позволяющие поразному отражать на картах различные диалектные явления, в зависимости от закономерностей их проявления. Эти приемы едины для картографирования диалектных различий, касающихся любой из сторон языка. Однако в их применении имеется некоторая специфика, которая вызвана особенностями в характере диалектных различий в области фонетики, морфологии и лексики. Особенностью диалектных различий в области фонетики и морфологии является то, что они, как правило, обнаруживают общие закономерности, охватывающие принципиально неограниченный ряд однородных фактов. Однако в области морфологии по сравнению с фонетикой большую роль играют факты так называемой лексикализации (т. е. факты отступления какого-либо определенного слова или группы слов от общей закономерности), другое происхождение имеют многоплановые различия (т. е. различия не по одному признаку, а по двум и более) и большее место занимают сложные различия (т. е. различия не только в отдельных элементах системы, но и в их соотношении друг с другом). При картографировании диалектных различий в области лексики мы имеем дело преимущественно с единичными фактами, наличие которых не связано с системой языка. Сложность картографирования лексического материала состоит главным образом в том, что составителям карт всегда необходимо точно знать значения картографируемых слов, иначе их невозможно сопоставлять на одной карте. В связи с этим особую важность приобретает вопрос об этнографических различиях предметов, имеющих одно и то же функциональное назначение.

В процессе работы над атласами коллективы диалектологов настолько выросли и окрепли, что стала возможной организация специальных наблюдений над диалектной лексикой с целью подготовки материалов для создания областных словарей — как словарей отдельных говоров и групп говоров, так и общего сводного словаря. Этому вопросу был посвящен доклад В. Г. Орловой и А. И. Сологуб «Об изучении лексики русских говоров при подготовке областного словаря», содержащий основные положения, на базе которых должна развертываться работа по собиранию материалов для областных словарей. Выбор населенных пунктов при собирании лексических данных должен опираться на полученные в результате работы над атласами изоглоссы, с таким расчетом, чтобы намеченные к изучению говоры относились к одной диалектной зоне. Для углубленного изучения лексики отдельных говоров необходима организация наблюдений в течение продолжительного времени в каждом пункте. При этом условии материал, собранный лексикологом, позволит ему сделать выводы о значениях и употребительности зафиксированных слов и в то же время будет содержать словосочетания и связные тексты в количестве, достаточном для построения характеристики слова.

Авторы доклада считают, что лексический диалектный материал не должен собираться по заранее составленной программе (или вопроснику), а должен выявляться собирателями в процессе свободной беседы, для чего целесообразно составить методическое пособие, содержащее несколько циклов разработанных на примерном лексическом материале тем для бесед. Областные словари должны охватывать только местную лексику, отличающую говор от литературного языка (как из активного, так и

пассивного словаря носителей говора); следовательно, круг слов, на которых должно быть сосредоточено внимание наблюдателя, включает в себя: 1) специфически местные названия предметов, процессов и т. д.; 2) слова, имеющие особенности по сравнению с литературным языком в фонематическом составе и грамматической характеристике; 3) слова, одинаково звучащие со словами литературного языка, но имеющие в говоре иное значение.

Доклад вызвал оживленный обмен мнениями. По большинству вопросов было достигнуто общее согласие, по некоторым же вопросам наметились противоположные точки зрения. Так, в противовес мнению авторов доклада, в вопросе о распределении территории областных словарей Г. Г. Мельниченко (Ярославль) и Е. К. Бахмутова (Казань) предложили принцип деления территорий словарей соответственно территориям томов диалектологических атласов. Против этого выступили А. И. Лебедева (Ленинград), Т. Д. Жилко (Киев) и С. И. Котков (Москва). Как показывают результаты работы над диалектологическими атласами, говоры русского языка распадаются на ряд диалектных групп, в территориальном отношении не совпадающих с делением по томам. Таким образом, например, на территории тома «Русские народные говоры юго-западных областей» намечаются 3 диалектные группы, по двум из которых уже составлены областные словари (Сахарова и Расторгуева). Не было достигнуто единого мнения по вопросу о том, следует ли включать в областные словари изданные ранее словарные материалы, материалы рукописных и архивных фондов, а также фольклорные материалы.

В заключительном слове В. Г. Орлова подчеркнула, что задачи создания областного словаря отличны от задач лингвистической географии: распределение территорий областных словарей по диалектным зонам исключает необходимость указаний на территорию распространения слова.

Совещание приняло решение считать очередной задачей изучения русских диалектов после составления диалектологического атласа создание областных словарей отдельных говоров и групп говоров. Центрами работы по созданию областных словарей должны стать местные вузы, обладающие кадрами диалектологов; по мере выполнения плана по собиранию материала для атласа, что пока остается основной задачей, местные вузы постепенно смогут включаться в работу по подготовке областных словарей по плану, выработанному совместно Институтом языкознания АН СССР и представителями вузов. Совещание избрало комиссию для разработки «Методической записки о собирании материалов для составления областных словарей русского языка» и проспекта областного словаря, которые должны быть обсуждены на следующем диалектологическом совещании.

Выполняя высказанное во многих выступлениях пожелание, совещание обратилось к Сектору истории русского языка и диалектологии с просьбой о постановке на следующем совещании доклада, посвященного вопросам этнографии, связанным с изучением лексики русских народных говоров.

Доклад С. С. Высотского «Вопросы инструментального изучения звуков речи» носил информационный характер. Традиции экспериментального фонетического исследования, заложенные у нас еще В. А. Богородицким, Л. В. Щербой и А. И. Томсоном, за последнее время ослабли. Характеризуя современные методы экспериментальной фонетики, С. С. Высотский остановился прежде всего на использовании магнитофонной записи звучащей речи — технически простой, способствующей получению в короткий срок обширных материалов и сохранению образцов звучащей речи для последующей научной работы. Дальнейшие исследования проводятся в фонетических лабораториях, на базе специальной аппаратуры (спектрографы, осциллографы, фото- и кинорентгеносъемка и др.). Разработка подобной акустической и артикуляционной характеристики звуков русского языка является насущной задачей фонетистов; она будет способствовать в то же время углубленному изучению фонетических диалектных различий, например, различий между *о* и *ô* и др.

Совещание решило рекомендовать более широкое применение механической записи при собирании диалектологических материалов, а также накопление при отдельных вузах фонотек и использование их в качестве обменного фонда. Совещание решило обратиться к дирекции Института языкознания АН СССР с просьбой ускорить развертывание работы созданной при Институте фонетической лаборатории. В вузах, где имеется возможность, рекомендуется постепенно создавать базу для фонетических лабораторий.

Совещание заслушало сообщение А. И. Сологуб о плане проведения диалектологической экспедиции 1956 года и сообщения с мест о проделанной вузами в истекшем году диалектологической работе.

Большой интерес у участников совещания вызвал доклад проф. С. И. Стойкова «О социальных диалектах болгарского языка». В докладе был дан анализ природы социальных диалектов, намечены их основные типы. С. И. Стойков подчеркнул, что социальные диалекты должны рассматриваться как особенности словаря, характерные для отдельных социальных групп, так как они используют грамматический строй общенародного языка и территориальных говоров.

М. Н. Преображенская

О ТЕМАТИЧЕСКОМ ПЛАНЕ ЖУРНАЛА «ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ» на 1957 год

В 1957 году в журнале предполагается публиковать статьи по следующим проблемам советского языкознания (каждая из указанных ниже проблем может быть представлена в виде ряда конкретных тем статей для журнала):

1. Язык и общество. История языка и история народа.
2. Смешение языков. Теория субстрата. Проблема двуязычия. Вопрос о языковых союзах.
3. Относительная хронология развития отдельных языков и языковых семей. Внутренняя реконструкция древнейших периодов истории языков.
4. Этимологические и историко-лексикологические разыскания в связи с вопросами истории духовной и материальной культуры. Топонимические исследования и их значение для решения проблем происхождения и древнейшего расселения народов.
5. Проблемы и методы лингвистической географии. Применение принципов лингвистической географии к сравнительно-историческим исследованиям.
6. Проблемы семасиологии и лексикологии в связи с общей теорией лексикографии.
7. Язык и мышление. Национальное своеобразие семантики отдельных языков. Историческое и описательное изучение семантических групп слов.
8. Становление и развитие общенародных разговорных языков в их взаимоотношении с диалектами и с литературными языками.
9. Вопрос о методах и принципах синхронного описания системы языка и ее различных сторон. Построение описательных грамматик.
10. Методы описательной и исторической фонологии, факторы развития звуковой системы языка. Проблема звукового закона в свете фонологии.
11. Новейшие методы и результаты экспериментально-фонетических исследований.
12. Грамматическая форма и грамматическая категория.
13. Словообразование и его место в грамматике и лексикологии. Принципы морфологического анализа основ.
14. Проблема словосочетания и синтагмы.
15. Принципы исторического и сравнительно-исторического синтаксиса.
16. Типологическое изучение языков.
17. Международные вспомогательные языки.
18. Современная научно-техническая терминология.
19. Проблемы стилистики. Языкознание и поэтика. Лингвистические основы теории стиха. Лингвистические принципы художественного перевода.
20. Машинный перевод. Языкознание и кибернетика. Вопрос о применении к лингвистике теории информации.
21. Проблемы структуральной лингвистики.
22. Теория и история письма. Новейшие результаты в области дешифровки древних систем письменности.
23. Публикация и исследование древних письменных памятников и архивных рукописных материалов.
24. История языкознания в Индии, арабских странах и Китае. Языкознание в европейских странах за последние 150 лет. 40-летний опыт истории советского языкознания. Материалы по истории советского языкознания 20-х и 30-х годов. Вклад советской науки в разработку теории фонем, теорию письма (в связи с созданием письменности для языков народов СССР), теорию и историю литературного языка, проблем славяноведения и востоковедения.
25. Построение лингвистических курсов. Вопросы подготовки языковедческих кадров *.

---

* Редколлегия журнала просит читателей сообщить в редакцию свои замечания по предложенному перечню.

СОДЕРЖАНИЕ

Н. И. Конрад (Москва). О путях развития советского востоковедения . . 3
Р. А. Будагов (Москва). Понятие о норме литературного языка во Франции в XVI—XVII веках 10
В. М. Солнцев (Москва). Проблема частей речи в китайском языке . . . 22

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

С. К. Шаумян (Москва). О сущности структурной лингвистики 38
К. Г. Крушельницкая (Москва). К вопросу о смысловом членении предложения 55

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

В. Дорошевский (Варшава). Диалектология и сравнительно-исторический метод в языкознании 68
Г. Д. Санжеев (Москва). Следы грамматического рода в монгольских языках 73
Г. М. Милейковская (Калинин). О соотношении объективного и грамматического времени 75

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РУССКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ

В. В. Виноградов (Москва). О некоторых вопросах теории русской лексикографии 80
Е. А. Земская (Москва). О состоянии работы над четырнадцатитомным «Словарем современного русского литературного языка» 95
И. И. Ковтунова (Москва). Обсуждение IV тома «Словаря современного русского литературного языка» 102

ОПЫТЫ МАШИННОГО ПЕРЕВОДА

П. С. Кузнецов, А. А. Ляпунов, А. А. Реформатский (Москва). Основные проблемы машинного перевода 107
О. С. Кулагина и И. А. Мельчук (Москва). Машинный перевод с французского языка на русский 111
Л. И. Жирков (Москва). Границы применимости машинного перевода. . . 121

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

В. А. Белошапкова (Рига). «Исследования по грамматике русского литературного языка» 125
В. Р. Кипарский (Хельсинки). *M. Vasmer.* Russisches etymologisches Wörterbuch 130
Вал. Вас. Иванов (Москва). О некоторых недостатках в описании и изучении русских говоров 139
В. М. Жирмунский (Ленинград). Althochdeutsches Wörterbuch 145
И. М. Дунаевская (Ленинград). *J. Friedrich.* Entzifferung verschollener Schriften und Sprachen 149
Ю. С. Мартемьянов (Москва). *H. Sten.* Les temps du verbe fini (indicatif) en français moderne 153

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Н. И. Толстой (Москва). Заседание Международного комитета славистов в Москве 156
М. Н. Преображенская (Москва). Пятое диалектологическое совещание 160
О тематическом плане журнала «Вопросы языкознания» на 1957 год 162

Редколлегия

О. С. Ахманова, И. Л. Баскаков, Е. А. Бокарев, В. В. Виноградов (главный редактор), *В. П. Григорьев* (и. о. отв. секретаря редакции), *А. И. Ефимов, В. В. Иванов,* (и. о. зам. главного редактора), *И. А. Кондрашов, Н. И. Конрад, В. Г. Орлова, Г. Д. Санжеев, Б. А. Серебренников, А. С. Чикобава, Н. Ю. Шведова*

Подписано к печати 12/X 1956 г. Формат бумаги 70 × 108¹/₁₆. Бум. л. 5¹/₈. Печ. л. 14,04
Уч.-изд. л. 17,0 Тираж 11900 Зак. 631 Т-09458

2-я тип. Издательства АН СССР. Москва, Шубинский пер., д. 10